



ЯНА ЛЕХЧИНА

ГОД ЗМЕЯ

В Княжьих горах обитает чудовище — человек, превращённый в дракона тысячу лет назад. Сармат хитёр и жаден, его чертоги полны сокровищ и пленных, каждый из которых не доживёт до следующего года. Рацлава с Мглистого полога — часть откупа, который везёт Сармату вооружённый отряд. И девушке незачем бояться дракона, если её глаза покрыты молочной плёнкой бельма. Горные хребты, заснеженные пустоши, разбойники и колдуньи-оборотни — этот путь будет длинным.

===== Вступление =====

Позабыв Золотую Орду,
Пестрый грохот равнины китайской,
Змей крылатый в пустынном саду
Часто прятался полночью майской.
Николай Гумилёв.

Когда гремит гром, я думаю, это мой брат Рагне скачет на юг, чтобы сложить голову в битве против Сармата-дракона. Копыта его коня топчут дикие травы, а из горнила боевого рога льётся страшный рёв. За его спиной — тысячи копий, но нет копья, способного пробить драконью чешую.

Когда падает снег, мне кажется, что это юный Ингол, тот из нас, кто умер первым, идёт по горным перевалам. Он бос, но не чувствует холода. Он простирает к нам руки и просит нас оставить эту войну, ведь все мы — братья.

А когда с гор сходит каменная лавина, я думаю, что это я. Раз за разом предаю единственного, кто мог одолеть Сармата, и преклоняю колени перед чудовищем.

Говорят, твоя свирель издаёт волшебные чистые звуки и заставляет людей повиноваться своему зову. Так играй. Каменное сердце не дрогнет, но если я смогу забыть своих братьев хотя бы на мгновение, я буду счастлив.

===== Песня перевала I =====

Говорила мне бабка лютая,
Коромыслом от злости гнутая:
— Не дремить тебе в люльке дитятка,
Не белить тебе пряжи вытканной.
Марина Цветаева.

Они покидали Черногород на рассвете. Узкие облака находили друг на друга, напоминая дорожное перепутье — или светло-серую паутину тумана, расплзшуюся по всему небесному куполу. Птицы летали низко, прорезая крыльями стылое утреннее марево, а солнце казалось блюдом из потемневшей бронзы. Было хмуро и холодно. Дурной знак. Тогда Оркки Лис впервые заявил, что от этого похода добра не будет, и его, конечно, никто не послушал.

Уезжали на трёх крытых телегах. В первой лежали припасы для людей, идущих к Матерь-горе. Во второй была дань, а в третью посадили драконью невесту и купленную для неё старуху рабыню. Девушку вывели из Божьего терема, с головы до пят закутанную в бледно-лиловое покрывало, — Оркки и видел только полную фигуру да белые руки, за которые её вели две женщины. Провожатые пели и сыпали под ноги драконьей невесте крупу из плетёных корзин, и от их глубоких, звенящих голосов мужчина зябко поёжился.

— Ветер с северо-востока, — объяснил он, перехватив взгляд Тойву, предводителя похода. И поправил ворот мехового плаща. — Морозно.

Тойву кивнул. И, прочертив воздух загрубевшей ладонью, погладил шею мерно дышащего коня. Под Орkki же конь дрожал — нервно постукивал копытами, пока хозяин перебирал поводья и прищурено наблюдал за драконьей невестой, ступающей по рассыпанному зерну.

— Недобрый у тебя взгляд, Орkki Лис, — Тойву чуть улыбнулся из-под медно-рыжих усов. Его выдох повис прозрачной сизой дымкой. В ответ губы Орkki изогнулись, а пальцы сильнее сжали поводья.

В горле женщин, ведущих драконью невесту, ходил неземной звук. Так умели лишь горы — песня дробилась на многоголосое эхо и окутывала вершины, как мертвеца — саван. Эта песня была не то свадебная, не то поминальная, и горсти крупы медленно ложились на мёрзлую землю: тронутая инеем трава, схваченные морозом цветы и осыпавшиеся ягоды рябины. Провожатые разбрасывали зерно, будто засеивая поле, которое топтала драконья невеста. Она покачивалась, словно ладья на волнах, послушно плыла по седой траве и красным ягодам, и женщины подле неё пели настолько звучно и страшно, что, не выдержав, Орkki отвернулся.

— Прогнать бы всех, — сплюнул он, поглядывая на столпившихся зевак.

К Матерь-горе уходили не за ратным подвигом. В жёны отдавали не княжну, а пастушью дочь, и не славному воину, а Сармату-дракону. Тому, кто спал, заточённый в недра горы, тысячу лет и проснулся тридцать зим назад. Но люди, замкнув Божий терем в кольцо, шелестели кафтанами и юбками, платками и шапками, мехами и сукном, выпускали изо ртов голубоватый пар и пытались удержать вырывающихся вперёд детей. Хотя не было ни князя, ни оставшихся его дружинников — тех, что не пошли с Тойву. Князь понимал, что к Матерь-горе везут позорный откуп — мольбу о пощаде, и свои приказы отдал без лишних ушей.

Тойву поскрёб подбородок.

— Народу любопытно.

Конечно, любопытно. Может, это и бесславный путь, но опасный, а в телеге лежала богатая дань. Поэтому среди идущих к Матерь-горе не нашлось бы ни слабых, ни трусливых. Можно было любоваться и юркими, жилистыми людьми Орkki Лиса, и кряжистыми воинами Тойву — да и самим княжьим дружинником, похожим на молодого медведя. Тойву носил закруглённую бороду и медно-рыжие волосы до лопаток, смотрел спокойно и рассудительно льдистыми голубыми глазами. В росте — дуб, в плечах — косая сажень. У Орkki глаза были лисьи, карие. Хитроумные. И напоминал он не дуб, а гибкий тис.

Черногородцам хотелось посмотреть не только на спрятанную под покрывалом драконью невесту. У девы-воительницы Совьон, высокой и крепкой, носящей кольчугу и шлем, на плече сидел прирученный ворон, а на правой скуле синел шаманский полумесяц. Высокогорница Та Ёхо, чьё племя жило в юртах на острых вершинах Княжьих гор, считала Черногород такой же нишей, как и Пустошь. И даже горы для неё были не Княжьи, а Айхаютам, Хребет зверя.

Едва драконью невесту посадили в повозку, конь Орkki заржал и выпустил из ноздрей горячие струи воздуха.

— Велишь ехать?

— Велю, — кивнул Тойву. — Ну, с миром!..

Не будет никакого мира, чувствовал Орkki. Серая птица, пролетающая над Божьим

теремом, рухнула в мёрзлую траву, и над ней взмыла перепуганная чёрная стая. В толпе жалобно провыл колченогий белый пёс. Провожатые драконьей невесты закончили свои песни отчаянными рыданиями и, вцепившись ногтями в лица, оставили на щеках кровавые бороздки царапин. А затем рухнули на замёрзшую рябину и рассыпанное зерно, запустив пальцы в холодную землю.

Оррки Лис вновь сплюнул и натянул поводья.

Черногород, окружённый пиками скал, стоял на мягком чернозёме в устье трёх рек. Запад Княжьих гор, колыбель династии Мариличей, правивших хоть и небольшими, но плодородными угодьями от южного Ядвиринога щита до Мглистого полога на северо-востоке. Не успел город скрыться из виду, как Совьон, стегнув одноглазого вороного коня, поравнялась с Тойву. Оррки Лис недовольно взглянул на птицу у неё на плече.

— Как начнём спускаться с холма, увидим Шестиликий столп, — Совьон всегда говорила одинаково размеренно, словно ничто не могло вывести её из себя. — Вёльхи поставили его в память о шести князях, высланных в Белую яму. Разреши девушке просить у него защиты.

Оррки ощерился.

— Потеряем время, а оно нам дорого. Неизвестно, обойдётся ли без обвалов.

Ворон на плече каркнул. Совьон, продолжая смотреть на хранившего молчание Тойву, обронила:

— И не стыдно тебе, Оррки Лис? Девушка сюда не вернётся.

Да, не вернётся. Никто не возвращался. Рабы, слуги, невесты — по рассказам, они жили у Сармата не больше года. Дураки-шаманы верили, что они кончали с собой из-за проклятия Матерь-горы. Или их убивали каменные воины, про которых говорили сумасшедшие беженцы из сожженных деревень. А Оррки, как и все здравомыслящие люди, понимал, что в этом вина одной только чешуйчатой твари.

Просить защиты? Зачем? Ничто не защитит сокровища от Сармата. Девка, наверное, надеялась поразить ящера храбростью и красотой, но каких красавиц ни отдавали княжества за последние тридцать лет — все погибли. Если черногородская невеста и была чудо как хороша, то Оррки этого не знал. Он не видел её лица.

Не стыдно ли ему? Лисьи глаза налились кровью. Совьон младше его, к тому же баба, а смотрела мимо и говорила так, что подобное Оррки спустил бы лишь Тойву. Язык мгновенно присох к нёбу. Но, хвала богам, Оррки Лис был хитёр и осторожен, а не скор на расправу.

Прочистив горло, он обратился к предводителю.

— Неоправданная остановка, и мало того, что пустая трата времени. Девка наверняка захочет бежать.

Тойву резко качнул головой и возразил:

— Эта не сбежит. — Ворон на плече Совьон каркнул дважды.

— Не успели тронуться, а уже останавливаемся. Плохая примета.

— Примета! — воительница подняла к небу глаза — синие, как полумесяц на скуле. —

А я думала, что я суеверна, Оррки Лис.

Тойву взмахнул ладонью.

— Телеги останавливать не будем, — сказал он Совьон, — но раз женщины считают столп оберегом, я не могу лишить девушку его защиты. Возьми её к себе на коня и поезжай быстрее нас.

— Попытается улизнуть...

Тойву повернулся и смерил Оркки тяжёлым, многозначительным взглядом.

— Не попытается.

Раз Тойву решил, значит, никакой опасности не грозило. Но Совьон он отпустил только когда смог самолично разглядеть Шестиликий столп, а Оркки, не доверяя, двинулся следом за воительницей. И увидел, как из повозки выглянула драконья невеста — лиловое покрывало соскользнуло ей на плечи.

Оркки бы не назвал её красивой. Чересчур полная, с тёмно-русыми волосами заплетёнными в две переброшенные на грудь косицы. Местами на щеках, шее и пальцах её белая кожа потрескалась и пошла розово-красной коростой — от мороза. Но всё это Оркки заметил потом. Сначала были молочного цвета глаза. Без зрачков и прожилок, заволоченные мутноватой кипенной дымкой.

Бельма.

Сердце Оркки Лиса болезненно сжалось.

Он не помнил, как, ударив коня пятками, воротился к Тойву, как потемнел от гнева, скривился от ужаса и хотел было взреветь, словно дикий зверь. Но многолетняя выдержка не позволила ему это сделать — люди бы встревожились. Он рванул поводья, приблизился к лицу Тойву и зашипел, брызжа слюной:

— Слепая! Мы, дери тебя твари небесные, везём Сармату слепую! — он чудом не сгрёб его за шкуру. Но сейчас Тойву не его друг, а глава отряда, и дело бы не кончилось обычной дракой. — Бельмяноглазую невесту, калеку, которая... Как ты допустил такое?

Он мог бы догадаться, что девушка не была так проста. Мог бы, но Тойву, продолжая смотреть рассудительно и спокойно, не торопился оправдываться, и тем привёл его в настоящее бешенство.

Оркки Лис захохотал свистяще, горлом.

— Птицы, собаки, женщины... За кем я сегодня ни наблюдал. А у нас в телеге слепая, которую мы отдадим Сармату, не успеет начаться зима. Дракон ничего от нас не оставит, ничего, всех перемолет, всех сожжёт, — смех его стал страшен и тих, и слышал его один Тойву. — Да помилуют нас боги. Их щедростью Сармат сам окажется слепым — или простит такой плевков в свою сторону.

Но казнил он и за меньшее.

— Ты закончил? — Тойву откашлялся. — Её счастье, что она слепа. В чертогах Матерь-горы весь свет из сарматовой глотки.

— Плевать мне на её счастье. Я еду не ради девок, а ради Черногорода, — чтобы не сорваться на рык, Оркки закусил костяшки пальцев. — Значит, слушай. Скажу своим молодцам, и они умыкнут чью-нибудь смазливую дочурку из первой захолустной деревушки, и...

— Не смей, — прочеканил Тойву. И добавил беззлобно, но решительно: — Если поступишь по-своему, убью.

Над ними распростёрлось бесконечно высокое небо, перетянутое нитями облаков. Позади — Черногород, впереди — мили опасного, долгого пути. Но тяжесть отвалила от души Оркки, и, засмеявшись, мужчина погладил остроконечную пшеничную бородку. Он знал, что делать, хотя убедил Тойву в обратном.

— Поглядите-ка, — по-медвежьи проворчал предводитель. — Смешно ему. Ничего и знать не знает, а смеётся.

Не убьёшь ты меня, Тойву, подумал Оркки Лис. Все Князьи горы за твоей спиной переверну, а не убьёшь.

Две женщины скакали на одноглазом коне к легендарному Шестиликому столпу, и ворон кружил над их головами.

Рацлава поняла, что в Божьем тереме её опоили маковым молоком — чтобы не начала вырываться и рыдать. Своё тело она ощущала смутно, будто чужое, и все запахи и звуки текли мимо неё так медленно, что, казалось, она могла задержать их между пальцев. Шестиликий столп пах смолой и железом, тонкими цветами, проросшими сквозь древесную кору. Горячее сердце в груди вороньей женщины стучало в ритм птичьего крика. Конь рыхлил землю, отдающую талой водой и хрупкими пожухлыми листьями, готовыми рассыпаться в руках.

Пальцы Рацлавы скользили по шершавому столпу, обводили вырезанные лица шести княжон. Щёки, губы, кольца кос. Выпуклые глаза. Поглаживали расщелины, из которых вились цветы, и осторожно сбивали налёт инея.

— Ты знаешь эту историю? — ровно спросила воронья женщина. Затылком Рацлава ощущала её тяжёлый взгляд, похожий на нависший над ней боевой молот. Она бы никогда от неё не сбежала. И никакая сила не смогла бы её выкрасть. Драконья невеста, сарматово сокровище — Рацлава не знала, что с холмового спуска Шестиликий столп виден как на ладони. Случись что, предводитель, хитрый человек и их люди метнулись бы к девушке быстрее ветра.

— Шесть сестёр-княжон, рождённые одной матерью от разных отцов, убили своих нежеланных женихов в ночь после свадебного пира. За это их выслали из Черногорода и заживо закопали в Белой яме, — голос Рацлавы даже не дрогнул — из-за макового молока. — А княгиня поседела от горя и стала первой вельхой-колдуньей.

Вельхи знали травы и зелья, крали младенцев и гадали на костях, жили триста зим на глухих отшибах. Когда они умирали, люди закапывали их подальше от деревень и рек, а сердца отдавали зверям. Колдовства вельхи боялись не только такие суеверные воины, как Оркки Лис. Все верили, что если вельха дотронется до оружия, следующий бой станет последним.

— Верно, — согласилась за её спиной воронья женщина. Позже она назовёт своё имя. А ещё позже Рацлаве расскажут, что история Совьон давно обросла легендами. Никто не знал, откуда она пришла и зачем, лишь как-то вечером появилась в Медвежьем зале и положила свой меч под ноги черногородскому князю. Неизвестно, что было дальше. Одни говорили, её заставили сразиться с огромным горным медведем, похожим на того, что скалился со знамён Мариличей. Другие — ей велели дать бой дружинникам, и Совьон одолела всех, кроме княжьего любимца Тойву.

— Нам следует поторопиться.

Рацлава выдохнула и отвернулась от Шестиликого столпа. Потёрла покрасневшие от мороза костяшки пальцев и закуталась в мягкое покрывало — она никогда не касалась такой дорогой ткани. И у неё никогда не было таких платьев — расшитых тонкими нитями, с рядом пуговиц от груди до подола. С длинными, почти до самой земли рукавами. Не было и украшений дорожке приданого всех её сестёр.

Совьон шагнула к Рацлаве, но замерла прежде, чем взяла за руку. Она неосознанно протянула пальцы и дотронулась до костяной свирели, висевшей у неё на кожаном шнурке.

И тут же осеклась.

— Извини, — Совьон сжала пальцы в кулак. — Это твоя вещь? Она очень... необычная.

Рацлава вздрогнула бы меньше, если бы Совьон раскроила ей грудь и вытащила сердце. Не помогло даже маковое молоко: ладони намокли, а в горле застрял шершавый ком.

— Моя, — выдавила девушка. — Единственное, что мне оставили.

Совьон подсаживала её на большого хрипящего коня, а Рацлава, пусто глядя в заволоченную туманом даль, не понимала, почему кожа воительницы показалась ей мертвенно-холодной. Словно железо.

— До меня доходил слух, что черногородскому воеводе понравилась твоя игра на свирели, — уронила Совьон, ставя ногу в стремя. И заметила, что Рацлава тут же вцепилась в холку грозного вороного. — Видимо, это было правдой.

...Чего пастушья дочь боится больше, чем дракона?

Трудно было найти коня быстрее и выносливей, чем страшный, с отрезанными губами, верный спутник Совьон. Он легко, будто не чувствуя на себе никакой ноши, взобрался на холм, к каравану из повозок и вьючных лошадей — они были нужны не только на случай, если чья-то лошадь охромеет. В горах телега с припасами могла сойти с пути и сорваться в пропасть. Её могло накрыть обвалом. Провизию не стоило держать в одном месте — и так же Оркки Лис думал о сокровищах.

Ещё в Черногороде Тойву пригрозил отрубить пальцы всякому, кто рискнёт к ним прикоснуться. Но на первой ночной ставке Оркки Лис залезет в телегу и перенесёт часть дани в тюки с едой. Тойву, конечно, узнает об этом следующим утром. И Оркки, конечно, останется с целыми пальцами.

Драконью невесту вернули в её повозку, к старухе рабыне из Пустоши, и предводитель удовлетворённо кивнул Совьон. Молодая женщина задумчиво сжимала и разжимала ладонь, а её вороной конь фыркал и опускал тяжёлые копыта на тонкие, местами пожелтевшие травинки и затвердевшую землю.

— Кто она такая?

— Дочь Вельша с Мглистого полога, — Тойву, подбоченясь, смотрел вдаль. Тем временем Оркки отстал от него, чтобы ехать вровень со своими людьми, и Совьон воспользовалась случаем.

— Что за Вельш?

— Пастух, женившийся на дочке мельника. Он сильно задолжал кому-то в Черногороде — его сыновья приехали расплачиваться и взяли Рацлаву с собой.

Придерживая поводья одной рукой, Совьон погладила клюв беспокойно трепыхнувшегося ворона.

— Зачем её увезли так далеко от дома? Она же слепа.

— Слепа, — согласился Тойву. — Говорят, она сильно заболела, ещё в младенчестве, и потеряла зрение. А дело было в голодную зиму. — На этих словах Совьон прикрыла глаза. — Мать отнесла её в лес, и — нет, не спрашивай меня, почему она выжила. Никто не знает. Девки при княгине щебечут, что к порогу её принесли волки. А Оркки настаивает, что не выдержал кто-то из её семьи.

— Ты не ответил на вопрос, — оправившись, спокойно заметила Совьон. — Зачем братья привезли её в Черногород?

Мужчина вздохнул и запустил пальцы в гнедую конскую гриву.

— Тот купец, которому задолжал пастух с Мглистого полога... Пошли слухи. О том, что

в его доме живет девушка и из её свирели песнь льётся, как из соловьиного горла.

— Купец простил Вельшу долг?

— Доплатил, и Рацлава осталась жить у него.

Совьон вскинула широкую рассечённую бровь, хотя и не выглядела слишком удивлённой.

— Её братья были рады.

— О да, — Тойву похлопал коня по шее. — Ведь они этого и добивались. Позже наш старый, закалённый в боях воевода пустил слезу, слушая её. И я тоже её слышал — за ночь до того, как девушка вошла в Божий терем.

Совьон выжидающе смотрела на него, и предводитель невесело рассмеялся.

— Я, — Тойву облизнул губы, — остался разочарован. Красиво, но не настолько, чтобы сойти с ума. Уверен, в одном только Черногородском княжестве можно найти сотню куда более искусных пастушков. — Он криво улыбнулся и продолжил вкрадчивым полусёпотом: — Так скажи мне, Совьон, кого мы везём Сармату? Одарённую деву или ведьму?

Повисло молчание, и наконец Совьон покачала головой.

— Я не знаю, — ответила она. — Я не знаю... Драконья невеста не ведьма и, похоже, не слишком одарена, но...

Новое молчание нарушал лишь скрип мёрзлой почвы под копытами и колёсами, разговоры людей за спиной.

— Ладно, — Тойву уверенно повёл плечами. — Кем бы она ни была, к зиме она окажется в чертогах Сармата, и пусть боги решают её судьбу.

— Пусть боги решают, — согласилась Совьон и вскинула лицо к небу.

Белёсый луч солнца мазнул её по синему полумесяцу на скуле.

===== Песня перевала II =====

Рацлава сидела в повозке, когда её пальцы снова начали кровоточить. Прежде чем девушка поняла это, она испачкала платье на коленях — багряные, княжьего цвета капли растеклись по витиеватому узору, вышитому серебряными нитями, хотя Рацлава не видела ни багрянца, ни серебра. Раньше её одежды часто были в крови, и сёстры говорили, что даже на выстиранных юбках и рукавах оставались побледневшие алые пятна.

— Магушка, — она провела рукой над бровями, будто пыталась скинуть невидимую пелену. — Пожалуйста, помоги мне.

Старуха делила с ней повозку и обязывалась исполнять любую её прихоть. Жилистая, желтокожая, как и многие жители Пустоши, Хавтора дочь Ошуна прятала голову под шерстяным шафранным покрывалом и заплетала седые и жёсткие, словно проволока, волосы в два пучка на затылке. Её сухие руки покрывали веточки красных татуировок, а шею окольцовывал широкий рабский ошейник.

— Вих шарлоо, — промурлыкала она, поглаживая пальцы Рацлавы. — Я позабочусь о тебе.

Любая красавица ужаснулась бы, если бы только увидела ладони драконьей невесты. На них не было ни следа трудовых мозолей, но кипенно-белая кожа плохо переносила мороз, краснела и лопалась, застывая на костяшках розовой коркой. К тому же, по пальцам тянулись неизвестно откуда взявшиеся шрамы, и плохо заживали борозды ран, тонких, будто оставленных лезвием ножа. Они схватывались новой кожей и тут же открывались снова.

— Халь фаргальд, — покачала головой Хавтора, перевязывая пальцы тканёвыми лоскутками. — Кто порезал тебя, ширь а Сарамат?

Старуху не трогало ни то, что её подопечная ничего не видела, ни то, что она принадлежала к народам Княжьих гор — их в степной низине считали захватчиками. Рацлаву называли невестой Сармата-дракона, и за это Хавтора была готова целовать её искалеченные руки и исполнять любой приказ.

— Меня никто не резал, — покачала головой Рацлава.

Отпустив ладони, Хавтора дотронулась до красно-розовой коросты у неё на лице и шее.

— Это от холода, верно, ширь а Сарамат? Ну ничего, ничего... Дыхание твоего господина жарче пламени подгорных плавилен. Он согреет тебя, — старуха тихо засмеялась. — Сколько тебе лет? Шестнадцать? Семнадцать?

— Девятнадцать.

— Ты засиделась в девушках, — жёлтые пальцы потрепали круглую белую щёку Рацлавы. — Но теперь ты станешь хозяйкой Гудуш-горы, Матерь-горы по-вашему, и все подземные народы будут кланяться тебе и рассыпать перед тобой невиданные богатства, — она устроилась на подушках напротив девушки и, скрестив ноги в коричневых шароварах, подперла подбородок кулаком. — Возможно, ты даже встретишь Чхве, искуснейшего кузнеца, который ростом в полчеловека. Что он выкует для тебя? Ожерелье из огней чрева горы? Корону из обломков великанских пальцев?

— Глаза, — обронила Рацлава, и свет, просочившийся в окно повозки, тускло сверкнул на её молочных бельмах.

Не успело зайти солнце, как случилась первая неприятность. Мерно покачивающаяся телега драконьей невесты и её рабыни подпрыгнула, противно заскрипела и накренилась — камень, прокатившийся под ногами лошади, попал в колесо. От неожиданности Рацлава не смогла удержаться, и её резко повело в сторону. Ударившись о стену повозки, девушка разбила себе подбородок.

— Нарьян, пёсий ты сын! — взревел где-то обычно сдержанный Оррки Лис, и из его рта полился поток отборной черногородской брани. — Тойву, всыпь этому вымеску тридцать плетей, и раз он не может усидеть на вожжах, то пусть идёт пешком!

— Хая адук, — зашептала Хавтора, обнимая Рацлаву за шею. — Жинго-ка, ширь а Сарамат?

Рацлава понимала, что всё — дорогие одежды и забота старухи с Пустоши — досталось не именно ей, а случайной девушке, отданной Сармату на растерзание. Но она не раздражалась и не дерзила, аккуратно носила платья и украшения и вежливо говорила с Хавторой — но только не в этот раз. Не успев вытереть кровь с подбородка, Рацлава грубо отпихнула кинувшуюся к ней рабыню.

— Прочь, — зашипела она, и её полное лицо сделалось страшным.

Она судорожно захлопала себя по горлу, как будто ей не хватало воздуха, и дрожащими, перетянутыми лоскутками пальцами подцепила кожаный шнурок. Спустилась по нему вниз и с невероятной осторожностью ощупала подвешенную на нём длинную свирель.

— Слава богам, — слабо выдохнула Рацлава.

В повозку заглянула женщина.

— Как ты, Раслейв? — весело спросила она с акцентом не жителей Пустошей, но воинов высокогорий. — Не слишком испугаться?

На Рацлаве лица не было. Она сжала в кулаке кожаный шнурок, и только тогда к ней начала возвращаться краска. С ней бы ничего не случилось от удара и крепких объятий рабыни, а свирель могла переломиться напополам.

— Всё обошлось, — Рацлава повернулась к окну, — спасибо. Кто ты?

— Меня звать Та Ёхо, — улыбнулась молодая женщина с широким скуластым лицом, узкими глазами и приплюснутым носом. Кожа у Та Ёхо была смуглая, но коричневая, а не жёлтая, как у Хавторы. Испокон веков её народ жил на смертельной высоте, почти под самым солнцем, где загар приставал быстро. Та Ёхо носила подбитые мехом куртку и штаны, ездила на крепкой, но до того маленькой мохнатой лошадке, что она напоминала помесь кобылы с пони. И если бы Рацлава могла видеть, то очень бы удивилась, что Та Ёхо сидела без седла, а её лошадь не имела удил.

В деревнях из юрт на вершинах Айхаютама Та Ёхо считали красавицей. За то, что она была невысока ростом, но сильна, и за то, что редкий воин стрелял из лука лучше неё. Но в княжествах мало кто восхищался её чёрными, жидковатыми волосами до плеч и весёлой кривоzubой улыбкой. Хотя для неё это ничего не значило.

— Скоро они починить твою телегу, Раслейв, и мы продолжить путь. Не нужно бояться.

Рацлава улыбнулась и заправила за ухо выбившуюся тёмно-русую прядь.

— Спасибо, — повторила девушка, а Та Ёхо наклонилась к мохнатой лошадке, тут же перешедшей на бодрую рысцу.

Телегу мужчины починили довольно быстро — Рацлава даже не успела замёрзнуть, стоя со своей рабыней под начавшим вечереть небом. Расшитое покрывало сползло ниже затылка и едва прикрывало её волосы. Вскинув голову, девушка пусто смотрела наверх, где в сгустившейся сизой вышине зажигались бесцветные звёзды, похожие на кусочки слюды. Хавтора, за годы рабства привыкшая к любой грубости, давила башмаками хрустевшую землю и мурлыкала песню себе под нос.

«Было у старого хана пятеро сыновей».

Пошёл снег. Резные пластинки снежинок, хрупкие, узорчатые, будто выпавшие из-под рук талантливой мастерицы, закружились под первыми звёздами. Окутанные нежным серебристым светом, они стекались на землю. Рацлава чувствовала их кожей и восхищённо глядела куда-то сквозь прорезавшуюся луну, сжимая пальцами кончик костяной свирели. На белых лоскутках проступала кровь. В тот день Рацлава как никогда хотела сбежать — не знать ни богатств, ни Сармата, остаться жить в глухой землянке, затерявшейся на склонах Княжьих гор. Если свирель — это её игла, она выткет себе волшебную-тихую жизнь.

— Какая будет ночь! — восхитилась Хавтора, и её голос стал жарким. — Однажды, под такой же луной, мне приснилось, гар ину, как Сарамат-змей пролетал над Гуратом, городом наших мёртвых ханов. Давным-давно князьи люди забрали Гурат-град себе, и Сарамат-змей вернулся, чтобы поквитаться с ними. Солнце стекало по его медному панцирю, а из исполинского горла выходил огонь.

Рацлава могла назвать себя воровкой, лгуньей и калекой, но не дурой, решившейся на безумный побег. Хитрый человек, Оррки Лис, сидел на коне за её спиной — и наверняка не сводил глаз.

— У-у, ведьма, — желчно выплюнул он, а Хавтора залилась истеричным хохотом.

«Первого ханского сына звали Кагардаш, и он слыл мудрым и справедливым воином. Второго — Янгири, и был он немногословен и силен. А третьего звали Сарамат...»

Хавтора ещё долго пела эту песню — легенду Княжьих гор, переложенную на манер степной Пустоши. Она пела и пела, пока телеги не остановились на ночную ставку, а Рацлава слушала её и смотрела в задёрнутое окно.

«...и не было человека хитрее его. Четвёртый ханский сын носил имя Родук, и это

означало „гордый“. Пятого, блаженного, звали Игола».

— Вы чтите Сармата как бога, — сказала Рацлава, подтянув колено к подбородку. — Почему? Он жаден и жесток. Он сжигал людей и леса, города и деревни, фермы и мельницы, если ему не могли заплатить откуп.

— О, гар ширь а Сарамат, — засмеялась Хавтора. — Он жесток, но и велик. Он — человек, сумевший обрести бессмертное обличие. Его кожа — медные пластины, что прочнее любых кольчуг. Его когти — копья, его зубы — скалы. Его позвоночник — горный хребет.

— Был и другой дракон. Почему бы вам не поклоняться ему?

Губы Хавторы сжались в тонкую линию.

— Ты заблуждаешься. Не было никого, кроме Сарамата-змея. Кагардаш оказался слаб и умер прежде, чем волхвы окунули его в огонь. Остальное — сказки.

— Некоторые считают сказкой и превращение Сармата в дракона, — заметила Рацлава. — Они верят, что земное чрево породило его чудовищем, не человеком.

— Какая глупость, — ошетилилась Хавтора. — Все знают, что Сарамат-змея возвращается в человеческое тело четыре раза в год. На сутки, когда наступают осеннее и весеннее равноденствия. На два дня — в зимний солнцеворот, на три — в летний. Люди слабы и хрупки, и все семь дней Сарамата сторожит его брат, Янгири-хайналь...

— Ярхо-предатель.

— ...предводитель каменных воинов. Грозный, молчаливый, облачённый в горную породу силой Сарамата.

Рацлава отвернулась от Хавторы и крепче обняла свои колени. Большим пальцем она поглаживала свирель — придёт время, она сыграет и эту песню.

Было у старого князя пятеро сыновей. Первый, Хьялма, мудрый и справедливый. Второй, Ярхо, нелюдимый и тяжёлый лицом. Сильнее всех князь любил Хьялму, когда сердце его княгини принадлежало буйному, хитрому Сармату, грезящему о величии и славе. Умирая, отец поделил земли между пятью сыновьями, отдав Хьялме самые обширные и плодородные угодья, и братья признали его главенство — за ум и рассудительность. Все, кроме одного. Того, кто из жадности начал страшную войну.

Не успели замолкнуть колокола, отзвонившие поминальную по старому князю, как гонец положил к ногам Хьялмы топор Сармата.

Рати мятежного брата встали на востоке. Горько плакала княгиня, умоляя Хьялму не губить её любимого, буйного сына — а Хьялма был силен. Люди уважали его и, не раздумывая, отдали бы свои жизни за господина. Позже так оно и вышло. Все погибли. Но сначала младший, Ингол, вызвался образумить Сармата. Он пришёл к нему один, не взяв ни щита, ни меча, не надев кольчуги. Долго и вдохновенно говорил, что война между братьями — великое горе, и его кроткие глаза юродивого были влажны от слёз. Сармат засмеялся, потрепал его по белёсым кудрям — и ослепил.

Через месяц Ингол умер в подземельях сарматовой крепости. А потом войска Хьялмы, Ярхо и юного, гордого Рагне взяли её штурмом. Хьялма вызвал брата на бой и победил — однажды Рацлава слышала, как её свирель играла песню об этом поединке. Она заливалась в чужих руках, куда более искусных, чем у неё. Хрустальные звуки складывались в цветное полотно, хотя Рацлава не различала цветов. Но она знала, что кольчуга статного воина — Хьялмы — мерцала холодным серебром, а волосы юноши, приникшего к его ногам и запросившего пощады, были как тёплая медь, жаркое солнце и горячая кровь.

Восстание Сармата было обречено на провал с самого начала, и, говорят, истлевая в подземельях крепости, слепой Ингол окончательно потерял рассудок. День и ночь он обращался к Хьялме и просил его помиловать мятежника. Когда брали стены, княгиня-мать выплакала себе глаза и поседела на половину головы. Если верить легенде, она приехала в лагерь Хьялмы и бросилась на колени перед старшим сыном — и в тот раз, у разрушенной крепости, Хьялма не убил Сармата.

Позже он горько пожалел об этом.

После поединка Ярхо был мрачен, Рагне — зол. Хьялма — сосредоточен и угрюм. Как ни пытался Сармат разговорить братьев весёлыми речами, ничего у него не вышло. Его помиловали, но не простили, и по приказу Хьялмы заковали в цепи и заточили в каменную башню в ущелье.

Здесь история могла бы закончиться, и мир никогда бы не узнал людей, превращённых в драконов. Но — нет.

Шло время, и не было нигде князя мудрее и любимее, чем Хьялма. При жизни о нём слагали легенды, а его слова переходили из уст в уста. Но лишь немногие из его близких знали, что Хьялма был давно, с детства, тяжело болен — он кашлял кровью, и год от года ему становилось всё хуже и хуже. Тогда однажды к нему пришли могущественные колдуны, волхвы с вершин гор, и, наслышанные о его силе и разуме, принесли ему великий дар. Они собирались дать ему бессмертие. Кожу прочнее кольчуг, когти острее копий. Позвоночник твёрже каменного хребта. Они сказали, что нужно сделать, и кроме Хьялмы этот разговор слышали только его братья, Рагне и Ярхо.

Ярхо-предатель. Никто не знал, когда он начал завидовать великому князю и когда решил пойти на измену. Уставший быть в его тени, он отправился в ущелье и освободил Сармата, рассказав ему о волхвах. На пути его трижды останавливал гром. За три ночи он потерял трёх коней — но не внял предупреждениям богов и, одолев стражу, перерубил цепи Сармата.

И тогда полилась кровь. Реки крови, окрасившей горы, землю и небо в багряный, княжий цвет. И с тех самых пор свет не видел битв чудовищней.

...Придёт время, Рацлава сыграет и эту песню. А пока телеги ехали на восток, и ветра завывали под звёздами.

===== Зов крови I =====

Словно колокол рот, ад в груди его бьёт, крепче виселиц шея его.

Редьярд Киплинг.

Из их деревни было видно, как дотлевали шпильки древнего Гурат-града. Над оплавившимися куполами, красными с позолотой, курился чёрный дым. Воздух был душный и прелый, и суховей нёс по степи комки травы и запах гари. Слезающиеся глаза Кригги заливал пот, но она ничего не могла поделать — одно движение, и верёвки сильнее впились во взмокшую кожу.

Девушка рвано выдохнула и облизнула потрескавшиеся губы. Она почти ничего не видела из-за пота и слёз. И поэтому под ней, привязанной к высокому деревянному столбу, расстилалась мутная жёлтая степь. Расплывчатый диск солнца пылал над мёртвым Гурат-градом. От жара горы, огибавшие Пустошь, растеклись и замерцали алым.

— Я стою под столбом во твоей земли, — горло свело судорогой, — охраняй меня, матушка, и спаси. Я стою под столбом...

Каждый раз она сбивалась, начинала плакать и кашлять, но спустя мгновение

продолжала снова надтреснутым, ломким голосом.

— ...во твоей земли. Сохрани меня и спаси. — Кригга дрожала, и верёвки оставляли ожоги на её грубо перетянутых руках. Под грудью давило, живот онемел от страха и боли. — Я стою под столбом во твоей земли...

Ей хотелось пить. А ещё — вывернуться и в последний раз взглянуть на свою деревню. Дары Сармату оставили далеко за частоколом — девица и тюки с серебром и зерном. Узорные ткани, вытканые лучшими местными мастерицами. Глазурованные блюда, малахитовые шкатулки, нефритовые серьги, расшитые пояса — всё, что удалось собрать. Деревенский голова тряс каждый дом и вывернул собственные закрома, почти лишив приданого своих дочерей, но стоило ли? Говорят, в недрах Матерь-горы спрятаны сказочные сокровища. Что Сармату до их неказистой дани?

Гурат-град был богат и могущественен. Он мог откупиться сам и помочь окрестным деревням, в которых жили не тукеры, желтокожие кочевники Пустоши, а такие же княжьи люди. Но не захотел. Думал, что выстоит и заживёт вольно. Гордый город защищали крепкие стены старинной твердыни князей и ханов. Полноводная река Ихлас несла к нему свои бирюзовые воды. Но Кригга не знала ночи страшнее, чем та, когда Сармат жёг Гурат. Мать, простоволосая и босая, рыдала и прижимала к своей груди младенца. Кригга, бросив сестёр в тесной горнице, причитала у ног старой бабки, уже не поднимавшейся с постели. А над Гурат-градом крутилось марево ослепительно-оранжевого, кроваво-золотого пожара, крошился камень и ревела медная драконья глотка.

— Я стою под столбом во твоей земли, если можешь спасти меня, то спаси, если можешь спасти меня, то...

В деревне жили девушки куда красивее Кригги, более взрослые, налившиеся. С пригожими лицами, а не с таким, как у неё, по-мужицки широким подбородком. Но именно шестнадцатилетняя Кригга, уже вошедшая в возраст невест, вытащила из мешочка камень с красным крестом. И на неё надели холщовое платье и в четыре руки заплели светло-русую косу до пят.

Старая бабка, прощаясь,хватила Криггу за длинные волосы.

— Хорошо загорится, — проскрежетала она, и её колючие глаза заволокло пеленой.

...Если Сармат не прилетит, дадут ли Кригге воды? Или так и оставят умирать на столбе, побоявшись выйти за частокол? Девушка жалобно взвыла и попыталась вытереть плечом блестящую от пота щеку, усыпанную бесформенными кляксами веснушек. Спина у неё затекла, лопатки колело. Позвоночник словно приварился к шершавому дереву.

И тогда на степь легла тень драконьего тела.

Кригга вскинула голову и отчаянно заморгала, пытаясь смахнуть с ресниц влагу. Она видела, как солнце отразилось на красной чешуе. Слышала, с каким звуком кожистые крылья распоролы стылый воздух. Кусочки сухой земли и клубки травы зашелестели и покатались, гонимые горячим потоком. Гадюки и полёвки забились в норы, дребезжаще вскрикнула пустельга. Кригга тоже закричала, но её голос утонул в утробном рычании дракона. Девушка похолодела, задёргалась и даже не заметила, что верёвки протёрли ей кожу до крови.

Дракон нырнул вниз и едва не коснулся брюхом пожухлого ковыля. Острый конец его медного крыла прорезал линию над сваленными тюками. Кригга рванулась вперёд, будто захотела скинуть путы, и из её беспомощно распахнутого рта потянулись нити слюны. Девушка крепко зажмурилась прежде, чем её обдало жаром, а Сармат-змей взмыл над столбом. Ей показалось, что его тело было больше княжеского терема, а размах крыльев —

шире любого дворища. Кригга тоненько взвывла, не открывая глаз. Пятнистое от веснушек лицо резко побледнело.

Вокруг драконьей невесты кружился раскалённый воздух. Плясали белые мушки пылинок, на поникшие стебли струился свет. От пота и слёз ресницы Кригги окончательно слиплись, но во рту было страшно сухо, и теперь из горла доносился только рваный скулёж.

Раньше девушка никогда не теряла сознание. Но когда когти чудовища обхватили столб и сдавили её живот, когда с хрустом вывернули дерево из лопавшейся от зноя земли, Криггу обволокла удушливая спёртая темнота.

Последним, что она увидела, когда случайно открыла глаза, был дым над уменьшающейся деревней.

За одну невесту давали бесполезных зерно и коней, за вторую — золотые кубки и монеты. Но приданое гуратской княжны — целый город. Великий оплот древности. Весь, со своими куполами и инжирными садами, с сильными мужчинами и посмуглевшими от солнца женщинами. С их маленькими детьми, которых каменные воины, ойдары, как их называли в Пустоши, поднимали на мечи.

Который день Малика Горбовна ходила по глубинным залам Матерь-горы. Высеченные из породы своды уходили высоко вверх — шаги отдавались гулким эхом. Малахитовые, мраморные, аметистовые палаты. Иногда княжне казалось, что Матерь-гора сама прокладывает ей путь. Двери появлялись сами по себе. Вымощенные полы выводили её то к пиршественному столу, то к сундукам с одеждой — как в первый раз. Малика давно потерялась во времени, потому что в горных недрах не было ни утра, ни ночи. Она плутала по тем местам, где ей позволяла Матерь-гора, и за этот срок не встретила ни одного живого существа.

В палатах были десятки вырубленных ниш, и в каждой — по ойдару. Но гуратские захватчики двигались и говорили. Эти же — безмолвные изваяния с закрытыми глазами. Их потрескавшиеся ладони сжимали рукояти тяжёлых двуручных мечей, и как Малика ни старалась, она не смогла сдвинуть ни пальца. Княжна долго изучала прочную кольчугу и трогала шершавые лица, но никто из воинов даже не шелохнулся. И тогда Малика шла дальше. Горные чертоги были сказочно, таинственно прекрасны — стены переливались в свете негаснувших лампад. В отполированных камнях девушка видела своё отражение — она в платье цвета киновари с длинным рядом пуговиц. Но в Гурате княжна носила одежду не хуже. И ни одни недра не могли сравниться с её городом.

С её мертвым сожжённым городом.

Скоро она начала скучать. Малика не могла долго любоваться собой, даже несмотря на то, что была красива. Расцветшая, высокая, статная. Гладкая кожа, медовые волосы и отличительный для Горбовичей нос с горбинкой. Чёрные брови вразлёт, хотя это её несколько не портило. Княжна исследовала ходы, которые открывала ей Матерь-гора. Перебирая вещи, оставленные для неё прихвостнями Сармата, нашла брошь в форме сокола — знак её рода. Символ Гурат-града. Заглядывала в лица каждому ойдару, пытаясь узнать одного-единственного — Ярхо, их предводителя. Беспокорно дремала на холодных полах. И когда все занятия исчерпали себя, Матерь-гора смилостивилась. Малика разглядела неприметную, обложенную кварцем дверцу. Но она твёрдо знала, что раньше из малахитовых палат был только один выход.

Дверца вывела её на узкую, круто закрученную лестничную спираль. Каждая ступень —

обтёсанный гранит. Под ногами Малики мелькали вкрапления мрамора и скользкого кварца, тысячи пятнышек на множестве ступеней — княжна быстро сбилась со счёта, и виток за витком уводил её наверх. Под конец девушка подобрала юбки и зашагала, согнувшись от усталости. Новую дверь украшал цветной витражный круг с изображением крылатого змея — один кусочек, около хребта, откололся, и на его месте темнела дыра.

Комнатка была небольшая, с низким потолком, и очень бедная по сравнению с самоцветными палатами. Освещали её свечи, а не резные лампы. Жужжала деревянная прялка, и на каменной скамье, устланной белым полотном, сидела старая вельха.

Вельха была низкорослая и дряблая, в платье на длинную не подпоясанную рубаху. Седые волосы выглядывали из-под рогатой кички, подвески у которой переливалась мелким бисером. Малика знала, что кичка — убор замужних женщин. Как ведьма может его носить? Княжна выпрямилась и прошла вглубь комнаты, постукивая башмачками, но вельха не обратила на неё никого внимания. Она продолжала прясть, нашептывая незнакомые слова и обнажая гнилые зубы. Колесо прялки мерно поскрипывало. В растянутых мочках старухи поблескивали колдовские лунные камни.

— Послушай, ведьма, — княжна вскинула голову, — где здесь ещё живые?

Она так соскучилась по человеческому голосу, что стерпела бы даже вельху. Но та не ответила. Не оторвалась от нитей и не прервала поток странных слов. Малика не боялась сглаза — ей казалось, после пожара в Гурате она не боялась ничего. Молчание ведьмы вывело её из себя, а княжна держала лицо даже тогда, когда хотела оставить от чертогов лишь малахитовые и опаловые осколки. Поступить с домом Сармата так же, как он с её.

Это была последняя капля.

— Ты что, глухая? Отвечай, если я с тобой говорю.

Вертелось колесо вельхи, ползла пряжа.

— Мерзкая жаба, — ноздри Малики расширились. Девушка шагнула к прялке, но не отшвырнула её только из-за брезгливости — ведьминские вещи грязные. — Посмотри мне в лицо. Есть здесь кто живой, кроме тебя? Где Сармат? Где его брат-изменник? Я хочу их видеть.

Вельха и ухом не повела. По-прежнему крутила волокно, тянула нити и, бормоча, улыбалась пряже гнилым ртом.

Малика презрительно скривилась и отступила.

— Ты, наверное, страшно глупа. — Ведьма не подняла головы. — Годы выбили у тебя последние мозги, гнусное отродье. Что ж, оставайся здесь и мри в одиночестве.

Она уже собралась уходить, но напоследок вздёрнула породистый нос и выплюнула:

— Да что ты там всё прядёшь?

И тогда вельха гадко захихикала. От неожиданности Малика приподняла чёрные брови, а ведьма продолжила смеяться — грудь её затряслась.

— Она спрашивает, что я пряду, — сообщила она прялке, давясь скрипящим, надрывным хохотом. Морщинистая шея заходила ходуном. — Она спрашивает, что я пряду!..

Два острых глаза впились в лицо Малики. Один — жёлтый, второй — чёрный, без зрачка.

— Смерть твою, княжна.

Щека девушки дёрнулась. Малика выдержала взгляд вельхи и ещё долго и холодно смотрела на неё, вновь принявшуюся за работу.

— Старая дура, — обронила она надменно. Развернулась на каблуках и вышла вон.

По лагерю тянулись десятки тяжёлых запахов. Чад зажжённых костров и древесные смолы, жареное мясо. Приречные цветы, конский пот, разбавленная брага и сырая земля. Запахи клубились вокруг Рацлавы, лезли в рот и нос — жевательный табак, масло, душица. Как бочку с водой, уши девушки заливали звуки: треск поленьев, разговоры, стук ножа по ветке. Стрекот сверчков, кваканье лягушек и даже шелест камышей. «Мы ещё в княжестве, — поняла Рацлава. — Поэтому всё так спокойно».

Разложенный за ней походный шатёр, небольшой, но прочный, пах дорогой и пылью. Та Ёхо, сидевшая напротив, — корой и хлебом, Хавтора — чем-то кислым. От Совьон по-прежнему шёл запах стали. И вязкого дыма с горькой полыньёю. Пугающий запах, тревожный. Воительница наконец-то шагнула вперёд и, скрестив ноги, села к их костёрку — Рацлава услышала, что сейчас на её плече не было ворона.

— ...это правда, гачи сур, высокогорница, что в твоём племени есть оборотни?

— А правда, что вы привязывать детей к колёсам кибиток? — ответила Та Ёхо, и Хавтора склонила голову вбок. — Я в это не верить. А верить ли ты в наших оборотней?

— Нет, — резко ответила рабыня. — Небо знает только одного человека, способного взять себе чужое тело.

— Ну, это как смотреть, — развеселилась Та Ёхо. — Может, одного. А, может, и нет. Кто знает?

— Разве в Пустоши нет шаманов, которые примеряют на себя кожу животных? — ровным, ничего не выражающим голосом спросила Совьон, и Хавтора неопределённо тряхнула головой.

— Некоторые из моего народа пытались переселить свою душу, но у них ничего не вышло. Некоторые пытаются до сих пор. Один лишь Сарамат-змей...

Рацлава откашлялась и почти до груди натянула отрез плотной ткани, которым оборачивала ступни. Пламя костра, разожжённого перед их шатром, приятно постреливало в воздухе. Она потянулась к нему и повернулась туда, где должна была сидеть Та Ёхо.

— Вы поклоняетесь Сармату?

— И да, и нет, — девушка пожалала плечами и пригубила напиток из рога, обвитого едва заметной трещинкой. — Среди наших богов есть Молунцзе, красный дракон. А есть Тхигме, белый. Молунцзе — огонь, зло и кровь, когда Тхигме — лёд, мудрость и вечная зима, лежащая на вершинах Айхаютма. Многие старейшины считают, что оба дракона — ипостаси одного бога. Единого, как цикл жизни.

Девушка поставила рог на поджатые ноги.

— Насмешник и хитрец Молунцзе строить козни человеческому роду и сам обращаться человеком на полную луну. Раз за разом Тхигме, который возвращается в людское тело, когда хочет сам, мешать ему. Козни Молунцзе становиться всё страшнее и губительнее, но Тхигме помогать нам. Он исправлять их последствия. Предугадывать их. Убивать Молунцзе каждое новолетье, но тот возвращается снова.

— А что будет, если Тхигме не разгадает хитрость?

— Миру прийти конец, — улыбнулась Та Ёхо. — Это правильно, Раслейв. Однажды так и быть. Однажды, но не сейчас.

Совьон криво усмехнулась и посмотрела на синеющие в ночи горы, гнутые и острые, как зубцы короны.

— Подожди-ка, гачи сур, — возмутилась Хавтора, расправляя сухие и тонкие, словно у

девушки, плечи. — Хочешь сказать, что этот ваш Тхагма — Кагардаш?

«Хьялма», — упрямо подумала Рацлава. Старший княжий сын, так почему ему дают настолько странные имена? Хьял-ма, резкое, хлёсткое, будто удар кнута. Будто ожог, оставленный морозом.

— Богохульники! — взвизгнула Хавтора, а Та Ёхо широко заулыбалась и отпила из рога. — Кагардаш был слаб, и он умер человеком! А какие-то гачи сур посмели посчитать его ровней Сарамату! Да вы, бель гсар ади, юлду шат чира, неотёсанные, самонадеянные, и эта ваша вера...

— Знай своё место, рабыня, — Совьон положила тяжёлую ладонь на своё колено, оттопырив локоть. Грозно блеснули глаза. — Если ты ещё раз оскорбишь чужих богов, клянусь, я вырежу тебе язык.

Она была красива и внушительна, воронья женщина. Тонкий прямой нос, широкие брови, одна из которых — рассеченная. Густые волосы, заплетённые в слишком свободную косу — голову окутывал иссиня-чёрный ореол. И если бы Совьон не была так сильна и мужеподобна, многие воины сошли бы по ней с ума.

Осаженная Хавтора сторбилась, хотя мгновенно ощерила зубы в лукавой улыбке.

— Так тому и быть. Но я думала, что ширь а Сарамат, драконьей невесте, мерзко слушать подобное.

Возможно, Сармат — человек, а, возможно, вечно крылатый ящер. Но чем его считают слабее, тем Рацлаве легче.

— Ты ошиблась, — девушка поправила длинный рукав платья, наполовину лежащий на подстилке. — Прости её, Та Ёхо.

Высокогорница не думала обижаться. Она махнула рукой, свободной от рога, показывая, что тема исчерпана.

— Ссоры — не лучшая музыка для моих ушей, — заметила она. — Но если мы заговорить о музыке, Раслейв, я видеть свирель у тебя на груди. Ты не хочешь сыграть?

Рацлава готова была поклясться, что Совьон напряглась. Она даже задышала по-другому, одновременно глубоко и рвано. Мускулы под её рубахой затвердели, шея застыла. Но лицо, и Рацлава не знала об этом, осталось совершенно невозмутимым.

— Я бы с радостью, Та Ёхо, — девушка покачала головой, — но у меня болят пальцы. — Она провела ладонью, перевязанной лоскутками в засохших бурых пятнах.

Это правда. Старый черногородский воевода дался ей слишком тяжело.

— Мне очень жаль.

— Пустое, — отмахнулась Та Ёхо. — Сыграть когда-нибудь в другой раз. Лечить свои пальцы!

Усмешка тронула маленький пухлый рот Рацлавы.

— Хорошо. Вылечу. — Нет, её пальцы никогда не заживут. И боль никогда не уйдёт. Иногда она становилась такой сильной, а крови лилось так много, что Рацлава не держалась на ногах. Но придёт время, и она будет падать после более искусных песен. А потом перешагнёт и их.

— Чем же ты так сильно изрезала руки, Рацлава с Мглистого полога? — Дыхание Совьон выровнялось, а голос напомнил дребезжание тугого металла. — Разве у тебя есть нож? Возможно, кто-то напал на тебя или лекари вскрыли тебе жилы?

Девушка погладила перекинутую через плечо косицу. В висках застучало, и Рацлава, медленно поведя едва запекшимся подбородком, выдавила ответ. Он пришел на ум раньше

всего:

— Я упала.

Хавтора вскинула руки, округлила губы и закачала головой. Дай ей волю, она бы разразилась стенаниями.

— Наверное, в лесу? — подсказала старуха.

— В лесу, — ухватилась Рацлава, чувствуя, что Совьон ей ни капли не верит. — Распоролла кожу о терновый куст.

Позже девушка поняла, что ложь выглядела жалкой. Когда она пошла в лес? Зачем? Как её могли выпустить пристроенные няньки? А ведь, судя по крови, это случилось совсем недавно.

— О терновый куст, — выдержав паузу, повторила воительница. И сухо добавила: — Будь осторожнее.

Ветер сменился, и от Совьон так сильно дохнуло полыньё, что Рацлава вздрогнула.

Место из её сна окружали льдисто-голубые фьорды. С мягкой травой на склонах и с водопадами, стелющимися по породе, как фата по стану юной невесты. Мглистый полог, родина Рацлавы. Она, почему-то в своём роскошно-нежном платье с длинными рукавами, стояла на скале, обдуваемой холодными и пряными ветрами.

Во сне скала переходила в лес, из которого выступало сказочное дерево. Его кустистые ветви тянулись к бездонному небу, и в листве шумели птицы. Дерево цвело — лепестки розовые, словно рассвет. Белые, будто молоко. Жёлтые, как робкое весеннее солнце, и голубые, напоминающие едва сломанный лёд на ручье. Дерево смотрело на Рацлаву лицом могущественной женщины, и не так, как глядел безжизненный Шестиликий столп. Это была древесная колдунья. Ветви — её руки. Перекрученные, уходящие в землю корни, — обездвиженные ноги. В листве-рукавах чирикали птицы.

Рацлава боялась этого сна. Бледная и босая, она стояла на скале, и через пару шагов от неё на камень напозлзал чернозём. Девушка попыталась вернуть себя в шатёр, где слышались пение цикад и чужое посапывание, но сон держал цепко.

— Кельхе... Отпусти меня, Кельхе...

Древесная колдунья, которая казалась ещё больше, чем была в настоящем, повела руками-ветвями. Птицы порхали над цветами и щёлкали клювами из густой кроны. Лубяные губы Кельхе распахнулись, а глаза — как хорошо, что Рацлава не видела её светло-серых, как талый снег, глаз — полоснули воздух, будто нож — плоть.

— Отдай, — зашипела листва. — Воз-зврати, воровка, то, что украла, воз-зврати.

— Без-здарность, — раздался клёкот в птичьих клювах. — Воровка, воровка! С-святотатс-ство, предательс-ство, из-змена...

Молчала одна Кельхе, плавно шевеля ветвистыми руками. Рацлава зажала уши, когда ветер, поднимаясь с её корней, просвистел: «с-свирель, с-свирель».

Сон отшвырнул её на несколько лет назад. Рацлава осязала седые, вплетённые в кору волосы древесной колдуньи, аромат весенних цветов, реки под обрывом, несущие холодно-пряную воду к холму, где ходили стада пастуха Вельша. Чувствовала и кружевное оперение птиц Кельхе, прохладу их зрения и остроту голоса.

Мгновение — и сон сменил её платье на исподнюю рубаху, щекочущую лодыжки. Рацлава начала пятиться спиной, спотыкаясь о камни, но не отнимая ладоней от ушей. К ней подлетели птицы и начали трепать её косы, вырывая из своего нутра: «Воровка! С-свирель!»

Ошмётки ветра падали на проросшие руки колдуньи.

И тогда Кельхе закричала.

Это был не визг женщин, в чьи дома зашли каменные воины. Не стон матерей, чьих детей сбрасывали со скал в заливы. Не плач вдов, не рёв сирот. Это был нечеловеческий, хрустально-пронзительный крик, от которого разбивались фьорды. Мучительный. Чудовищный. Предсмертный. Птицы рванулись к небу и скрылись в тумане. Кора на теле Кельхе начала лопаться и выворачиваться. Из порванных жил потёк древесный сок. Цветы облетели, и ветер швырнул Рацлаве мёртвые лепестки. Стиснув голову, девушка отступала и отступала, пока её нога не соскользнула в пропасть.

Рацлава падала со скалы медленно, в негаснущем дребезге последнего вопля.

Она очнулась на смятых простынях — рубаха задралась почти до колен. В шатре пахло утренней сыростью. Сладковатой росой, вчерашним костром и илистой рекой. Рацлава сжала свирель и, не отпуская её, сползла со шкур. Наощупь, запутавшись в чужой постели, перетрогав почти весь шатёр изнутри, чудом не наступив на Хавтору, она вышла наружу.

Это было раннее утро, многие ещё спали. На голубом небе стыли облака, веяло туманом и кристально-чистым сентябрьским морозцем. Пальцы Рацлавы свело жгучим желанием играть. Сейчас — и играть до горячей, солёной крови.

У входа сидела Совьон и точила кинжал.

— Здравствуй, — сказала Рацлава хрипловатым голосом. — Пожалуйста, отведи меня к реке.

Её босая ступня опустилась на мелкие приречные камешки, которыми был усыпан весь склон оврага. Придерживая подол, очень аккуратно, Рацлава начала спускаться. В какой-то момент она всё-таки оступилась и прежде, чем её подхватила Совьон, попыталась ухватиться рукой за откос. Но нащупала только всё те же камни, покотившиеся под её пальцами. Ладонь заныла. Будет ещё одна ссадина, такая же, как на подбородке. Для слепой у Рацлавы слишком тонкая кожа.

Вода, лизнувшая её ноги, была обжигающе ледяной. Стиснув зубы, Рацлава двинулась вперёд. Совьон стояла на скате повыше неё и наблюдала взглядом охотника. Девушка не знала этого, но у неё проскользнула озорная мысль о побеге. Сколько шагов она сумеет сделать до того, как Совьон схватит её за косы? Два? Один?

Река уже плескалась у её бёдер. Рубаха намокла и отяжелела, и, потянув за кожаный шнурок, Рацлава подняла свирель. Пальцы свело знакомой болью. Девушка давно разложила её на ощущения — это была сладкая, немеющая, бесконечная боль. Зажав одно отверстие указательным пальцем, Рацлава наполнила дыханием белую косточку, украшенную витиеватой резьбой, и над рекой потянулся первый звук.

Единственная нота, нить в полотне, которое она может выткать. Но Рацлава быстро поняла, что переоценила себя. Её руки до сих пор были слишком слабы. И наточенная, напряжённая, звенящая струна обнажённого звука повисла в тумане над оврагом. Что Рацлава может с ней сделать? Заставить её надуть парус драккара? Или обернуть ей шею невесты, сидящей на пиру рядом с нелюбимым? Или превратить струну звука в колесо вельхи, прядущей судьбу? Тысячи нитей и сотни историй. Играй, играй!..

Липкие капли крови сорвались в воду.

Рацлава взяла вторую ноту, выше, чем первую, и покачнулась вместе с речной волной. «Не смогу, — поняла она. — Не сейчас». Свирель выскользнула из пальцев, упруго отозвался

шнурок. Два звука таяли над её головой. Так Рацлава и стояла по пояс в реке, по глади бежала рябь, и мягкие водоросли колыхались у её щиколоток. Зайти глубже, чтобы умыться, она не могла.

Когда затих последний звон, Совьон подала голос.

— Довольно, — отчеканила она. — Выходи, а не то окоченеешь.

Рацлава согласилась, отошла назад и ухватилась пухлой, в расползшихся лоскутках ладонью за твёрдую, чуть шершавую руку воительницы. Та рывком выдернула её на берег. О свирели не сказала ни слова.

— Свежая кровь на пальцах, — зато процедила она. — Драконья невеста нашла терновый куст?

Рацлава промолчала — холод набросился на неё с новой силой. Тело скрутило, как в судороге. Губы и ногти мгновенно посинели, но Совьон расправила чёрный шерстяной плащ. Укрывая Рацлаву, воительница заметила, что из-за отяжелевшего подола рубаха оттянулась и обнажила кусочек спины. На белой коже розовели точки давно заросших шрамов. Это могли быть следы от веток в чаще. От случайно подвернувшихся обточенных кольшкков. Выправленный угол стола, острые щепы, да даже чьи-то стрелы. Но Совьон, воронья женщина, узнала эти отметины. Она отличила бы их от любых других.

Ниже шеи Рацлаву били птичьи клювы.

===== Хмелевый князь I =====

И истаяла, как тень,

И лежит в могиле.

Помнишь, у ограды хмель

Люди посадили?

Кристина Россетти.

Позже Рацлава вспоминала, что это были лучшие дни пути. Караван ещё ехал вдоль черногородских рек и густых лесов: пахло хвоей и ежевикой, липой, сырой землёй. С Рацлавы сняли дорогое, неудобное в походе платье и нарядили в мягкую рубаху и тукерские шаровары — такие же, как у Хавторы. Только сшиты они были из тёплой северной шерсти и стоили дороже старой рабыни. Её головное покрывало сменили на тонкий светлый платок, спускающийся ниже плеч, а поверх него надели округлую шапочку, по низу подшитую мехом. Но главное — пальцы Рацлавы зажили так, что она наконец-то смогла играть. Хотя девушка предпочитала слово «ткать».

Весь мир для неё состоял из нитей. Нити леса, воды, запаха ежевики, конского топота. Они тянулись по воздуху, путались, тонко звенели — бери их, Рацлава, пропускай сквозь свирель и тки музыку. Но из самых нежных, горячих, певучих нитей-струн состояли люди. Рацлава не умела — пока не умела, как думала она сама, — ткать из людей. Кельхе — да. Она из любого человека вила верёвки, могла заставить его станцевать, утопиться, поджечь свой дом, положить к её корням сердце любимого. Сколько ходило сказок про таинственных певцов, способных завладеть человеческой волей, и все они были стары, словно мир. Рацлава научится. Придёт день, и она научится, как научилась всему, что умеет сейчас.

Если не можешь вытянуть из человека струну, то хотя бы дотронься до неё. Пропусти сквозь пальцы, погладь, сожми. И человек поверит, будто играешь о нём, для него. Захочешь — засмеётся, захочешь — заплачет. Но Рацлава встречала разных людей, и нити у них были разные. Чтобы развеселить дочку землепашца, свирель забирала лишь несколько капель крови. Чтобы заставить рыдать старого воеводу, Рацлава изрезала себе все руки. А у

некоторых людей струны были такие острые и жёсткие, что, казалось, приблизиться — и отсечёшь себе фалангу.

Но Рацлава научится. Так же, как научилась ткать из мышей и птиц. Более того — она умела раздвигать струны, из которых они состояли, и занимала их место.

Караван ехал мимо рек и лесов. Тело Рацлавы сидело в повозке и наигрывало тихую жуткую песню — Хавтора сказала, что она напоминает ей монотонную дробь степных барабанов. Но Рацлава не слышала. Её бельма закатились, окровавленные пальцы передвигались сами, а душа летела в теле дикой утки. Над людьми и телегами, вдоль запахов липы и хвои.

Благодаря таким полётам она лучше ощущала цвета и ароматы. Зрение, настоящее, полное зрение ей не давалось — пока. Однажды, Рацлава надеялась на это, она сможет целиком влиться в чужое тело. Подчинит себе кости, сухожилия, язык — и глаза. И, боги, великие её боги, она сможет видеть. Но сегодня девушка, соседствуя с душой утки, расплавляла крылья на лентах запахов, скользила по восточному ветру и ныряла в воздушных потоках. И как же ей было хорошо.

Рацлава понимала, что после этого полёта она не сможет играть весь следующий день. Играть в полную силу — чтобы свирель резала её пальцы и пила тягучую кровь. Без жертв для Рацлавы не существовало настоящей, волшебной музыки. Ярких полотнищ историй, чужих смеха и слёз. Она могла посвистывать, словно пастушонок на дудочке, и кожа её оставалась цела — так она играла за ночь до Божьего терема и так она будет играть, если снова разрежет себе руки до мяса. Но это не то. Это не сила древесной колдуньи Кельхе и певцов древности.

Рацлава в теле утки не могла полностью управлять крыльями. Птичья душа теснилась где-то около и ограничивала её простор. Ничего, ничего — сегодня девушка довольствовалась и этим. Но сердце Рацлавы сладко щемило при мысли, что когда-нибудь она сумеет упорхнуть к льдистым морям. К пескам, что лежат на юге. Оставит под собой другие обозы и отряды, идущие на войну, услышит незнакомую речь и впитает в себя сотни, нет, тысячи новых запахов. А сейчас Рацлава взмыла над верхушкой ели и, подчинившись утке, гортанно прокричала. Обогнула деревья и прочертила в высоте круг над караваном.

В средней повозке сидело её тело, мягкое, как пух, и белое, как молоко. Рядом ехали люди — для неё они были не больше кровавых подтёков на рукавах. Птичье тело лучше переносило сентябрьский морозец, и Рацлава совсем не ощущала холода. Воздух приятно всколыхнул узорные, бурые с рыжим перья, и душа утки испуганно зашевелилась — птица захотела вернуться к реке. К реке так к реке, согласилась Рацлава, но в это мгновение, спустившись ниже по ветру, она поймала две дорожки удивительных запахов. Они исходили от двух молодых мужчин, пустивших своих коней лихим бегом и опередивших весь караван.

От первого веяло мёдом и хмелем, лисьим мехом и осенней листвой. От второго — гнилой осокой и тленом. Будь у Рацлавы нос, а не клюв, она бы сморщилась. Её так заинтересовали эти запахи, что, пересилив душу утки, девушка нырнула вниз. Но, упустив птичье горло, ей пришлось прокричать во второй раз. Рацлава не понимала, что в руках у обоих мужчин были луки, и тот, что будто бы гнил изнутри, спустил тетиву.

Стрела пробила горячее птичье сердце. Кровь залила светлую грудку, а нутро разодрало кряканье — Рацлава поняла, что падает.

Когда она очнулась в своей повозке и в своём теле, то согнулась от страшной боли. Она обвила себя руками и часто и испуганно задышала, к ужасу Хавторы, ещё несколько минут

не откликаясь на своё имя.

Закат в тот день был бархатно-оранжевый. Темнело — вязкие сумерки напоздали на леса и расставленные походные шатры, чернили небо, оттеняя пляшущие языки пламени. Медно-рыжие, как тугие косы, змеящиеся по могучим плечам Тойву, сидевшего на пятках рядом с Оркки Лисом, — одна ладонь лежала на колене, вторая поднесла чарку к губам. Сам Оркки Лис смеялся над какой-то шуткой и поглаживал остроконечную пшеничную бородку. Злой горячечный Скали, очень худой, с чёрными волосами и усами, с глазами как две пробоины, скалил зубы и почти не притрагивался к еде. Гьял жевал табак, Безмолвный — мясо. Вис и Корноухий играли в ножички.

Если подумать, отвернувшись, Лутый мог подробно рассказать, чем занимался каждый из дюжины воинов, собравшихся за их главным костром, подле предводителя. Лутый цепко высматривал даже тех, кто находился в его «слепом пятне». Это получалось непроизвольно и невероятно быстро. Одно мгновение — и он уже всё охватил. Его единственный глаз был острее и внимательнее, чем пара здоровых у многих воинов.

Следующая шутка, развеселившая Оркки Лиса, принадлежала Лутому, расположившемуся по его правую руку. Оркки даже несильно потрепал юношу за ухо, а тот, склонив голову и рассмеявшись, положил в рот былинку.

— Острый язык у тебя, парень, ох острый.

Конечно.

— Уж куда ему до языка Скали? Так, — он вынул стебель, — былинка перед ножом.

Сухой черноглазый Скали, с волосами до середины шеи, вьющимися и сальными, скривил губы. Будто улыбнулся, жутко и страшно. Но Лутый только хохотнул, и на его правой щеке выступила ямка. Он может говорить всё, что захочет, если решит, что другие сочтут это забавным. Кроме него со Скали никто не водится, и тот, как бы ни был суров, не решится потерять единственного приятеля. Говорили, что у Скали не слюна, а яд — до того он был вечно зол и всем недоволен. А Лутый... Лутый — любимец Оркки Лиса, хмель и мёд. Он весел и словоохотлив. Изжелта-русые волосы падали ему на лоб в россыпи мелких веснушек, лукаво поблескивал правый медово-карий глаз. Левый вместе с почти половиной лица закрывала широкая грубая повязка. Лутому было двадцать лет, но Оркки Лис уже ценил его за внимательность, остроумие — и хитрость.

Когда Тойву вытирал усы тыльной стороной ладони, к их костру тихо подошла Совьон, воронья женщина. Сначала она села на колени, затем — на пятки, оказавшись за правым плечом предводителя. После того, как мужчины удивлённо замолкли, она произнесла зычно и невозмутимо:

— Мне нужно с тобой поговорить.

Тойву наморщил лоб.

— Так говори.

— Нет, — не дрогнув, обрубил Совьон. — Наедине.

Оркки Лис длинно выдохнул и тут же потянулся за чаркой.

— Смотрите-ка, к нам пришла подстилка, — прошипел Скали так, чтобы его слышал один Лутый, но в это же мгновение встрепенулся ворон Совьон. Скали недолюбливал всех людей, а особенно — женщин. Высокогорница Та Ёхо была для него «дикарской шлюхой», драконья невеста — «жирной мерзостью, где только отъелась», её рабыня Хавтора — «степняцкой каргой». Однако самую лютую ненависть он питал к Совьон. Для неё он

ежедневно придумывал новые оскорбления.

Лутый закатил глаз.

— У меня нет секретов от моих людей, — возразил Тойву.

Совьон, не изменившись в лице, повторила не то просьбу, не то приказ, хотя приказывать она не имела никакого права.

— Боюсь, это слишком важно.

Да никого она не боялась. Ни богов, ни духов, и уж тем более ни злого Скали. Взглядом, которым её одарил Тойву, можно было рубить щиты.

— Надеюсь, настолько важно, чтобы ты сумела объясниться перед моими воинами, — жёстко вытолкнул он. Совьон не собиралась объясняться, но Тойву — предводитель, а она — подчинённая, и стержень у него внутри был не слабее её.

— Я прошу прощения, — она склонила голову и сложила руки на груди. Тогда Тойву поставил чарку, поднялся и, поведя подбородком, сделал знак Совьон. Женщина послушно ушла с ним за шатёр.

— Ну дела, — протянул Орkki Лис и сплюнул на траву. Лутый, положив локоть на поднятое колено, задумчиво потёр большим пальцем уголок рта. Он не любил, когда что-то ускользало от его ушей и глаза. Юноша откинулся назад. Позднее следует выяснить, о чём был разговор, — Орkki захочет знать. Обязательно захочет. Но пока...

Лутый прикрыл глаз и поправил зажатую зубами былинку.

Ночь наступила быстро. Люди укрылись в шатрах, погасив большие костры, — остались только факелы и огни для сторожевых. В воздухе повисли стрекот цикад и лошадиный храп. Этой ночью Лутый был в дозоре, но, как обычно, не смог долго высидеть у крохотного костерка. Он весело-терпеливо слушал, пока седой Крумр говорил о своей дочери Халетте, на которой мечтал его женить. Сам полушёпотом рассказал пару забавных историй, но, поняв, что тепло клонит его ко сну, вызвался осмотреть лагерь. Ноги увели Лутого от повозок, понесли вдоль шатра драконьей невесты и женщин, заставили обогнуть ряд маленьких палаток и привязанных коней. Всё было мирно, и вскоре юноша оказался у густо поросшего склона, ведущего к реке. Спускаться Лутый не хотел — незачем, — поэтому стоял по щиколотку в траве, вдыхая запахи тины и последнего клевера. За спиной потрескивали огни лагеря. Ветер шевелил пологи шатров. По веточкам хрустели знакомые шаги.

— Сегодня полнолуние, — сказал Скали. — Время оборотней.

И присел на землю подле него.

— Что ты здесь делаешь? — не поворачивая головы, спросил Лутый. Он сложил руки за поясицей. — Сегодня не твоя очередь.

В небе мерцала круглая луна. На неё напоззали дымчато-синие тучи.

— Отправляйся-ка спать.

— Знаешь, — продолжал Скали, — пока я шёл к тебе, я увидел, как в лес бежала лосиха. Шерсть у неё была коричневая, а копыта — будто посеребрённые.

— Да, конечно, — усмехнулся Лутый. — Для тебя каждая сова — девица, каждая лягушка — заколдованный парень. А конь Совьон и вовсе проклятый князь. Сказок про оборотней переслушал?

Лутый хорошо видел в темноте и краем глаза разглядел, как Скали сжал губы. «По-твоему, я не знаю, зачем ты ко мне пришёл?»

— Славный у этой бабы конь, верно? — протянул Скали после молчания.

— Славный, — уклончиво ответил Лутый.

Скали, призадумавшись, вскинул голову и посмотрел на него снизу вверх.

— Наверное, она очень им дорожит.

— Наверное.

— Хороший конь, — кивнул Скали. — Быстрый, крепкий и даром что одноглазый. —

Лутый приподнял бровь и даже оглянулся на приятеля. — Это ему и простить можно.

— Можно и простить, — развеселился юноша, но Скали ничего не заметил. Он ещё с минуту сидел и смотрел в одну точку, сцепив тонкие, как у мертвеца, пальцы.

— Лутый, — вдруг зашептал он. — Лутый, укради его. Пожалуйста, укради его для меня. Я знаю, ты можешь.

Конь Совьон огромный, дикий и норовистый. Он не подпускал к себе никого, кроме своей хозяйки, и в Черногороде откусил конюху половину ладони. Пылающий чёрный глаз, отрезанные губы, литые мускулы.

— Я знаю, ты сумеешь...

Он — сумеет.

— Разве тебе не хочется показать, насколько ты ловок и умен?

Сначала нужно навязаться к Совьон. Почаще ходить с ней возле её коня, чтобы животное запомнило запах. Потом следует давать мелкие сладости — сахар, яблоки. В первый раз оставить далеко на земле, потом — всё ближе и ближе к его морде. Через несколько недель покормить с руки. Если удастся, умыкнуть одну из чёрных рубашек Совьон, хранивших её запах, — у женщины достаточно широкие плечи, чтобы одежда пошла Лутому. Дальше — дело ловкости. Выйти из «слепого пятна», крепко ухватиться за хребет.

Но пусть у Лутого только один глаз, видит он далеко.

— Дурак ты, — юноша повернулся на пятках и наклонился к Скали, уперев руки в колени. — Это сейчас всё спокойно. А чем ближе мы к Матери-горе, тем будет страшнее. Ты просто хочешь взять и посеять раздор в лагере? У тебя что, мозги усохли?

Скали дёрнулся, как будто от удара.

— Совьон тебе за коня глотку раздерёт, и будет права. — Про себя не сказал. Лутый всегда сможет выкрутиться, и воронья женщина его не достанет. — Утихомирь свою злобу. Потому что если я почувствую, что ты что-то замышляешь, — а я почувствую, — твоя голова полетит на землю раньше, чем ты успеешь моргнуть.

— С-скотина, — выплюнул Скали. Лутый медленно вытер влажную от его слюны щёку, ухмыльнулся и выпрямился.

— Иди-ка спать. Как ты там сказал? Полнолуние, время оборотней. До шатра дойдёшь или проводить?

Скали поднялся и стиснул кулаки так, что на его ладонях остались выемки от ногтей. Хотел что-то ответить, но задохнулся от ненависти и пошёл прочь, качаясь, как пьяный. Худой, сухой, горячечный.

Лутый вновь посмотрел на реку и взъерошил изжелта-русые волосы.

Перед походом Тойву объезжал караван, идущий к Матери-горе, и вместе с ним была Совьон. Женщина сидела на своём огромном коне, по-хозяйски придерживая поводья одной рукой, и смотрела на воинов пронзительно-чистым, спокойным взглядом. Позже парни из каравана шипели, почему это баба разглядывала их, как торговец — жеребцов на рынке.

Когда Совьон проезжала мимо Лутого, — юноша был готов поклясться, — она чуть прищурила синие глаза. Прихвостень Орчки Лиса. Затем женщина заметила Скали, и её и вовсе передёрнуло. Её невозмутимое, резко скривившееся лицо — словно безупречный лёд,

по которому пробежала чудовищно заметная трещина.

— Зачем ты взял его? — как всегда, зычно спросила Совьон у Тойву. Воины из каравана обескураженно затихли. — Он и до зимы не доживёт.

С тех пор Скали потерял покой. Воронья женщина уязвила его — страшно, прилюдно. И он измывался, из кожи вон лез, чтобы ужалить её в ответ. Эх, Скали-Скали, вздохнул Лутый, смотря на чёрную реку.

До зимы оставалось меньше трёх месяцев.

===== Зов крови II =====

Мир тогда был гораздо моложе, чем сейчас. Княжеские дети играли в саду, усыпанном, будто снегом, белыми венчиками тысячелистника. С неба лился свет — жёлтый с красноватой примесью. Смятые лепестки падали на землю, и хрустели корни кустов. Рагне, издав по-животному яростный клич, замахнулся деревянным мечом.

Осенью ему исполнилось семь, и он уже был заносчив, драчлив и горд. Ещё не родилось мальчишки, которого бы Рагне не захотел вызвать на бой. Он не мог пропустить ни одну острозубую кошку, вздумавшую шипеть ему в узкое, сплошь в синяках лицо. Его колени и локти, выглядывающие из-под рубахи плечи и живот были в вечных ссадинах и кровоподтёках. Но налившийся синяк на челюсти Рагне носил с особым достоинством. Этот — от Хьялмы.

Хьялме было четырнадцать, и он не вёлся на заискивающие речи. Младших братьев и пальцем не трогал — обычно. Но когда Рагне решил высмеять Ингола, мелкого, которому едва сровнялось пять, то отвесил оплеуху. Чтобы неповадно было. Ингол был белокурый, с пустыми чисто-голубыми глазами. Он всегда глуповато улыбался, глядел на тысячелистники в саду и до сих пор плохо ходил. Не умел разговаривать — издавал только малопонятные звуки, но тянулся ко всему миру. Блаженный. Юродивый. Дурачок.

Сармат тоже смеялся над Инголом и даже как-то подсунил ему раскалённый, украденный у нянек наперсток. Ингол обжёгся и долго плакал, но Сармату было девять, и ему всегда хватало хитрости не попадаться ни Хьялме, ни отцу.

Их отец всегда говорил, что Сармата нужно нещадно пороть. Но мать — мать безумно его любила. И когда Сармат пришёл к ней с повинной, уткнулся в её колени, а потом и расцеловал обожжённый палец Ингола, княгиня помогла ему избежать наказания — она знала, как смягчить суровый нрав мужа. И делала это каждый раз.

Поэтому Рагне ненавидел Сармата. Сдунув со лба тёмную, выскочившую из косы прядь, мальчик поднял деревянный меч.

— Выр-родок, — зашипел он. Сам — как рассерженная кошка. — Да чтоб тебя змеи жрали!

Рагне сделал выпад мечом, но тот лишь едва задел Сармата у ключицы. Сармат же вывернулся и чуть не сбил его ногой. Рыжие волосы упали ему на лицо, рассыпались по плечам.

Ярхо — одиннадцать. Подбородок у него был почти такой же, как у Рагне, только гораздо массивнее — отцовский. Стянутые в косицу светло-каштановые волосы, раздавленные плечи, сильные руки. Одной он держал Рагне за грудки, второй — Сармата за шкуру.

— Самого тебя сожрут! — рывкнул Сармат, и Ярхо ошутимо тряхнул их обоих. Скоро и Рагне, и Сармат перегонят его в росте, но в силе и ширине плеч — никогда.

Хмурое, тяжёлое лицо Ярхо выдавало только одно желание: столкнуть братьев

головами, а потом забросить в кусты.

— Плешивая крыса! — Кончик деревянного меча мазнул Сармата по щеке.

— Свинья! — Вытянутая пятка ударила Рагне в колено.

Подзаборная девка! Слабак! Крыса! Выродок! Трус, дай только до тебя добраться!

— Что же вы опять творите?

Их светлая княгиня-мать шла по садовой дорожке. Подле неё были две служанки, наполовину скрытые от княжичей круглыми кустами.

— Матушка! — Ярхо вскинул голову, и Сармат, улучив момент, дёрнулся и упал на землю. Он утёр рукавом рот, разбитый Рагне ещё до того, как их растащили. Сармат знал, что матери тяжело видеть его кровь. Он снова выдохнул: — Матушка...

Княгиня Ингерда нахмурила рыжие брови. Её голова была обёрнута белым платком, завязанным за шей. От богатого венца вниз стекали цепи-рясны.

— Что они творят, Ярхо? — спросила княгиня, глядя в почти юношеское лицо сына. — Из-за чего они дерутся?

— Я не знаю, — признался тот и, потупив глаза, выпустил Рагне. Мальчик сполз на траву, вытирая распухший нос, а Сармат уже вскочил на ноги и бросился к матери.

— Знала бы ты, что он сказал, — буркнул Рагне, подбирая меч.

А княгиня Ингерда запустила пальцы в рыжие-рыжие, как и у неё самой, волосы Сармата.

— Уверена, вы оба наговорили друг другу обидного, — сказала она и оттянула Сармата за прядь на макушке, вынуждая поднять лицо. — Извинись перед Рагне.

На губах Сармата мелькнула тень улыбки. Он кивнул и покорно обернулся.

— Прости меня, Рагне!

— А теперь ты.

Но Рагне молчал.

— Ну же, — княгиня снова нахмурилась. Её тонкая белая рука — на пальцах блестели кольца — лежала на взлохмаченной голове Сармата.

— Не буду, — желчно ответил Рагне, метнув на застывшего Ярхо умоляющий взгляд. Сармат неодобрительно зацокал языком.

— Ты плохо поступаешь, Рагне, — Ингерда обняла Сармата за плечи. — Сейчас же возьми и...

— Сармат сказал, что Хьялма скоро умрёт. Что Хьялма умрёт, а он станет князем вместо него, — выпалил Рагне, багровея до кончиков ушей.

У Хьялмы только усы начали расти, а он уже давно носил с собой платок. По белой ткани расползались красные разводы. Юноша кашлял кровью, и лекари говорили, что он выплёвывает кусочки своих лёгких. Рагне восхищался Хьялмой — несмотря на то, что и его пытался вызвать на бой, — и трясся от ярости при виде его лекарей. Каждый вечер они сжигали окровавленные платки Хьялмы. Каждый вечер говорили, что старшему княжичу осталось не больше года.

Княгиня Ингерда убрала руку с плеча Сармата.

— Это правда? — сухо спросила она.

— Не совсем, — ответил Сармат и стрельнул глазами в Рагне. — Я сказал, что если случится такое горе, мне придётся стать князем и...

— Врёшь! — крикнул Рагне. Он помнил, как смеялся Сармат и что обещал сделать с братьями, едва его благословят на княжение. Но знал, что в итоге мать поверит не ему, и от

этого задохнулся от гнева.

Но даже если Хьялма умрёт, второй после него — Ярхо. Рагне видел, как тот поднял тяжёлый колючий взгляд. Если бы Сармат не стоял рядом с матерью, Ярхо бы его ударил, и тогда от Сармата мало бы что осталось.

— Вот, матушка, — быстро улыбнулся Сармат, пригладив рыжие волосы. Он даже носил их так, как Хьялма — распущенными, длиной по плечи. Только крайнюю прядь заплетал в косицу. Перехватив взгляд Ярхо, мальчик инстинктивно отпрыгнул на полшага назад. — Видишь, матушка: я не сделал ничего дурного.

Но княгиня Ингерда уже слушала через слово. Она вновь повернула Сармата к себе лицом и взяла его пальцами за подбородок. И долго смотрела в безмятежно-весёлые глаза, словно пытаясь взглянуть в глубину за ними.

Рагне раскрыл рот, как выброшенная на берег рыба. Ему не давались слова. Сделал Сармат дурное, ещё как сделал! Показал, что хочет смерти Хьялмы. Что хочет переступить через Ярхо, не дать жизни Рагне.

— Никогда больше не говори об этом, — тихо произнесла Ингерда. И было в её словах что-то кроме нежелания слушать о кончине Хьялмы. Что-то, заставившее Ярхо и на неё поднять свинцовый взгляд.

— Хорошо, матушка, — согласился Сармат. И с тех пор он действительно не говорил о своих планах. Только запустил ход событий, завершившихся через одиннадцать лет ослеплением Ингола и штурмом Криницких ворот. И поединком Сармата с Хьялмой, сумевшим пережить и этот год, и следующий. Болезнь в нём будто заснула. А потом — потом пробудилась с новой силой.

— У меня пятеро сыновей, — продолжала княгиня Ингерда, не выпуская подбородка Сармата. — Нужно ли мне бояться, что вы причините друг другу зло?

Сармат всегда смотрел на мать с несвойственной ему нежностью.

— Вовсе нет, — звонко ответил он. — Тебе не нужно бояться.

И тогда он, конечно, солгал.

Малика Горбовна, гуратская княжна и драконья невеста, лежала на полу в длинном тереме. И терем пылал. По его стенам развернулись огненные полотнища, а потолок затянул горький дым. Малике казалось, что она даже ощущала жар, но не могла сдвинуться с места. Только лежала, видя между танцующих языков падение Гурат-града. Вот горящие красно-золотые купола. Плавающие каменные стены. Её отец-князь, высокий, коротко стриженный и черноволосый, с золотым венцом на челе. Он сражался с Ярхо-предателем, но не смог его одолеть.

Малика различала мечи и стрелы. Девочек с подождёнными юбками, мужчин с раскромсанными гортанями. И в её ушах стоял мучительный крик.

Она должна была погибнуть там. Вместе с отцом и своим древним городом. Но в который раз проснулась в чертоге Сармата, выложенном ослепительным лалом. Дребезжаще-красным, похожим на застывшее в минерале пламя. На Малику смотрели безглазые лица, вырезанные из алой породы. Сотни масок, поднимающихся к верхним сводам, — в лаловом чертоге были искажённые яростью гримасы, но ни одного каменного воина.

Прежде чем Малика зажала себе рот ладонью, из её груди вырвался всхлип.

Попав в Матерь-гору, она не позволяла себе плакать. Даже не разрешала вспоминать

пережитое. Княжна хотела разгневать и разбудить ойдаров, пройти лабиринты палат, найти прислужников Сармата — всё, что угодно, лишь бы не думать о Гурате и отце. Именно в таком порядке. Сначала Гурат-град, потом — отец, а отца Малика любила больше всех людей. Её гордый город неизмерим с человеческой жизнью. Девушка была готова умереть множество раз — одна смерть страшнее другой, — но сохранить его. А если придётся, и принести в жертву других.

Княжна поднялась с пола, подобрав юбки цвета киновари. Она с раздражением заметила, что её глаза были влажны от слёз, и тут же вытерла их ладонью. Перекинула за плечо полурасплетённую косу и выпрямила спину. Малика увидела, что под самым страшным лицом появилась дверца — обычно так Матерь-гора выводила её в палаты, где стояли еда, сундуки с одеждой и бочка с водой. Но иногда всё появлялось в чертоге, где Малика спала. И девушке по-прежнему не удавалось выяснить, кто это приносил.

Малика подошла к дверце, держась на расстоянии от стен — будто боялась обжечься. Она оказалась в комнате, после ослепительных лалов показавшейся ей серой и тусклой, но на деле вытесанный из голубоватого апатита. И здесь помимо звука собственных шагов Малика услышала плач.

На бледно-зелёных со стеклянным блеском полах сидела девушка — чертог был небольшой, и Малика сразу её разглядела. Перед ней лежал ковш и стоял распахнутый сундук, из которого тянулись дорогие платья, нити жемчугов и драгоценных камней. Сама же девушка — почти девочка, лет пятнадцати-шестнадцати — была одета в холстину. И на пол рядом с ней стекала её сказочно длинная светлая коса.

— Ты кто такая? — властно сказала Малика. Девушка испуганно вздрогнула и повернула к ней своё заплаканное и не слишком красивое лицо — громоздкий подбородок, растёкшиеся веснушки и опухшие серо-зелёные глаза.

Пока она пыталась связать слова, Малика разглядела, что холстина на её животе была перечерчена кровавой лентой. Сармат поцарапал, но, похоже, не слишком сильно. Крестьянские руки девушки уродовали следы от верёвок. Когда Малика только попала в Матерь-гору, на ней было много ожогов. Мелкие подпалины, кажущиеся смешными по сравнению с тем, что дракон сотворил с Гуратом. От них сейчас почти ничего не осталось.

— Кригга, — выдавила девушка. Вздрогнули её короткие бесцветные ресницы.

Стук каблучков Малики эхом разнёсся по чертогу. Раздался скрип — Матерь-гора захлопнула открытую дверь.

— Значит, Кригга, — протянула княжна, подходя к девушке. На дверь она не обратила внимания — привыкла. — И откуда ты?

На коленях Кригги лежали расшитый перламутром венец и частично вытащенные из сундука одежды, к которым она и не мечтала прикоснуться. Малика хмыкнула: из всего, что предлагали ей самой, она взяла только платье, киноварно-красное с желтым — цвет Гурата. И брошь-сокола — символ рода. Но она — не девочка в холстине и привыкла к богатству.

Кригга задержалась взглядом на броши. Потом посмотрела на лицо Малики — медовые волосы, чёрные брови, породистый нос.

— Из Вошты, — испуганно ответила она. И тут же добавила: — Это деревня недалеко от Гурат-гра...

— Знаю, — обрубил Малика, продолжая смотреть на девушку, сидящую у её ног. Кригга передёрнула плечами. — И как же ты здесь оказалась, Кригга? Тебя украл Сармат?

Когда княжна произнесла имя, Кригга сглотнула.

— Меня отдала моя деревня.

Малика недобро сощурила глаза и чуть наклонила голову вбок.

— Как это — отдала?

— В дань.

Княжна криво, нехорошо улыбнулась.

— Отдала, — повторила она, словно пробуя это слово на вкус. — Отдала в дань, — Малика медленно наклонилась к девушке, будто змея под музыку дудки. — Стоило отвернуться, и вы, черви, к нему на поклон пошли?

От презрения, сквозившего в её голосе, Кригга отшатнулась.

— Кто ты такая? — нахмурилась она наконец. — Назови себя.

Брошь в форме сокола, горбатый нос.

— Никакой гордости в этих людях. Никакой злобы, — Малика словно не расслышала и ещё сильнее сузила глаза. — Поэтому вы и умрёте как падаль. Или уже умерли? Скажи мне, Кригга из Вошты, Сармат оценил ваши дары?

— Я... я не знаю. — Последним, что видела Кригга, был дым над родной деревней. Не ведь Сармат унёс её в гору — значит ли это, что он принял дань? — Но не тебе нас упрекать, — голос девушки стал твёрже, а Малика усмехнулась. — Ты из Гурат-града?

— Да.

— И чья ты дочь? Купеческая? Дворянская?

— Княжеская.

Кригга шумно выдохнула. Её пальцы задрожали.

— Да вы мне, псы, ноги целовать должны, — мягко произнесла Малика, — а ты говоришь, что я не могу вас упрекать.

На опухших щеках Кригги выступили пятна.

— Вы обещали защищать нас, но не сумели спасти даже себя, — она сжала в руках расшитый венец. — У вас были каменные стены и дружина, но вы всё равно сгорели. Как ты можешь требовать что-то от маленькой деревни там, где пал Гурат?

На мгновение Кригге показалось, что Малика её ударит. Но вместо этого княжна выпрямилась — и гортанно расхохоталась.

— Дважды умирать не придётся, Кригга из Вошты. Можно погибнуть страшной смертью — но героем. А можно ползать на коленях в надежде вымолить ещё несколько лет. Каково это, пресмыкаться перед Сарматом? — она прикрыла глаза. — Зачем же вас защищать? Сегодня — дракон, завтра — тукерские ханы. Вы всё равно предадите и будете трястись за свои шкуры.

Тут не выдержала даже спокойная, пугливая Кригга.

— Нет для вас никакого «завтра», — шёпотом произнесла она. — Гурат-град сожжён. Его жители мертвы. Всё кончено.

Стоило ли оно того, Малика Горбовна?

В чертоге повисла леденящая, густая тишина. Кригга почувствовала, как покрывается гусиной кожей. Красивая молодая женщина смотрела на неё страшными чёрными глазами.

— Нет, — отчеканила она. — Не кончено. Сколько лет твоему дракону? Тысяча? Гурат-граду больше двух тысяч лет, и за это время он не преклонялся ни перед кем. Он несколько раз был сожжён. В нём пировали ханы. Над ним поднимались алые стяги князей. Мы убивали царей Пустоши, разбойников, степных людоедов — убьём и крылатую тварь. Когда мой брат вернётся из изгнания, он...

Горные недра содрогнулись. От чудовищного подземного толчка задрожали стены, и Малика не удержалась на ногах. Она упала на пол, а жемчуга посыпались с коленей Кригги.

— Замолчи! — закричала девушка и, отшвырнув венец, закрыла голову руками.

Апатитовые плиты продолжали трепетать. Волосы Малики окончательно расплелись и накрыли её лицо душной волной. Княжна случайно прокусила язык и почувствовала, как её рот наполнился кровью. Кригга же билась в истерике — она ждала, что гора обрушится на них.

Дрожь прекратилась так же резко, как и началась.

Кригга, уткнувшись в колени, разрыдалась. Под её кожей выступили позвонки.

— Никогда, — всхлипнула она, — никогда больше не смей так говорить!

Малика не привыкла, когда ей указывают. Откинув копну волос, она привстала на локтях и вытолкнула изо рта кровавый сгусток.

— Что ты несёшь? — сказала княжна и поморщилась, а Кригга отняла лицо от коленей.

— Это Мать-гора, — прошептала девушка. — Мать, понимаешь? Здесь нельзя так говорить о... о Сармате.

— О да, — Малика утирала окровавленные губы. Язык саднил. — Княгиня стала горой и заключила в себя своего любимого сына. Глупейшая сказка.

Но даже Малика не могла спорить с тем, что недра жили своей жизнью.

— Это не сказка, — прохрипела Кригга, закрывая глаза ладонями.

Над Мать-горой висела красная оборотничья луна.

===== Зов крови III =====

Первый рёв, вырвавшийся из его глотки, рассыпался ошмётками звука. Эхо разнесло их по чертогу, оставив таять в полумгле. Второй рёв накрыл дребезжащий воздух, будто волна, а третий нахлынул — и заполнил всё без остатка. Дрожали стены и пол, об которые билась медно-красная чешуя, и от ударов чешуйки смещались. Выворачивались с кровью.

Его крылья неестественно выгнулись, и кости прорвались наружу. Сошлись под неправильным углом — будто человек свёл лопатки. Обе лапы содрогнулись, а когти оставили на камне глубокие борозды. Стальные драконьи мышцы начали расплетаться, как ленты, и расползаться в появляющиеся прорехи. Зубы старались закусить собственную морду — от нечеловеческой, бездонной боли.

Он смахнул лампаду, горящую ниже всех остальных, и жёлтый огонёк растекся по его ломающемуся хребту. Пламя лампы было похоже на кляксу мёда, на каплю жидкого воска, и не обожгло его. Даже не сумело отвлечь. Золото расплылось по меди, вспыхнуло в наступающей темноте — и погасло. А драконьи кости продолжали выбиваться из суставов и рвать толстые слои чешуи и кожи.

Перевернувшись на спину, он взревел сильнее. Вымученно, чудовищно. Теперь он старался расцарапать не камень, а собственное брюхо, но не дотягивался ни задними лапами, ни распоротыми крыльями. И метался на полу исполинского чертога, оставляя под собой нити окровавленных, изломанных чешуек.

Хороша ли твоя доля, Сармат?

Луна над Мать-горой вращалась в самоцветное небо.

Если сложить все легенды, то в них нашлась бы крупинка правды. Дракон обращался человеком в полнолуния — на одну ночь. В равноденствия и солнцевороты — на несколько суток. Драконье тело не боялось ни огня, ни железа, а человек был слаб. Поэтому перед летним солнцеворотом, когда чешуя спадала на самый долгий срок, Сармат убивал всех

пленных, что жили в его чертогах почти год. Из-за страха. Боялся, что рабы и жёны придумали, как его извести. И поэтому всё это время Сармата охранял его брат.

Каменный воин сидел перед входом в палаты, где дракон, клокоча от боли, пытался соскрести наросты с головы. Царапался, стелился по полу. Ярхо-предатель знал, что дни и ночи, когда Сармат был человеком, тянулись долго. Длиннее, чем обычно. Это — колдовство Матерь-горы, её проклятие. Словно княгиня хотела налюбоваться сыном, пока тот человек, а не чудовище. Но для Ярхо не существовало времени. И боли — тоже.

Его руки — серая горная порода. У него окаменели даже волосы, заплетённые в косу до основания широкой шеи. Где-то внутри, за прочной, будто гора, кольчугой и слоями породы год за годом не шевелилось сердце. Ярхо участвовал в сотнях битв, но его тело ни разу не кровоточило. Оно не знало усталости. А сам он не ведал ни страха, ни пощады. Разве что глаза — глаза у него были похожи на человеческие, но с матовым блеском, будто у изваяний. Со зрачками, двигающимися чуть медленнее, чем у живых. Ярхо-предатель был силён и массивен, нетороплив, но способен отзываться на мельчайшие изменения вокруг него. Быть крепким щитом и смертоносным оружием.

Драконье горло Сармата, издав оглушительный рык, лопнуло, будто по шву. Прореха сползла ниже, перечертила брюхо и оборвалась у гребнистого хвоста.

Под пудами развороченной кожи лежал обнажённый человек — на животе, мелко дрожа. Превращений не выдерживала ткань, но не металл. Поэтому, когда человек поднялся, звякнули золотые зажимы на его семи огненно-рыжих косах. В его правой ноздре блеснуло золотое кольцо.

Человек шёл к Ярхо, и его колени подгибались. Сухопарое, до сих пор трепещущее тело лоснилось в блеклом свете лампад. Он неловко переставлял ступни и осторожно шевелил пальцами, словно вставший с постели больной. Человек повёл сначала одним плечом, потом другим, стараясь привыкнуть к телу. Согнул локти, вспоминая, как отвечает ему слабая человеческая оболочка. Как в жилке у сгиба бьётся кровь — ничего не стоит её выпустить. Затем человек глубоко вдохнул, ощущая себя от позвонков до ногтей, от живота до моргающих в полутьме глаз. Они видели хуже драконьих, и человек казался себе почти слепцом. Он взял положенную у входа в палаты одежду, вдел ноги в порты, а руки — в расшитую узором рубаху. Затянул кушак пальцами, покрытыми у костяшек старыми ожогами. Поднял голову и, сощурившись, посмотрел на не шелохнувшегося Ярхо, державшего на коленях меч.

У Ярхо — широкие лоб и подбородок, выдающиеся скулы. Лицо же человека было уже и выражало множество чувств. Этого камень не умел. Человек, до сих пор перекошенный от боли, криво, но одновременно весело и жутко улыбнулся, обнажив просвет на месте одного клыка. У него были подпаленные брови и ресницы, несколько пятнышек ожогов на шее. Хитрые глаза, в свете Матерь-горы похожие на тёмный агат с медовыми прожилками.

— Здравствуй, братец, — произнёс Сармат и, едва не завалившись от усталости, смахнул за спину одну из косиц. Улыбнулся ещё раз и, стиснув кулак, ударил в плечо Ярхо. Несильно, чтобы не повредить хрупкие человеческие пальцы.

Ярхо перевёл на него взгляд, но не ответил. И медленно поднялся. Он был ниже Сармата на полголовы, но куда мышечнее и шире. Пусть его мышцы — базальт и гранит.

— Как тебе Гурат-град? Великолепно, верно? — Сармат, наклонившись, обул сапоги из телячьей кожи, красные, с медными бляшками. И прошёл глубже в чертог, у которого его дожидался Ярхо. Он был меньше того, где остались лежать драконьи чешуя и кости, —

Сармат снова срастётся с ними, когда придёт время. — Кажется, он совсем не изменился с тех пор, как мы ездили туда с отцом. Нет, изменился, конечно, разросся... — Язык Сармата слегка заплетался. Глаза продолжали моргать на неожиданно ярком свету. — Были ханы, а стали князья... Но всё равно это наш старый добрый Гурат.

Самый кровавый город. Город, построенный на телах.

Малый чертог был вырезан из тёмно-сливового минерала. Своды, куда ниже, чем в большинстве палат, подпирали колонны в виде извивающихся змей со сложенными на спине крыльями. Часть чешуи на них переливалась серебром, часть — платиной. В глазницах чернели огранённые обсидианы. Змеи распахивали пасти и выпускали раздвоенные гагатые языки.

Змеи, крылатые или бескрылые, умели шипеть, но не владели человеческой речью. Сармат всегда был словоохотлив, и за дни, проведённые в драконьем теле, хотел наговориться всласть. Он хрустнул шеей и обвёл малый чертог неизменно прищуренным, не то пугающим, не то задорным взглядом. В чертоге стоял принесённый каменными слугами стол, а на нём — еда. В пище не нуждался Ярхо, но не Сармат. Мужчина поднял кувшин, в котором плескалось тёмное тягучее вино: в Матерь-горе оно хранилось в привезённых бочках и пахло дымом и дубом. Сармат захотел плеснуть его в золотой кубок, — он любил золото, как и красивые дорогие вещи, — но отвыкшая рука дрогнула, и вино разлилось по столу.

— Ты сжёг деревню? — нехотя спросил Ярхо. Голос — скрежещущий, словно неживой.

Сармат вскинул подбородок и, с любопытством расправляя маленькие для него пальцы, почесал щетину на горле — у Ярхо её и следа не было. Задумчиво переставил кубок, расположился на выкованном княжеском троне.

— Я похож на того, от кого можно откупиться серебром и зерном? — неровно улыбнувшись, спросил он. — Конечно, сжёг. — Драконий нюх Сармата улавливал запахи зерна и серебра так же, как и мяса. — Но ты ведь не об этом, неболтливый братец? Да, я не просил добить выживших. И не попрошу, потому что это пустая трата времени, и лучше направить твоих тяжеловесных людей на что-нибудь... более стоящее. Деревня в дюжину дворов — если кто там и выжил, то мелкая скотинка, забившаяся в амбар, — он лениво взмахнул рукой в ожогах. — И это даже смешно.

Сармат многое находил смешным. Мелкие деревни, одинокие фермы, хижины на склонах Княжьих гор — они для него ничего не стоили. И он не мог относиться к ним серьёзно. Сожжёт одну — вторая решит прибиться к своей столице или придумает, чем заплатить. Но иное дело — древний Гурат. Как и любой защищённый город, пославший дракону вызов. Тридцать лет назад их было много, сейчас — почти нет, но каждый раз это заслуживало и внимания, и сил. Сармат поднял со стола кривой тукерский кинжал, украшенный резьбой.

— Кажется, это от какого-то хана, — он смахнул с лезвия капли пролитого вина и осмотрел его вязким, неспешным взглядом. Сармат так смотрел на всё. На присланное оружие, украшения, свои палаты.

На женщин.

Ярхо-предатель знал, что в Матерь-горе эта ночь будет длинной. А в соседних деревнях, тех, что остались, её назовут ночью драконьей свадьбы.

За десятками топазовых, ясписовых и сапфировых залов от малого чертога драконья невеста случайно порвала ожерелье. Нить лопнула, и горсть жемчугов рассыпалась по

апатитовым плитам. От стука Кригга побледнела и втянула голову в шею, ожидая наказания, — его не последовало. Будь она в деревне, её бы за такое оттащали за косу. Но сейчас на неё не обрушилась ни Матерь-гора, ни дракон, чьё сокровище она испортила. Ни драконьи слуги — каменные марлы и сувары. Даже Малика Горбовна не повернула головы, хотя жемчужины подпрыгивали и катились, отзываясь под сводами пугающим эхом.

Казалось, княжна забыла о существовании Кригги. Она словно выплеснула то, что накопила в дни молчания, и погрузилась в свои мысли. Гурат-град был для Малики как нарыв. Тронешь — болит. Потревожишь — брызнет зловонной жижей, а потом затихнет, продолжая отдаваться внутри тупой ноющей болью. Кригге стало стыдно. Да она почти нагрубилась княжне. Кто Кригга такая, — растереть и забыть, — чтобы так разговаривать? Кто дал ей право рассуждать о будущем Гурата?

Она то и дело бросала на Малику взгляды — смесь смущения и любопытства. В их деревне жили весёлые и строптивые девушки, про которых бабка говорила, что придёт время и мужа их укротят. Сама Кригга хотела быть на них похожей, да ведь это неправильно. Не по ней. Но гуратская княжна — не деревенская гордячка. Осанка, взгляд, речь — Криггу это и восхищало, и пугало. На вид Малике было лет двадцать пять: в деревне — старая дева. Но, похоже, княжна могла позволить себе долго не выходить замуж.

Девушка зарделась. Любопытно, а кто к ней сватался? Какие красавцы князя, какие статные воины? Ведь обязательно сватались. Малика Горбовна — не шестнадцатилетняя девчонка из Вошты. К тому же Кригга знала, что её младшего брата изгнали из Гурата. Значит, Малика стала бы великой княгиней — и правила бы. Жестоко, как и её отец, совершая ошибки, но так, чтобы дворяне трепетали, а слава Гурата звенела во всех краях. Для Кригги это было невероятно: её учили, что место женщины — за плечом мужа, но никак не на кровавом гуратском престоле. Девушка смотрела на Малику Горбовну, на её гордо поднятый нос, на чёрные глаза в обрамлении густых ресниц. И боялась попасться ей под взгляд.

Кригга стеснялась мыться и переодеваться — она выбрала чудесное палевое платье. Его пышные рукава сужались к запястьям, а по центру, от ворота до подола, шли две широкие ленты вышитого узора. Птицы и переплетения ветвей. Кригга чувствовала себя неудобно, пока перебирала серьги и кольца в сундуках, опасаясь, что княжна её высмеет. Но Малике Горбовне было всё равно.

Волна медовых волос небрежно рассыпалась по её плечам. Кригга успела разглядеть, что у корней они были чуть темнее, насыщеннее. А местами длинные пряди выгорели от солнца Пустоши. Завораживающее зрелище. Кригга терзалась смутными чувствами, и одно из них относилось к княжне. Девушка хотела и убраться подальше, и прикоснуться к ней. Заплести её волосы в замысловатую косу. Может, даже надеть венец из закровов Сармата — нечто тяжёлое, с бронзой и цепями-ряснами. Тогда Малика стала бы вылитой княгиней с фресок на гуратских соборах. Соколиный профиль, точёные черты.

Кригга плотнула воздуха и убрала в сундук порванное ожерелье. Поддавшись порыву, закрыла его яхонтовыми браслетами и юбкой голубого платья. Девушке казалось, что ещё немного — и она лопнет, как жемчужная нить. От того, что заключена в толще горы и больше никогда не выйдет на поверхность. От того, что она видела дым над своей Воштой, и несмотря на то, что старательно гнала мысль о расправе, всхлипывала время от времени. В неопишуемой глубине Матерь-горы было просто страшно. И страшно было за мать и сестёр, за старую бабку, уже не поднимавшуюся с постели.

Так будь что будет, решила Кригга, стараясь выцарапать ужас из своего нутра. Злобный взгляд княжны — ничто по сравнению с этим.

— М-малика Горбовна, — запнувшись, позвала она. И княжна повернула голову в её сторону.

— Чего тебе? — Теперь в её голосе не было гнева. Только усталость и лёгкое раздражение.

Собрав волю в кулак, Кригга объяснила свою просьбу, а Малика ответила равнодушно:

— Заплетай. — Но Кригге показалось, княжна едва смягчилась.

Подобрав нежный палевый подол, Кригга встала на ноги. У неё были ступни, большие для её возраста и худосочного телосложения, но она сумела найти в сундуке славные черевички. Они стучали по плитам почти так же, как каблучки княжны. Кригга понимала, что волосы Малики Горбовны могут пахнуть только водой из недр Матерь-горы да дымом, но почти ощутила аромат миро, которым благословляли великих гуратских князей. Она знала, что князей помазывают миро, но не могла знать запаха.

Кригга заплетала волосы Малики, и это её и успокаивало, и разжигало новое любопытство. Княжна словно пришла из другого мира, мерцающего, как чрево Матерь-горы. Этот мир — многолетняя слава, древняя кровь и верные воины, которых воспоют в легендах. Это литые колокола на соборах, бьющие на княжеские рождение, свадьбу и смерть. Это величие, ладан и бархат, а не пряжа, коромысло и холстина. Не скот, который Кригге нужно кормить, и не сёстры, за которыми присматривать.

Криггу снова ужалила жуткая мысль о семье, и, не сдержавшись, она подала голос. Лишь бы не думать о горе. Лишь бы не бояться.

— Ты сказала, в нас нет злобы, — осторожно начала она, перетягивая косу алой лентой из сундука. — Но меня учили, что злоба не для женщин. Потому что их призвание — рождать и ласкать, а не ненавидеть.

Кригга отошла, а Малика медленно провела рукой по всей длине косы. Девушка боялась, что княжна ей не ответит, но та задумчиво провела прокушенным языком по зубам. Кригга не знала, что недавно она даже хотела разговорить старую вельху.

— Ненависть — это сила, — прошелестела Малика. — Она разрушительнее любви и страха. Ты когда-нибудь встречала людей, вынужденных ненавидеть? У них внутри огонь — и не хуже драконьего.

— Он убивает их.

— Он даёт им мощь. А уж потом убивает, — Малика пожала плечами. — Если бы люди ненавидели Сармата больше, чем боялись, он бы давно был мёртв.

Бабка рассказывала Кригге много историй. И иногда в них встречались такие женщины, как Малика. Они растили сыновей для мести. Доставаясь завоевателям, резали их на ложе. Жгли дома тех, кто сгубил их род.

— Но вы же не только боитесь его, — Малика склонила голову. — Вы, жители деревень в Пустоши, называете себя княжьими людьми — такими, что живут в Гурате, Черногороде или в Волчьей Волыни. Но вы слушали степные сказки о том, как велик Сарамат-змея. Ох как он могуч, как опасен. Вы прятали в своих подполах тукеров, когда те зарезали моего старшего брата. Мой отец не выжег вас только потому, что решил, будто это был честный бой. И как тукеры, вы боитесь Сармата — и восхищаетесь им. Это отвратительно раболепное чувство.

И в Горбовичах текла тукерская кровь — одна из их прародительниц была ханской

дочерью. Но жили они, как и все в Гурат-граде, по заветам Княжьих гор. Степь меняла их быт, но не костяк. И Кригга застыла: для их деревни Сармат действительно был внушающим ужас, жестоким, но божеством.

— А разве им не стоит... — Она поздно спохватилась.

— Восхищаться? — зло усмехнулась княжна. — Черви откупились тобой. Ты была им сестра и дочь, а они швырнули тебя Сармату. Вот они, ваши страх и обожание. Приятно?

Нет.

— Это спасло мою деревню.

— Уверена?

Нет.

— Но даже если спасло, не мерзко ли принимать подачку от такого, — Малика скривилась, — существа? Ты, кажется, любишь легенды. Кем был Сармат?

Кригга, устроившись у стены, подтянула к груди колени.

— Княжьим сыном. Тукеры говорят, что ханским. Но он обрёл великий дар.

— Он украл его. И пытался отнять власть у человека своего рода — а каждая власть от богов. Значит, он был мятежником и вором.

Кригга ждала, что Матерь-гора содрогнётся, но этого не случилось. И тогда задумчиво наморщила светлые брови.

— Но ведь и твои предки захватывали власть, — увидев, как изогнулись губы Малики, Кригга забеспокоилась. — Разве нет?

— Хан Багсар позвал моего праотца, жившего на юге Княжьих гор, править в Гурате. Он сам окропил его лоб миром и сам подал ему венец.

Гурат недаром считался кровавым городом. Хан Багсар прибегнул к помощи могущественного чужака потому, что опасался собственных братьев. Первый князь, который даже не был прямым предком Горбовичей, разбил тукерские орды. Уничтожил приближенных к престолу изменников и отстроил Гурат ввысь и вширь.

— Мой праотец убил хана Багсара, когда тот задумал от него избавиться, чтобы получить богатый город и усмирённую степь.

Степь недолго была спокойна. Тукеры не приняли новую власть, и кровь щедро оросила Пустошь. Поэтому в тукерском языке «ксыр афат», княжьи люди, ещё означало «захватчики». «Враги». И сейчас в глубине степи существовали особые ритуалы. На праздниках тукеры сворачивали головы соколам — символу нынешних правителей Гурат-града.

Если такая власть от богов, то очень злых, подумала Кригга. Злых и великих, потому что, что ни говори, предки Горбовичей сделали «город ослепительных ханов» жемчужиной Княжьих гор. Оплотом прославленных князей. Словно услышав её мысли, Малика спросила:

— А был ли Сармат достойным правителем?

Нет. Весёлым и жестоким — да. А достойным, какую легенду ни возьми, не был. Но Кригга решила, что не её ума дело отзываться о венценосных, и промолчала.

В Матерь-горе даже тишина казалась звенящей, дробящейся о самоцветы. Кригге постоянно слышались какие-то звуки — не то далёкий, едва различимый рык, не то шарканье ног и стук капель. Шорох, шепот, дыхание в минералах. Поэтому Кригга верила, что Матерь-гора — живое существо.

— Мне рассказывали, у Сармата множество чертогов с сокровищами, — проговорила Малика. Не столько для Кригги, сколько для себя. — Я давно плутаю в горе. Я видела

десятки залов, но с золотом и кристаллом — ни одного.

— Зачем тебе золото? — Княжна брала из сундуков только самое необходимое, и Кригга даже побоялась предложить ей венец с гуратских фресок. Малика подняла чёрные глаза.

— Где золото, там Сармат.

В Кригге шевельнулся ещё один страх, который она отчаянно старалась подавить. Платье, кольца, черевички — придёт время за это платить. Придёт время, и девушка встретит дракона, и тогда её не спасёт никакая молитва. Человек он или чудовище, божество или вор — не столь важно. Всё вызывает ужас до холодного озноба.

— Ты... ты не видела его? — Кригга тут же осеклась. Она могла бы и догадаться.

— Нет. — И в этом «нет» не было страха. Только показное, небрежное равнодушие и взлелеянная в груди ненависть.

Ярхо-предатель убил отца Малики на её глазах. Сармат сжёг её великий город. И если дракон действительно бывает человеком, так, как говорят деревенские сказки, несколько дней, ночь или час — пусть заклинает мать, чтобы этот год не стал для него роковым.

Матерь-гора словно расправила огромную каменную грудь и легонько вдохнула: с грубо обтёсанного потолка посыпалась крошка.

===== Хмелевый князь II =====

Жёлтый лист сорвался с дерева и, кружась, плавно опустился на воду. Лутый небрежно отбросил его пальцами и запустил ладони в бочонок. Вода была студёная, речная, и юноша так растирал кожу, что его уши и щёки покраснели. Судорожно выдохнув, он снова сложил руки чашечкой и плеснул на волосы. Капли потекли вниз — по шее и плечам в желтоватых крошках веснушек. Лутый, конечно, купался в реках вместе со всеми, но лицо мыл только когда оставался один: нужно было снимать повязку.

— А, ты здесь, парень, — Орkki Лис подошёл к нему — жухлая трава похрустывала под потёртыми сапогами — и хлопнул ладонью по обнажённой спине. — Поторопись. Тойву ворчит, что солнце поднялось, а мы ещё не двинулись с места.

Лутый выпрямился, и вода побежала вдоль позвоночника. Взял подвешенную у пояса широкую повязку, аккуратно расправил и закрыл почти всю левую половину лица. И только потом обернулся.

— Батенька, — улыбнулся он, тряхнув мокрой головой. — Ну не оставят же меня, правда?

Орkki Лис цокнул языком, выражая сомнение, и прошёл вперёд. Будто невзначай, оперся о край бочонка и приблизился к уху Лутого.

— Разговор есть.

Юноша склонил голову, показывая, что слушает. Его правый глаз блеснул, как начищенная золотая монета. Орkki отодвинулся и взглянул в другую сторону.

— Тойву делает вид, что с бабой и словом не обмолвился. Отмалчивается, словно и не уходил шептаться — при всех нас. Хорош, нечего сказать.

— Шептались о драконьей невесте, — в тон ответил Лутый и поднял сброшенное под дерево льняное полотенце. — Глаз не дам, но зуб — пожалуйста.

О ком женщина откажется говорить при дюжине мужчин? Либо о себе, либо о другой женщине. Но Совьон едва ли резко потянуло на откровения, да и Тойву сейчас заботила лишь драконья невеста. Больше, чем собственная жена и все черногородские красавицы.

— Совьон сообщила что-то важное.

— Ну спасибо, — хмыкнул Оркки, а Лутый, вытершись, перекинул полотенце через шею и улыбнулся ещё шире. — Не скалозубь. Из Тойву об их делах ни звука не вытащишь. Совьон и подавно ничего не расскажет... мне-то точно. — Лутый кивнул. — Покрутись рядом с ней.

— Хорошо, батенька, — Лутый покорно склонил голову, а Оркки Лис отвесил ему неощутимый подзатыльник.

— Что за манера разговаривать? — возмутился он, но глаза стали довольными — словно у сытого кота. Оркки был старше Лутого на семнадцать лет и не отказался бы от такого сына, как он. Резвого. Внимательного. Хитрого. Тем более, что своих детей у него не было.

— Прости, батенька, — вздохнул Лутый и собрался уходить, но Оркки преградил ему путь. — А разве Тойву не ворчит, что...

— Тойву подождёт, — голос мужчины понизился до шёпота. В дороге редко находилась возможность поговорить без лишних ушей, поэтому Совьон и ловила предводителя у походного костра, а Оркки Лутого — у бочонка с водой. — Драконья невеста...

Лутый — задорный, улыбчивый парень, но одна тема заставляла его хмуриться и играть желваками. Сбросив наваждение, он потёр выемку под носом.

— Она слепая, — продолжил Оркки. — Странная. И, на мой взгляд, не слишком красивая. Я хотел просить тебя... найти кого-нибудь другого. — Наш путь не лежит ни через одну деревню, но ты ведь изловчишься, Лутый?

— Не надо, — бесцветно ответил он и, словно говорил не с Оркки, посмотрел на синеющие впереди ели и кружащих над ними сорок. На палатку, скрывающую двух мужчин от посторонних глаз.

— Не надо? Ну, как знаешь.

Пастушью дочь это не спасёт, но вдобавок погубит какую-нибудь деревенскую девушку. И если за одну невесту их приданого хватит с лихвой, то за двух оно уже не будет выглядеть богатством, достойным величайшего из правителей. Хотя некоторые княжества, такие, как Волчье-Волынское, отправляли Сармату по несколько девиц, правда, редко. Раз в пять лет, семь. Но им хорошо — они сидят глубоко на севере.

— Уверен, что бельмяноглазая калека лучше весёлых дочерей кузнецов и сапожников? — мягко спросил Оркки Лис.

Отряду нужно всего лишь довести дань до Матерь-горы, а Лутому с драконьей невестой дорога дальше, в недра. Юноша, не раздумывая, потянулся к собственному горлу — через три месяца его пережмут широким рабским ошейником. Таким, как у Хавторы из Пустоши.

Сам вызвался. Не заставляли ни князь, ни дружинники. Кому как не хитрому, юркому, весёлому Лутому взять на себя эту роль? За свою жизнь он притворялся подмастерьем, лавочником, бродячим дудочником, сыном охотника и побочным отпрыском деревенского головы. Он лгал, извивался, смеялся, выкручивался, слонялся по Княжьим горам вместе с такими же оборванцами. А сейчас он выставит себя рабом, отправленным в дань Сармату-дракону. И будет делать то, что умеет лучше всего: наблюдать.

Оркки Лис верил в приметы и духов, но высмеивал мысль, что Сармат некогда был человеком. Тойву, второй и последний из отряда, кто знал о намерениях Лутого, предпочитал отмалчиваться. Скали захлёбывался ядовитой слюной, доказывая, что в Матерь-горе обитает оборотень. И некому было рассказать, как оно на самом деле. Лутый расскажет. Лутый выберется из Матерь-горы, но перед этим отыщет слабые места Сармата. И хоть бы,

боги, хоть бы всё получилось.

Лутый старался видеть мир глубже и ярче, чем другие. Он не считал Рацлаву-невесту писаной красавицей — да и понятие «красоты» было для Лутого необъятным. Но ему казалось, что она — сплетённое полотно. Бельма, полнота, не очень густые тёмно-русые косы до лопаток. Молочно-белая кожа, красневшая и лопающаяся на морозе. Перевязанные ладони, соболиные брови, прямой нос с широкими ноздрями. Плавные, ленивые движения и, конечно, свирель. Драконья невеста не красива и не уродлива: она такая, какой должна быть. И если дать ей зрение, тонкий стан или волосы до бёдер, её образ рассыплется, будто потревоженный хрусталь.

А ещё есть в её свирели то, что заставило Совьон перешёптываться с Тойву. И если — когда, это лишь вопрос времени, — Лутый выяснит, что именно, если драконья невеста сможет ему не то что помочь — хотя бы не мешать, — зачем ему красть пугливых, миловидных, обманчиво храбрых и глуповато заносчивых девушек?

— Хорошо, парень, — согласился Оркки. Он понимал, что от этого решения зависит жизнь Лутого, и не настаивал. — Делай как считаешь нужным.

Он поскрёб щёку в бороздках морщин — их у Оркки было не в пример больше, чем у Тойву, хотя предводитель был младше всего на год. Под одним из карих глаз пролегла складка, а пальцы начали привычно поглаживать остроконечную пшеничную бородку. Лутый хорош. Лутый ему как сын. Тяжело его отпускать.

Оркки Лис махнул рукой, развернулся и пошёл к своему коню. По жухлой траве закрипели потёртые сапоги.

Всё. Кончился лёгкий путь. За их спинами высился синий хвойный лес, а реки делали поворот к югу — оставалось лишь пересечь бурный Русалочий поток. Тёмная с голубым выверком вода, а на ней — лёд, распавшийся на тающие плёнки. Граница Черногородского княжества — дальше начинались чужие владения. Русалочья река была глубокая и быстрая, вброд не перейти. И даже не переплыть: говорили, на дне спят белокожие утопленницы, выбирающиеся на берег, чтобы погреться под луной. И увлечь пригожих деревенских парней на мягкое ложе из водорослей.

Сильные пальцы Совьон запутались в чёрной гриве Жениха. Исполинская грудь коня колыхалась, а из прогалин ноздрей вылетал горячий воздух. Верный, грозный вороной: он чувствовал этот сладковато-гнилостный запах, смешанный с тиной и шелестом камышей.

Прежде чем пересечь реку по деревянному мосту и покинуть княжество, суеверный Оркки Лис спешился и припал к идолу, поставленному почти у самой воды. Вырезанный из потемневшего дерева Римеке, божок-хранитель, ростом человеку по колено. Уходящие обмазывали сажей его искажённое личико и втыкали в землю ветки можжевельника и ежевики. «А девушке ты, значит, попрощаться не давал,» — подумала Совьон. Но весь отряд мало интересовала судьба драконьей невесты. Довезти бы — и довольно. А вот их будущее... Воины наблюдали за Оркки Лисом, опустившимся на колено и державшим головешку из костра. Он сделал всё как надо, оставил можжевельник и ежевику и, поднявшись, отряхнул руки.

— Едем.

Сказать им? Предупредить, что первый, кто окажется на том берегу, первым и умрёт?

Совьон знала, что ничего не скажет. Это её ноша. Порой ей открывались чужие судьбы, и она никогда не видела ни богатств, ни радости, ни любви. Только смерть. Первым на мост

въехал Тойву — как глава отряда, и за ним медленно потянулись остальные. Совьон прикрыла глаза, а ворон на её плече закаркал и захлопал крыльями. Оркки Лис, державшийся позади Тойву, резко обернулся и прищурился.

Совьон замыкала шествие и стояла ещё у самого синего ельника. Не потому, что хотела, — Тойву приказал. А, может, послушаться? Ударить Жениха в бархатные воронье бока и первой, в десяток могучих прыжков оказаться на том берегу? Нет. Совьон чувствовала, что у Русалочьей реки бродит не её смерть. А, значит, нельзя.

Неужели Тойву?

Скали, молодой человек, которого болезнь точила изнутри, тоже ехал по мосту, но не рвался вперёд. Он пропустил прихвостня Оркки Лиса и замер. Выглянул за разбухшие перила — на тёмную воду, лижущую берега. Мост был достаточно широк, чтобы Скали никому не помешал.

— Блажь, — бросил он. Не то всем, не то прихвостню Оркки. Совьон знала, что тот называет себя Лутым, но это — не имя. — Да кто поверит, что здесь водятся русалки? Бабий трёп, — и скривился от омерзения. Скали опасался оборотней, а про русалок говорил так потому, что они — женщины. Или когда-то ими были.

Конечно, трёп. Но если Совьон снова закроет глаза, то увидит тонкие девичьи ноги под мутной водой. Кольшущиеся водоросли, пятна тлена, оборванные исподние рубахи. Ил, вплетённый в косы, рыбы стайки под ключицами. Острые зубы, ошмётки губ.

У седого Крумра была смиренная светлая кобылка, но на мосту через Русалочью реку она неожиданно понесла. Старик, охнув, перехватил поводья всё ещё крепкой рукой — и не сумел её удержать. Кобылка, вдохнув запах тины, испуганно заржала, забилась и, оттолкнув остановившегося коня Скали, — изо рта мужчины полилась жуткая ругань, — поторопилась к земле. Она обогнала коней Тойву и Оркки Лиса и, перемахнув через последние доски, перенесла хозяина на противоположный берег.

— Стой, дура! — Крумр натянул удила. Серые пряди хлестнули его по сильной спине. — Стой!

Светлая кобылка заржала ещё раз — жалобно и тихо. И остановилась, принявшись тревожно перебирать ногами.

— Ох, братцы, ну и дела, — Крумр вытер лоб медвежьей ладонью. И облегченно засмеялся.

Когда переправляли повозку драконьей невесты, за Крумром стояла уже половина отряда. Мост строили под телеги, и поэтому Тойву не выпустил ни Рацлаву, ни рабыню. Скрипели колёса с запутавшимися в них веточками лесной герани, им вторил мост. Совьон видела, как полная рука Рацлавы отдернула занавеску и девушка выглянула наружу. Жадно втянула приречный воздух, подперла кулаком белый с ссадиной подбородок. Сегодня Хавтора одела Рацлаву в платье — красивое, но куда более простое, чем в первый день. И Совьон зацепилась за него взглядом.

У каждого человека есть мелочи, открывающие его, будто свиток. У Тойву — сделанный женой оберег, у Оркки Лиса — потёртые сапоги с давней историей, о которой Совьон могла только догадываться. У его прихвостня — повязка на глазу и стебель дикого хмеля, иногда заложенный за ухо. Без сомнений, у драконьей невесты это — свирель, но было и что-то кроме. Совьон насторожено всматривалась. Она ведь почти поняла, почти...

Рукава. Длинные рукава, ниспадающие если не до земли, то хотя бы ниже бёдер. Ходила как-то по деревьям сказка о юной колдунье: взмахнёт одним рукавом — выльется озеро.

Взмахнёт другим — прорастёт дерево, а внутри него — меч-кладенец. Совьон чуть откинулась назад. Ах, вот оно что. Женщина привыкла доверять своим чувствам и, разобравшись, удовлетворённо выдохнула.

Но Рацлава заставляла вспомнить и другие сказки.

Жил в одном княжестве юноша. И он не был ни красив, ни силен, но стоило ему забить в барабан, не то где-то найденный, не то доставшийся в наследство, как все люди рядом с ним теряли разум. И набрасывались друг на друга. Юноша хохотал и, играя на барабане, раздувал распри и войны.

Одному тукерскому хану подарили рабыню. Девушка была хромой, но когда танцевала, браслеты на её запястьях и лодыжках издавали чистый, ни с чем не сравнимый звон. Суровый хан тут же полюбил хромую танцовщицу и сделал её своей ханшей.

Но сначала была, конечно, великая женщина, горная колдунья. Время не пощадило её имя, зато своим прозвищем — Певунья камня — она назвала всех, кто появился после. Голос Певуньи камня мог повторить любой звук в мире — трель соловья, рокот волн или гром. Она пела прекрасно и неповторимо, так, словно снимала кожу. Лоскут за лоскутом обнажала душу и управляла человеческой волей. Подчиняла ветра и пламя, моря, и, если она пела, даже камень не мог остаться равнодушным — так и появилось прозвище.

Все певцы камня были отмечены бессмертным даром, и в историях про них часто упоминалась кровь. Соперница хромой танцовщицы украла её браслеты, желая сплясать в них и вернуть любовь господина. Но браслеты размололи её руки и ноги. Купец, наслышанный о волшебном барабане, заполучил его обманом, а, пытаясь сыграть, изрезал и переломал все пальцы.

Совьон знала, что дар всегда оставляет следы. Она чувствовала его, как ворон — вкус смерти. Спящая сила клокотала в жилах, пенила воздух. И Рацлава-невеста была совершенно бездарна. Она — это бесталанная соперница танцовщицы. Хитрый купец и десятки других не отмеченных богами. Тех, кто завидовал умельцам и восхищался ими.

Тойву спросил, кто Рацлава такая, и Совьон нашла ответ. Самозванная певунья камня, которая выменивала на музыку собственные боль и кровь. Кому бы ни принадлежала костяная свирель, она отвергала Рацлаву. Но девушка продолжала играть. Её ладони — словно перепаханное поле. Совьон видела, что Рацлава с трудом держала чарку и роняла ложку. Сколько у неё было вывернутых суставов и порванных жил? Сколько ещё будет? Не то чтобы Совьон переживала: ей лишь следует знать, на что способны искалеченные, но упрямые руки.

Последняя телега переехала через реку, и Совьон легонько стегнула Жениха. Конь ответил утробным горячим рокотом и взлетел на мост. Погарцевал на старых досках, пока Совьон оглядывалась напоследок — иссиня-темный лес окутал туман, а над верхушками елей кружили сороки. Совьон ехала чинно, но быстро, и, не удержавшись, тоже посмотрела на воду. Под мостом медленно проплывали водоросли и осколки тающих льдинок. А глубже лежало девичье лицо — и озорно усмехалось замыкавшей отряд воительнице. Косы русалки взбухли, мутные глаза не мигали, а из тронутого тленом рта выбегали пузырьки: она смеялась.

Совьон и бровью не повела, но мысленно скривилась, а ворон защёлкал у её уха. «Рехнулась, дура. Солнце ещё не село, так куда вылезла?» Женщина повернула голову, удостоверившись, что воины перед ней ехали достаточно далеко. А русалка прильнула к самой поверхности, и теперь вода с трудом закрывала кончик её курносого носа. Девушка

смотрела на Совьон с большим любопытством, чем та на неё — недаром русалка решила показаться.

«Идем к нам, — будто хотела сказать она. — Поиграй, поиграй с нами, грозная, суровая в...»

Если бы Совьон сделала резкий жест, русалка бы с хохотом скользнула обратно на дно. Дразнящие, пугливые, глупые твари. Но воительница посчитала, что может привлечь ненужное внимание. Она села прямо и похлопала Жениха по шее — конь подёргивал мордой, пытаясь отыскать источник сладковато-гнилостного запаха. Если дать ему волю, он бросится с моста и разорвёт нескольких русалок огромными челюстями. А потом оставшиеся его утопят.

— Ну же, — сухо проговорила Совьон, и Жених, издав новый рокот, подчинился. Он отвернулся от реки, чтобы отвезти хозяйку на противоположный берег, а русалка вдруг подняла лицо из воды — и закричала.

Она пыталась вывести воительницу из себя. Развеяться вместе с сёстрами, коротающими век на илистом дне. Совьон стиснула зубы, а крик разнёсся над рекой, заставив кровь загустеть в жилах, а ворона — взмыть с плеча в небо.

— Что это? — рявкнул Оркки Лис. — Что это было?

Его прихвостень сощурил единственный глаз и чуть наклонился вбок, перехватив поводья. Драконья невеста вцепилась в занавеску перевязанными пальцами, а воины беспокойно оглянулись. Их руки потянулись к оружию.

— Ветер, — сказала Совьон и заставила Жениха сойти на землю.

Скали натянул удила с такой силой, что его конь взвыл.

— Надо посмотреть.

— Нет, — проскрежетала воительница, хлестнув вороного и преграждая вход на мост. — Не надо.

Многих забирала Русалочья река. Коварством заставляла вернуться, чтобы больше уже не отпустить. У переправы повисло угрюмое молчание, которое нарушали лишь плеск воды да шелест камышей и хруст осоки. Даже Тойву не выдержал и потянулся к оберегу на шее. Стиснул его вспотевшей ладонью и хмуро посмотрел на Совьон. На грозного коня под ней, на взлетевшего ворона. На её синий полумесяц, будто налившийся приречной тенью.

— В путь, — обронил он. И, видя, что воины неохотно отходят от моста, гаркнул: — Шевелитесь!

На ночь они остановятся ниже по долине, врезающейся в скалистое предгорье. А утром не досчитаются седого Крумра — часовые расскажут, как он, едва не затеяв драку, взял смирную кобылку и поехал на юг от лагеря, к болотам, в которых терялась Русалочья река. Совьон знала, что Крумру почудилось, будто так кричала его дочь Халетта. Что ночью он будет словно пьян или болен, и русалки уволочут его тело туда, где вода быстрее. Зацелуют-обглодают глазницы, вплетут цветы в седые волосы, затянут косы вокруг шеи. Рыбы поселятся в его рёбрах, а водоросли опутают грудину.

Совьон срежет у себя тонкую прядь и подожжет её у рассветного костерка, пока никто не видит.

Первый.

===== Топор со стола I =====

Есть одна хорошая песня у соловушки —

Песня панихидная по моей головушке.

Сергей Есенин.

Волчья Волянь встретила их промозглыми ветрами и холодным светом путеводных огней. Волны пенились и били в борта корабля, длинного и узкого, с высокого поднятыми носом и кормой. Давно в Волчьей Воляни не видели такого — на парусе был вышит сокол. У берегов города, высившегося над Дымным морем, Хортим Горбович наконец-то приказал поднять его: корабль ещё подходил к Воляни, а со смотровых башен всё наверняка уже разглядели. И теперь в Волчьем доме ждали прибытия гуратского княжича-изгнанника. Того, кому запретили появляться под родовым знаменем, — Мстивой Войлич это, конечно, понимал.

Он понимал слишком много, волчье-волянский князь. Отец княжича Хортима ненавидел Мстивоя и не воевал открыто только потому, что Гурат-град находился слишком далеко. К северу от Волчьей Воляни лежали лишь маленькие поселения айхов-высокогорников — их жители спали в юртах, одевались в меха и прославляли своих шаманов-оборотней. А севернее айхов — одни остекленевшие от мороза пики, по легендам, скрывавшие за собой драконов. Таких, каким Сармат и в подмётки не годился. Через все Князьи горы от восточной Воляни креп Черногород — самое северное княжество запада. А его здесь, среди камней и моря, считали цветущим югом.

Гребцы на корабле Хортима Горбовича налегли на вёсла. Волны продолжили бить в борта с повешенными на них щитами — их повернули небоевой, впалой стороной.

«Я пришёл с миром, князь Мстивой, — подумал Хортим и выдохнул белёсую дымку. — Не откажи мне».

Юноша знал, что Волчья Волянь великая и древняя. Но когда рассмотрел вблизи, сжал пальцы, чтобы не издать ни звука — от восхищения. Он многое видел за годы изгнания, но такого — ни разу. Это время заставило его огрубеть и заматереть, но, похоже, в нём до сих пор остались слабые отголоски мальчишества. Хортим Горбович задушил их одним усилием. Всё же ни город, ни его князь не сулили ничего хорошего.

Волчью Волянь словно вытесал небесный ваятель — из горы выступали её огромные грузные башни. Она лежала, будто на круглом блюде: позади — хребет, впереди — Дымное море, никогда не замерзающее до конца. Волянским судоходам не было равных, и если летом, весной и ранней осенью к северным берегам приставали купеческие корабли, выменивающие пушнину, рыбу и жемчуг, зимой только волянцы, из города или с округи, могли совладать с потоками плавающих льдин. Хортим Горбович пришёл в сентябре, но воины на вёслах и проверенный кормчий едва справлялись. Княжич, как и обычно, грёб наравне со всеми, но когда корабль приблизился к исполинским воротам, встал на нос. И рядом — его воевода.

Раньше Фасольд был воеводой гуратского князя, отца Хортима. Колодезников сын, выросший далеко от Пустоши, — именно его гордый и крутой нравом князь долгое время считал своей правой рукой. Он изгнал Фасольда не за дела Хортима, а за собственную ошибку, но с тех пор воевода служил юному княжичу. Больше всего Фасольд напоминал Хортиму медведя — крупный, хмурый, с широкой грудью, поросшей седым волосом, хотя Фасольду было немногим больше пятидесяти. Волосы на голове, обрезанные ниже челюстей и тоже полностью седые, у него не то вились, не то лохматились. Кустистые брови сходились над неприветливыми серо-голубыми глазами. В когда-то разорванном и криво сросшемся ухе висела маленькая серебряная серьга.

— Мстивой Войлич — мерзкий человек, — угрюмо проговорил Фасольд и стиснул обух

верного топора. — Не говори потом, что я не предупредил тебя... княжич.

Ему будет тяжело назвать юнца князем, а ведь теперь Гурат-град сожжен, и Кивр Горбович, его правитель, мёртв. Фасольд посмотрел на повёрнутую к нему часть лица Хортима. Породистый горбатый нос, черный глаз под чёрной же бровью, густые, почти девичьи ресницы. И снова густые и чёрные волосы, размётанные по плечам и перехваченные у лба тесьмой. Но Хортим не был красив. За время изгнания он осунулся, а ветра словно выдубили его черты. Выемки щёк, ранние морщинки в складках век, в уголках губ. И, когда он повернулся к воеводе, Фасольд снова увидел взбухший малиновый ожог под его правой скулой, стекающий сначала на подбородок и шею, потом — на руку и, Фасольд знал это, на бок под одеждой.

Единственная встреча Сармата с княжичем, случившаяся пару лет назад, закончилась плохо.

— Хватит об этом, — сказал Хортим тихо, но решительно. Корабль шёл в исполинские, уходящие под воду ворота, и люди на боковых пристанях встречали его взглядами. — Держи себя в руках.

Воевода не терпел, когда ему указывал мальчишка. Фасольд — муж и воин, он грабил тукерские шатры, резал, жёг и насиловал, когда Хортима и на свете не было. Но тот, пусть и разменял только девятнадцатую осень и, как и все, сидел на вёслах, не позволял забывать, кто здесь власть. Фасольд помог Хортиму добыть корабль и привёл своих людей, тех немногих, что ушли за воеводой. Не потому, что Фасольда любили — раньше его душегубам жилось привольно, а теперь Кивр Горбович спустил бы с них по три шкуры. (Фасольд ослабил. «И тебя взяла могила, гордый гуратский князь. Бывший соратник. Злейший враг»). Но сердцем отряда оставалась Соколя дюжина Хортима. Отчаянные парни, горячие головы, самому старшему из которых не было и двадцати пяти. Они слушались княжича беспрекословно, хотя тот не слыл сильным воином и редко позволял пускаться в набеги. Соколя дюжина — половина от того, что привёл Фасольд, но Хортим ценил её вчетверо больше.

Корабль причалил к Волынской пристани. В морозном воздухе заливались колокола и застывали крики людей и чаек, шумел порт: десятки рабочих разгружали трюмы. Они сновали по мостам из тёмного северного дерева, несли мешки с зерном, бочки с рыбой и пивом, рулоны тканей. Дальше от побережья начинался рынок — длинные торговые ряды, обрывающиеся у вторых ворот, поменьше, но с двумя железными волчьими головами.

— Неплохо у них тут, — заметил Арха, становясь по праву руку от Хортима. Услышав его, Фасольд нахмурился. Арха — один из Соколей дюжины, ближайший друг княжича. Его бешеный и игривый, но покорный пёс. Гуратское солнце не щадило Арху: из его кожи и прозрачных, как стеклянные струны, волос, заплетенных в косу, кажется, вытекла вся краска. Серые глаза имели красноватый оттенок, в них лопались сосуды, а на кусочке шеи и пальцах бугрились зажившие ожоги — Арха вытаскивал господина из-под сарматова огня. — Если ничего и не добьёмся, то хотя бы поедим.

Его люди смертельно устали, с горечью подумал Хортим. Арха пытался развеселить его, но невольно натолкнул на мысль, насколько они измотаны и голодны. Случись что, Мстивой Войлич раздавит их одним мизинцем.

Корабль уже встречали. Не успел Хортим по подогнанной дощечке спуститься на землю, как к нему приблизился человек — глава небольшого, но вооружённого отряда. У человека были кудрявые, светлые в рыжину волосы, шапка, подбитая соболиным мехом, и

богатый кафтан, но главное — меч в ножнах.

Хортим откашлялся.

— Мир Волчьей Волыни. Я — гуратский княжич Хортим Горбович. — (Как будто они не знали!) — А это — мои люди. Мы пришли к вашему господину.

Человек, крепкий и молодой, лет тридцати, почесал рыжеватую бороду. Обманчиво расслабленный жест — его светлые глаза не мигали.

— Мир и тебе, княжич, — сказал он. — Меня зовут Тужир, и я кметь князя Мстивоя. Позволь провести тебя к нему.

В Княжьих горах было довольно княжеств и их столиц, но три из них — кряжистый Черногород, ослепительный Гурат и холодная Волынь — разительно отличались друг от друга. Запад, юг и северо-восток. Быт, некоторые обычаи, имена — в Черногороде они зачастую были хлёсткие, похожие на бесснежную зиму, в Гурате — певучие и звонкие. В Волыни — более мягкие, восточные.

За вторыми воротами, с волчьими головами, открывался вид на крепость Мстивоя Войлича. Она была такая же круглая, как и весь город. Окольцованная каменными стенами, за которыми стояли дома, напоминающие перевернутые корабли — в них жили воины, ходившие со Мстивоем в походы. А по центру, будто выложенный горой, высился сам Волчий дом. В нём по случаю прибытия гостей собрали пир. Этот обычай чтили везде, будь то Черногород или Гурат-град: никто не говорил о делах сразу. Сделать это — оскорбить хозяина и покрыть себя позором. Сейчас Хортиму меньше всего хотелось веселиться, но порядки не обсуждали.

Мстивой Войлич умел быть щедрым. Его слуги накрыли длинные столы, ломящиеся от еды и напитков. Его музыканты начали играть, а его соратники приветствовали гостей. Когда Хортим с людьми зашёл, князь Мстивой поднялся с места и радушно развёл руки. На указательном пальце холодно блеснул перстень в виде волчьего черепа. Хортим видел Мстивоя впервые, но догадывался, чего стоит ожидать. Отец ненавидел его — а он мог ненавидеть только по меньшей мере равного себе.

— Хортим Горбович со своей бравой дружиной, — промурлыкал Мстивой, а Фасольд скрипнул зубами. — Не откажешься быть моими гостем?

Как он мог отказать?

Мстивой Войлич был высок и, пожалуй, красив — вождь, переживший множество схваток и готовый вынести ещё больше. Грива медовых волос стелилась по плечам — когда он вёл головой, из-под прядей показывались единичные тоненькие косички, пережатые серебряными кольцами. Синие глаза, мягкая, отливающая медовым золотом борода. Княжича-изгнанника Мстивой посадил за свой стол, и там же сидела его молодая княгиня — четвертая жена, и никто не знал, что действительно случилось с предыдущими. У княгини была толстая коса цвета льна, убранная под венец с белым платком, кожа как лебяжий пух и тонкие шея и руки. Настоящая волынская красавица, светлая и нежная. В Гурат-граде ценили других женщин — таких, как старшая сестра Хортима, чернобровая и вспыльчивая Малика.

Боги от такой сохрани, подумал Хортим и осушил кубок.

Мстивой собрал добрый пир. Рабы подносили мясо и хлеб, а дочери воинов наливали пиво. Тужир, княжеский кметь с пугающим взглядом, плясал, перекидывая остро наточенные ножи так искусно, что сравниться с ним мог разве что Арха, да и тот оступись и распорол себе ладонь. Под музыку танцевала гибкая юная невольница — её привезли в Волынь издалека. Кожа у неё была золотисто-смуглая, а брови — чёрные, будто угольные. И

несмотря на то, что она травами выкрасила себе волосы в светлый, грязно-песочный цвет, никто на севере не считал её красивой. И всё равно любовались тем, как она, стройная и узкая, кружилась в перезвоне струн.

Фасольд уже был довольно пьян, и глаза у него стали дикие, ошалелые. Он жадно следил за танцем невольницы, сжимая кулаки так, что белели костяшки пальцев. Когда кмети Мстивоя заметили это и решили необидно пошутить, — увлекла девка, воевода? — Фасольд метнул из-под бровей дрожащий злобой взгляд.

Пир был хорош, но позже его редко кто вспоминал: не случилось ничего удивительного. Князь Мстивой готовился и на следующий день — Хортим знал, что гости могли жить месяцами прежде, чем заговаривали о деле. Но не выдержал. До нового застолья он и его люди, успевшие отоспаться после ночи, пришли в зал, где Мстивой Войлич и пировал, и принимал послов. Князь сидел на огромном каменном троне, не отделанным ни самоцветами, ни дорогим металлом — от ручек до спинки вилась лишь глубокая древняя резьба. Ладьи, волны и змеи, а за ними — очертания гор. Со Мстивоем была только его личная малая дружина, и Хортим понял, что их ждали. Большим пальцем Мстивой подглаживал перстень-череп, и на его губах блуждала легкая полуулыбка.

Хортим снова невольно сравнил Мстивоя с отцом, и внутри что-то отозвалось непонятной болью. Кивр Горбович был примерно его возраста, тоже высок и статен, но носил короткие волосы, чёрные, как безлунная степная ночь, и обруч на челе. Длинные одежды, достойные гуратского вельможи, расшитые золотом вдоль ряда пуговиц. И его отец редко улыбался. А так обманчиво мягко — никогда.

— Прости меня, князь, — Хортим склонил голову. — Твой дом радушен. Твои люди учтивы, а еда сытна. Но у меня есть дело, которое больше не может ждать.

Мстивой, не меняя лица, повёл пальцами, будто приглашая продолжить.

— Говори.

Узкие ноздри Хортима расширились, а горло обожгло:

— Знаешь ли ты, что случилось с Гурат-градом?

Он, конечно, знал. Войличи держали под собой далёкий север, но новости слетались к ним, словно птицы, на купеческих и боевых кораблях. Кровавый, южный, великий Гурат-град, с которым могла сравниться только Волчья Волянь, сожжён. Слова дались тяжело, а люди Хортима напряглись так, будто услышанное разбередило старую рану. Может, они и изгнанники, но почти у каждого в Гурате была семья. Раньше, до дракона.

Мстивой Войлич погладил подбородок.

— Я знаю, что у Гурат-града новый князь.

Говорят, Кивр Горбович не то сгорел заживо, не то был убит сильнейшим из прислужников Сармата, якобы предводителем каменных воинов. Отец изгнал и опозорил Хортима, но юноша желал, чтобы правдой оказалось последнее. Князь всегда оставался безжалостно нескгибаем и презирал младшего сына, скроенного не по его воле, но должен был погибнуть в бою. И — Хортим продолжал так думать — его мог убить лишь бессмертный воин, не меньше. Хортиму захотелось выругаться: будь она проклята, сыновья гордость.

— Что за князь без города? — Он и сказал — «города». Гуратскому княжеству принадлежали десяток деревень и обширная степь, в которой до сих пор случались битвы с тукерами. Но Горбовичи испокон веков чтили свою столицу больше, чем что-нибудь другое.

— Я думаю, ты справишься, — всё так же бесцветно улыбнулся Мстивой. — Гурат

сожгли не впервые, и ты возведешь его снова. Ты замиришься со знатными родами, которые твой гневливый отец выслал глубже в степь, к ханам. Убитых не вернёшь, но ты соберёшь под соколом разбросанные по Пустоши деревни князьих людей. Сейчас они охотно пойдут за тобой.

Слова, слова... Хортим представлял, как много нужно для таких свершений. И для начала — небо без зарева пожара. Когда юноша говорил важные для него вещи, его голос становился тих. Не в пример отцовскому.

— Я ценю твою мудрость, князь, но я и моя дружина пришли не за советами, — он прошагал вдоль длинных столов. Быстро остановился, но подался вперёд и сжал в кулак обезображенную ожогами руку. — Идем со мной бить Сармата, князь.

В зале повисла тишина, и даже малая дружина Мстивоя застыла. Уголок рта Архи криво пополз вверх, а Фасольд привычно стиснул обух топора. Оставшийся отряд Хортима — бравые вояки Фасольда и отчаянная Соколя дюжина, — кажется, перестали дышать от напряжения. А синие глаза Мстивоя смотрели из-под медовых ресниц, не меняясь, и них по-прежнему плескались словно бы отеческая насмешка, хозяйское радушие и волынский холод.

— У меня немного людей, — согласился Хортим, едва не сбиваясь на шёпот и не отводя от князя пристального взгляда, — но они прошли со мной огонь и воду. Каждый из них стоит троих. Я говорю с тобой, Мстивой Войлич, потому что из южных княжеств никто не решился встать с нами плечом к плечу. Но тебе, говорят, неведом страх. Говорят, твоя дружина сражается, как стая свирепых волков. — («Не спорим,» — хохотнул Тужир).

— Ты знаешь, что Князьи горы не будут спокойны, пока жив дракон. Сармат-змея просит дань и убивает...

— Посмотри вокруг, княжич, — зубы Мстивоя сверкнули перламутром. — Холодноват для него мой город. — Малая дружина посмеивалась: суровые морозы Волчьей Воьны были причиной для гордости. Редкий чужак мог пережить её обильные пуховые снегопады, страшные метели и зимние ветра. — Твой Сармат-змея здесь даже не летает.

Хортим побледнел.

— Пусть так. Но земли к югу от тебя изнывают, потому что Сармат взбалмошен и жаден. Немногие могут позволить себе редко откупаться от него. Лесьярские Луки, Черногород, Колывань — те платят раз в два-три года, но остальные? К югу от тебя нет покоя, князь. Люди голодают и гибнут, а если и живут, то боятся следующего дня — вдруг дракон пожалует снова?

Мстивой удовлетворённо хмыкнул и поиграл волчьим черепком на пальце.

— Мне рассказывали, что Сармат хоть и жаден, но стережёт земли, которые обирает. Что станы тукерских ханов, подаривших ему сундуки и девиц, — почти цари Пустоши, потому что извне к ним не приближается ни один враг. А если и приближается, то тут же сгорает. Ещё мне говорили про Колывань — Сармат испепелил целый разбойничий народ, живший на её болотах. Да и оголодавшее Гренское княжество уже не так скалится на Черногород.

— Приятно ли ждать, что покровитель превратится во врага? — спросил Хортим, сведя чёрные брови. — Я говорю тебе, князь: южнее Воьны нет покоя. Как справляться с внешним врагом, если сам напуган и обескровлен? Как, если завтра твоих дочерей поведут на заклание, матерей задушат в дыму, а братьев превратят в пепел? Если прислужники дракона разрушат твой дом и вырежут всех до единого? Скажи мне, князь, как можно так

вести народ?

Голос Хортима надломился, но он продолжал чуть ли не хрипеть, что народ-то они один, где бы ни жили и кому бы ни поклонялись. А потом он сказал то, что его отец бы не сказал никогда, предпочтя откусить себе язык.

— Ты силён и храбр, Мстивой Войлич, и я прошу твоей помощи. Потому что не справлюсь без тебя.

Фасольд знал, зачем Хортим пошёл в Волчью Волюнь, но сейчас его хмурое лицо искажилось в судороге. А сам Мстивой откинулся назад, постукивая пальцами по украшенному резьбой камню.

— Что ты ещё скажешь мне, княжич?

Хортим сглотнул.

— Моя сестра, Малика... Люди толкуют, Сармат украл её.

Он никогда не понимал свою старшую сестру. Да и отца тоже, а Малика его боготворила. Сидела у его колен подле древнего престола и ловила каждое слово. Хортим верил, что сестре досталась вся отцовская жестокость, все его надменность и гордыня, а сыновьям перепали лишь жалкие крохи. Кифа, старший, был добросердечен настолько, насколько вообще возможно Горбовичу. Он ещё мальчишкой скакал на коне быстрее, чем взрослые юноши, и в его руках пели и меч, и копьё — Кифа обещал быть хорошим правителем. Не сбылось. Тукерский сын вызвал его на поединок и убил, хотя Хортим был слишком мал, чтобы всё помнить. Позже говорили, что тогда развернулся не бой, а резня, и Кифу подло закололи. Кто знает, что было на самом деле? Никого не осталось. Ни отца, ни брата, ни кормилиц и ни кметей. Одна Малика, да и та, может, уже мертва. Но не бросать же её. В них течёт одна кровь, тягучая и злая. «А отец бросил тебя, — зазвенело в голове. — Выставил, как пса, надеясь, что подохнешь до зимы».

Но Хортим никогда не был как его отец.

— А, Малика Горбовна, — усмехнулся Мстивой. — Наслышан. Даже хотел прислать сватов от старшего сына, да кто только к ней не сватался. От сыновей ханов до... как там? Кузнецов? Сапожников? Я запомнил.

Краем глаза Хортим заметил, как побагровел человек по его левую руку. Отец всегда говорил, что главное оружие Мстивой Войлича — не меч и не топор. Язык. Он умел хлестать, как плеть, до мяса и кости. Раны, оставленные его словом, дурно заживали. Князь Мстивой неспешно поднялся с места, собравшись отвечать, и Хортим понял, что пропал. «Даже не советовался ни с кем», — заметил он.

— Ты прошёл долгий путь, чтобы просить моей помощи. Другие отказали тебе, те, кто, кажется, бедствует и умирает. Значит, есть причина, почему их страх не даёт плодов, — Мстивой говорил нерасторопно, но звонко и мерно, будто мурлыча. Хортим догадывался, что такой голос мог мгновенно взлететь до могучего боевого клича, слышного между кораблями. — Так ли всё плачевно, княжич?

Не тебе за каменными стенами рассуждать о чужом горе. Хортим сжал потрескавшиеся губы, а Мстивой, словно услышав его мысли, приподнял брови.

— Почему я должен печься о ком-то больше, чем они сами?

Потому, что эта беда общая, князь, пусть оно и кажется по-другому. Потому, что ты можешь, и если у кого и хватит сил одолеть Сармата, так это у тебя. Но Мстивой Войлич имел своё мнение на этот счёт: он не собирался губить верных людей и разорять ни за что собственные земли. Позже Хортим думал, что правда в их разговоре была о двух концах. Он

призывал к достойному свершению, может, сбивчиво, но зная, что это необходимо. А Мстивой, как и пристало правителю, охранял тех, кто доверил ему свои жизни. И едва ли собирался умирать — и видеть, как умирают его близкие, — за чужие княжества.

Мстивой склонил голову вбок, и одна из медовых косичек свесилась у виска.

— Тем не менее, я буду рад, если ты и твои люди останетесь моими гостями.

Он не отступит от своего, как раньше не отступал отец, почувствовал Хортим. Мстивой кажется мягче и приветливей, но это ложь, и убедить его даже сложнее, чем погибшего гуратского князя. Хортим приложил усилие, чтобы скрыть досаду. Никто не умел предугадывать действия Мстивоя Войлича, и тот мог в равной степени и помочь Хортиму, и зарезать его на пиру. Чтобы лишить Гурат-град последней надежды и пресечь не ладящий с Волянью род.

Не убил, но и не помог. Предпочёл держаться в стороне — или сделать вид, что ни во что не вмешивается. Говорили, в этом Мстивой был мастер.

Хортим не успел ответить — вежливо и достойно. Из горла Фасольда вырвался нечеловеческий, звериный рык. Прежде, чем всполошилась Соколя дюжина и двинулись княжеские кмети, воевода выхватил топор и со страшным треском вогнал его в ближайший стол. Под лезвием разошлась древесина, и в дубовой столешнице появился раскол, короткий и зияющий.

— Вот тебе, а не гости и пиры, волчий выродок. — С лица Фасольда ещё не сошла багровая пелена. — Ты всего лишь трус, Мстивой Войлич, который трясется за свою шкуру.

Когда Хортим приказал ему держать себя в руках, то опасался именно этого.

Время потекло медленно, словно студень. Вот Тужир выступил из-за каменного трона, вот Арха хватанул Фасольда за ворот рубахи, а сам Хортим вцепился в плечо воеводы, будто мог удержать вылетевшие слова. Он потянулся к его уху, но угроза не сорвалась с губ. Подвело охрипшее горло. Мстивой Войлич тоже поворачивался медленно — и заводил руки за поясницу так, как если бы плыл в густой воде. Блеснул и исчез из виду волчий череп на пальце. Под бровями пылали оледеневшие сапфиры. Раньше Хортим уже видел подобный взгляд, правда, глаза были бледно-зелёные. Если его отец смотрел так, то летели головы, а спины лопались до хребта.

Князь развернулся полубоком. Он наблюдал, как на слабом ветерке из оконной щели трепыхался волчий стяг, развёрнутый по стене.

— Недобрую службу сослужил ты мне, Хортим Горбович, — ласково-насмешливо сказал Мстивой, переводя взгляд на него. Фасольда, сбросившего с себя Арху, как котёнка, словно не заметил. — Я думал, ты привёл ко мне своего воеводу. А ты запустил в мой дом облезлого пса, которому разве что со свиньями за забором жрать, — голос стал еще ласковее, — и пускать слюни на молодых соколиц.

Хортим вцепился сильнее в застывшее плечо Фасольда и наконец-то прошипел ему в ухо:

— Прочь. Только дёрнись — убью.

Он не знал, забоялся ли Фасольд — и если забоялся, то кого. Тужира ли, выхватившего оружие из ножен, или Соколю дюжину, дышавшую в затылок. Самого ли Хортима с горящими чёрными глазами или Мстивоя Войлича, только Фасольд мертвенно посерел, а его лицо стало ещё злее.

Когда нападёт Тужир, а за ним и другие, отвечать придётся Хортиму, — это он привёл в Волчий дом человека, оскорбившего князя. Это его человек, каков бы ни был. Но Мстивой

лениво махнул ладонью:

— Оставь. Этот уйдет сам.

Тужир повиновался, а Хортим с трудом отнял пальцы, сжавшиеся на плече Фасольда, как соколиные когти. Воевода шумно дышал и оглядывал зал ненавидящим взглядом — так, будто хотел раздробить каждую голову. Шелестел волчий стяг на стене. Мстивой по-прежнему не смотрел на обидчика.

Он мог швырнуть Фасольду его вырванный язык и бросить тело дворовой своре. Мог спросить с Хортима виру за оскорбление — а Мстивой, как и Кивр Горбович, спрашивал только кровью. Но знал, что есть вещи страшнее казни. Поэтому дал понять посеревавшему, злому Фасольду: ты мне не ровня, колодезников сын. И твои слова — собачий лай и бормотание слабоумного. За такого, как ты, и спрашивать нечего. А теперь смотри — случившееся просочится сквозь каменные стены: приходил изгнанный воевода да поднял себя на смех. И молва обкатает тебя, как волны — камень, и затронет ту рану, которую Мстивой чувствовал, словно шакал, сквозь толщу кожи.

Это тот безродный пёс сватался за гуратскую княжну Малику Горбовну? Это ему князь Кивр велел убираться прочь, пока, помня старые заслуги, не высек до костей?

Хортим, не мигая, следил за Фасольдом, хрустнувшим шеей. Только хоть слово скажи, только попробуй — но воевода сплюнул под ноги и ушёл, подхватив топор со стола.

===== Песня перевала IV =====

Дни слились для Рацлавы в одну бесконечную ленту времени. Мёрзлая земля уступала скалистому предгорью, и ехать стало труднее: телега невесты тяжело переваливалась на камнях. От постоянной тряски у девушки болела голова и ломило затекающее тело, но она ничего не говорила. Всадникам приходилось хуже. В последние дни шли непрерывные ливни, и дождевые капли обрушивались на крышу повозки, — Рацлава думала, что ещё немного, и дерево не выдержит. Разойдётся по щепам. Хавтора ругалась, плотно задёргивала окно, чтобы не просачивалась вода, и, кутаясь в шафранно-жёлтое покрывало, слушала, как Рацлава ткала музыку.

Несмотря на утро, было темно: солнце заволокли лохматые свинцовые тучи. Моросил холодный дождь, грозящий вырасти в очередной ливень. Караван ехал на восток по предгорью, копыта коней месили хлюпающую грязь, и прошлым вечером одна пегая кобылка, поскользнувшись на мокром камне, сломала ногу. Клубился слепящий туман, и сквозь него тянулось постанывание свирели.

Чёрный жеребец споткнулся, и Скали едва удержался в седле. Выругался и раздражённо вытер глаза рукавом.

— Клянусь, если драконья суложь не заткнётся, я переломаю ей руки, — процедил он. Лутый промолчал: его повязка набрякла, и вода обильно струилась по лицу и шее, заполняя рот.

В повозке Рацлава мало что ощущала и ткала из того, что было, — из неверного тепла шерстяных одеял, внешнего холода и пара дыхания. К нитям Хавторы она не прикасалась. Незачем заставлять старуху проникнуться музыкой больше, чем обычно, и убеждать, что эти песни — для неё. Сейчас девушка играла для себя.

Но как же она хотела плести из людей. Тогда Рацлава бы не просто разбрасывала невесомые полотна историй — с людьми они стали бы куда звучнее, шире и прекраснее. Если бы она вытянула нити, из которых состояла Хавтора, то впряла бы степные травы, полуденное солнце и жар костров в южные сказки про ханов и рабынь с глазами-алмазами.

Она бы знала, как размять в волокно силу и верность. Но пока ей подчинялись одни мыши да небольшие птицы, и постанывание свирели несло с собой песни о севере из поволоки, звуков дождя и ускользящего тепла одеял.

Август едва пошёл на излом, но вокруг уже пахло осенью. На Мглистый полог выпал первый тонкий снег, и инистая почва поблескивала сквозь него оледеневшими листьями. Вдали поднимались фьорды.

Люди слышали в историях Рацлавы цвета, которые она никогда не различала. Ей открывались лишь жидковатые дымки, улавливаемые глазами грызунов и диких уток. Кровь ягод, лопавшихся под её ногами у Божьего терема. Небесный хрусталь ручья.

На возвышении стоял дом, приземистый и уютный, — пастух Вельш жил не богато, но и не бедно. И довольно уединённо: до ближайшей деревни — путь вниз по склонам Мглистого полога. Прочь от пастбищ, где ходили отары овец. Хозяин, крепкий и невысокий ростом, стоял на крыльце: кафтан был расстёгнут, ветер трепал рубаху, а правая рука упиралась в бок. Пальцы щупали синий кушак. Из-под тёмно-русых бровей светлели глаза и оглаживали взглядом деревянные балки дома. Холмы и молочные облака. Переливающиеся змеи заливов. Всё, только не телегу перед крыльцом. В ней лежали мягкие тюки с овечьей шерстью и небрежно сброшенные одеяла, а поводья держал второй сын Вельша, двадцатилетний Ойле. Плотный, статный, с шапкой кудрявых тёмно-рыжих волос. Рукава его рубахи закатились, обнажив насыщенно-оранжевые, крупные бляшки веснушек на внешней стороне предплечий.

Четырнадцатилетний Эйсо закинул в телегу последний мешок и, выпрямившись, угрюмо потёр нос тыльной стороной запястья. Тёмно-русый, ещё по-мальчишески щуплый Эйсо, с густыми, но не совсем ровно остриженными прядями, падающими на лоб.

Однажды, когда он болел, Рацлава перебирала их пальцами. А Эйсо, лет семи или восьми, метался на постели и бредил.

Рацлава выдохнула, вытягивая из свирели ещё одну нить. Братья не были плохи. Иногда Ойле делал её жизнь чуть счастливей — приносил эдельвейсы, как другим сёстрам, и выпускал из дома. Разговаривал не особо часто, но Эйсо и вовсе предпочитал её не замечать. Хотя никогда не обижал и наедине мог передать чашу или помочь найти стул. Наверное, им было тяжело увозить Рацлаву в Черногород, чтобы продать купцу и закрыть старый отцовский долг, — они не Хрольв.

— У тебя две младшие сестры, которым нужно выйти замуж. А кто их возьмёт, пока старшая ходит в девках?

Это было правдой, и Рацлава не могла дольше отравлять им жизнь.

— Ну же, сестрица, ты сыграешь свои песенки черногородскому купцу. Так, как умеешь на самом деле. Так, чтобы ему понравилось. Что тебе стоит?

Тогда она думала, что это будет стоить ей семьи и дома. Оказалось, большего.

Перед телегой стоял хорошо сложенный юноша. Его белёсые волосы вились надо лбом, а взгляд был почти ласковым. Хрольв улыбнулся, покачав головой. И, отвернувшись от тюков, отряхнул руки двумя хлопками.

— Сестрица, — громко произнёс он, когда на пороге появилась бельмяноглазая девушка. — Отец сказал тебе ехать с нами.

Хрольв был младше Рацлавы на год и считал, что слепота выела её разум. Он относился к ней как к не особо смышленому животному, прибившемуся к дому: нельзя гнать, пока отец не разрешит. Теперь разрешил. И Хрольв думал, что Рацлава, как и глупый зверь, способна

понять только разложенные на слоги, мелодичные слова.

Он всегда так к ней обращался, неискренне вежливо. Напускная нежность, смешанная с запрятанным презрением. Хрольв состоял из совершенно гладких, но скользких нитей — Рацлаве никак не удавалось ухватить их. Она не слышала, как брат рыдал над её свирелью, и ей было жаль.

— Ну же, сестрица, — Хрольв чуть согнул колени и упёр ладони в бёдра. — Ты ведь умница и поедешь с нами добром, без криков?

Рацлава, осторожно подбредшая на дыхание коней, побледнела ещё сильнее. Тонкий пласт снега потрескивал под её ногами. Хрустели цветы. Одной рукой она сжимала свирель на кожаном шнурке, а пальцами второй боязливо коснулась телеги. Черты исказились, и, обернувшись, Рацлавадохнула злобой в приятно улыбающееся лицо Хрольва.

— Ингар убьёт тебя, когда узнает.

Хрольв опустил светлые ресницы, но улыбнулся ещё шире.

— Хватит Ингару с тобой возиться. Ойле, помоги ей забраться в телегу.

Когда Ойле набросил на её ноги одно из шерстяных одеял, то его серые глаза, казалось, выщвели до кусочков грязного льда.

— Прости, — выдохнул он. Его голос, низкий и тёплый, напоминал залитую солнцем древесину, из которой был вырезан семейный стол. — Прости, если сможешь.

Знал бы ты, чем всё обернётся. Что купец, заплативший за пастушью дочь, не удержит в своих стенах историй о чарующей свирели. И что Рацлаву назовут драконьей невестой, и караван повезёт её на восток.

— Что это, ширь а Сарамат? — восторженно воскликнула Хавтора. — Мне кажется, твоя свирель поёт на разные голоса.

Повозка скрипела и качалась, жгуты тумана стелились у колёс и лошадиных копыт. Дождь лил, как из прохудившегося корыта Сестры ветров. Рёбра тёмно-синих гор расплывались у горизонта, и снег на их вершинах тонул в грозном мареве. Вместо ответа Рацлава отпустила свирель и поднесла к слепым глазам правую руку. Скрюченную, как птичья лапка, в свежих порезах и порванных белых лоскутках. Она долго держала её перед собой, будто могла видеть лунки крови в сгибах пальцев и кривые линии на ладони.

Рацлава высунула кончик языка и почувствовала вкус железа. Раньше, когда свирель раскалывала кости, было хуже. Ингар говорил, что её губы выглядели так, словно кто-то бил их стальной рукавицей. Но теперь, спустя пять лет, от влажно-кровоточащего, почти бескожего рта остались лишь трещины и маленькие язвочки.

— Мне кажется, гар ину, я слышу имена, — Хавтора зябко повела плечами, и с жёстких седых волос сползло покрывало. С мягким шорохом соскользнуло до татуированного плеча: Рацлава представила ночной огонь, горячий шёпот и смятые кошмы в шатрах. Она хочет, хочет вплести это в свои полотна. Это — и ещё многое. То, что принадлежит сотням людей. Ей мало их восторгов и слёз, смеха и танцев под красивую музыку. Ей нужны они все. Их звуки и запахи, умения, мышцы и кости. Языки и лица, голоса.

— Такого не может быть, — проговорила рабыня. Она поправляла покрывало, устраиваясь на подушках, как кошка, — казалось, её тело не затекало и не даже не думало болеть. Старуха впервые посмотрела на Рацлаву иначе, прищуренно.

— Не может, — едва вслушиваясь, сказала девушка. Она пыталась разогнуть пальцы.

Глаза у Хавторы стали хитрые, в цвет латунного рабского ошейника.

— Кто такой Ингар, ширь а Сарамат?

Её голос изменился. Рацлава уловила в нём что-то кроме прежнего подобострастия. Любопытство и лукавство? Страх? Девушка медленно положила руку на одеяло и подняла белый, с почти зажившей ссадиной подбородок.

— Мой брат, — неторопливо ответила она, и этого показалось недостаточно. У Рацлавы четверо братьев, но Ингар — особенный. Она сухо добавила: — Когда я родилась, была голодная зима, и мать отнесла меня в лес. А Ингар спас.

— Зачем он сделал это? — удивилась Хавтора. Рацлава, ещё не ставшая драконьей невестой, не вызывала у неё обожания. — Тебя было нечем кормить.

Девушка погладила одну из кос, переброшенных на грудь.

— Запасы моего отца не иссякли даже в голодную зиму. Моя мать осунулась, но не заболела и могла бы меня выходить. Мои старшие сестра и два брата жили далеко не так хорошо, как раньше, но им не грозила смерть.

— Тогда почему?

Рацлава приподняла соболиные брови.

— Я слепа. А кому нужен слепой ребёнок?

Хавтора согласно замурлыкала в ответ, пропуская сквозь пальцы бахрому походных подушек. Рацлава даже не шелохнулась: она знала, что тукерской рабыне нет дела до пастушьей дочери. Она боготворила невесту дракона.

— Если бы твой брат жил у нас, в Агыр-ол, Пустоши, его бы убили за непокорность. Кто он такой, чтобы идти против слова отца?

Рацлава нахмурилась.

— Хорошо, что мой брат не из Пустоши.

И всё же семья сделала для Рацлавы больше, чем она заслужила. Её кормили и одевали целых девятнадцать лет, хотя она не могла помогать по дому так, как её сёстры, и едва ли бы вышла замуж. Мать, заплакав, отказалась нести её в лес во второй раз, а отец дрогнул под взглядом Ингара. Брату тогда было шестнадцать, он недавно потерял ногу и служил подмастерьем на старой дедовской мельнице. Ингар знал, что мать предпочтёт заниматься с маленьким Ойле, поэтому свой первый год Рацлава провела с ним — её поили козьим молоком и заворачивали в шкуры под мерный рокот жерновов.

Это благодаря Ингару у неё появилась возможность пережить зиму. И это Ингар помог ей украсть свирель Кёльхе. Но он уехал в Гренске, а вернуться должен был только осенью, — и отец посчитал, что девятнадцать лет — солидный срок.

Как же ему будет больно.

Дед умер, а мельница сгорела. Ингар, не желавший наследовать хозяйство отца, восстанавливал её, но из-за погоды всё продвигалось небыстро. Дождь хлестал по крыше, и жалобно скрипело водяное колесо: чуть поворачивалось, хлопало и возвращалось назад. Ветер бил в ставни.

Крыша над головами была закопчённая, протекающая. Чёрные, но крепкие балки подпирали потолок, и на них блестела влага. Ингар залатал мельницу, сделав её безопасной, но не позаботился о красоте. Его больше волновало, что подточенные огнём жернова не могли работать, а из дыр наверху пробирался холод. Ингар грузно приподнялся с лежанки и взглянул на вечно мерзнувшую сестру: она закуталась в покрывала до кончика носа, но сидела на полу и шелестела обёртками привезённых гостинцев.

Рацлава помнила, что той осенью Ингару исполнялось тридцать. Ей было четырнадцать, и он часто забирал её к себе на мельницу. И если куда-то ездил, то обязательно привозил

подарки — лучше, чем красавице Пиркко или молчаливой, маленькой Ирхе. Рацлава слишком сильно сжала свирель, и та ужалила указательный палец: Ингар ведь и сейчас привезёт. Вернётся из Гренске с ворохом свёртков, а Рацлавы уже не будет. И хоть бы у него хватило сил сдержаться. Он может убить не только Хрольва, но и отца — и что дальше? Рудник? Виселица?

У Ингара ломило разрубленную кость — на непогоду. Мужчина постарался сесть, но неосторожно дёрнул правой ногой, ниже колена переходящей в деревяшку. Сдавленно взвыл и рухнул на спину.

Рацлаве говорили, что у Ингара был донельзя грозный вид. И он всегда казался старше своих лет: крепкое отцовское сложение, лохматая борода и тяжёлая походка. Ещё девушка знала, что его волосы такого же цвета, как у неё, — почему-то ей это нравилось, — а глаза похожи на воду.

Голос сестры всегда оживлял сгоревшую мельницу, но теперь Рацлава почти не говорила. Свирель была у неё уже полгода, и рот девочки напоминал алую мокрую массу. Пальцы не раз выворачивались так, что у Ингара щемило сердце. И без того неприветливая колдовская кость мстила за свою хозяйку. Мужчина начал жалеть, что помог украсть её, но сестра, серая от боли, радовалась каждому дню. Если она и пересиливала резь в губах, то шептала о том, что начала чувствовать. «Ингар, Ингар, Кёльхе сказала, что всё состоит из нитей — и это правда. Скрип колеса, шелест подарков, запахи мяса и дыма. Я, ты, отец, Мцилава и Ойле — мы сплетены, как полотно».

Пять лет назад Рацлава с трудом вытягивала струны даже из грохота ливня, не говоря уже о птенцах или людях. Но она уяснила одно: чем больше человек открыт, тем легче подхватить его нити. Конечно, она не умела ткать из Ингара ни тогда, ни сейчас, но очаровать его песней было легче прочих. Потому что он любил её. Нити Ингара трепыхались, когда она касалась их изуродованными пальцами и пропускала под ладонью, и сами обволакивали, будто мечтая вырваться наружу.

Он никогда не просил её играть. Знал, как это тяжело даётся. Но, услышав его стон, Рацлава, закутанная в шерсть, словно маленькая медведица или айха-высокогорница, поднялась с пола и наощупь перебралась под лежанку брата. Нашла на шкурах его большую, сжатую в кулак руку.

— Ингар... — Его боль для Рацлавы — то же, что её — для него. Невыносимо. Готов сам вытерпеть в стократ больше, лишь бы...

— Оставь, — прохрипел Ингар, но она не послушалась. Под сводами мельницы растеклась густая, почти ощутимая кожей песня — местами она дрожала, как стрела на ветру, и прерывалась, потому что Рацлава сплёвывала кровь и передвигала окаменевшие пальцы. Но Ингар чувствовал, что с каждым годом музыка будет становиться всё краше. В груди у него потеплело, защекотало в горле, и по щеке пролегла блестящая прозрачная дорожка: от глаза до бороды.

Рацлаве даже не нужно было трогать и гладить нити Хавторы, чтобы рабыня признала:

— Как хорошо ты играешь, ширь а Сарамат. Очень, очень хорошо. Я не слышала, чтобы кто-то так играл.

Но девушка решила, что однажды всё-таки заставит её либо пуститься в пляс, либо заплакать. У тукерской рабыни нити, будто проволока: поначалу кажется, что тонкие и хрупкие, а на деле — острые, способные вгрызться в мякоть рук.

— Спасибо.

Хавтора — не самая лёгкая цель, но были люди, которых Рацлава не могла заставить не то что уронить слезу — улыбнуться. Совьон, будто состоящая из цепей, широких, как лезвие, — свирель отсечёт пальцы, если Рацлава вздумает к ним приблизиться. Предводитель Тойву, чьи нити похожи на корни деревьев, — она не сумеет их сдвинуть. Хитрый Оррки Лис, сплетённый из трещинок ароматного тумана, пахнущего землёй, тисом и старой кожей. Его любимец, чьё нутро — хмель и мёд, убегающее от прикосновений.

У Рацлавы есть время. Немного, но есть — до летнего солнцеворота. Почти год.

Она знала, что нужно делать. Пробовать ткать из крупных хищных птиц: орлы, соколы, совы. Потом — лошади. И только потом — кто-нибудь из людей. Поблизости не было ни детей, ни подростков, но Рацлаве казалось, она нашла человека, состоящего из слабых нитей. Они шелестели, словно гнилая осока, и таяли с каждым днём.

Раздвинув занавески, девушка высунула в окно одну из порезанных рук. Вода заструилась по белым пальцам, намочила ошмётки лоскутов и собралась в напряжённую ладонь, как в чашу. Рацлава неспешно расслабила её, держа на холодном воздухе до тех пор, пока дождь не смыл кровь и не смешал её с грязью.

Скали не был так уродлив, как все привыкли думать. И губы, тонко очерченные под усами, ровный прямой нос и осанка могли скрасить редковатые чёрные брови, худобу и нечистые волосы. Но всё портило выражение землистого лица. Ненавидящее, презрительное. Заставив коня закусить удила, Скали, ехавший за повозкой, взглянул на девичью руку из-под слипшихся стрелочек ресниц. И дёрнулся, будто это это была самая омерзительная вещь на свете.

===== Песня перевала V =====

Дорога проходила вдоль скалистой низины и круто взбегала наверх. Завтра караван начнёт подниматься, и первым его встретит Недремлющий перевал. Обвалы, морозы, вьюги — сейчас им нужно бояться природы, но не людей. Совьон знала, что ватаги разбойников обитали южнее, у Плато Предателя. В топях и лесах, переползающих с плато к Костяному хребту, где стояли кособокие хижины, а глубина заросших пещер скрывала логова.

Низина, у которой они остановились, напоминала чашу. На камнях, покрывающих её дно, лежал зелёный мох, а серое небо набухло: в воздухе пахло грозой. Ключья облаков застилали солнце. Драконья невеста спускалась к низине — Совьон не могла уводить её слишком далеко, но скалистые стенки достаточно отделяли от посторонних. Воительница следила за Рацлавой и днём, и ночью — первый смотритель, решивший воспользоваться своим преимуществом.

Сапожок Рацлавы наступил на мох, и Совьон наконец-то отпустила её руку.

— Это правда? Ты вывела меня погулять?

Совьон так сказала. Не годится отдавать Сармату невесту, одеревеневшую от многодневного сидения в повозке.

— Почти.

Здесь должна была случиться первая попытка побега. Вид сизых, выросших над головами пиков навевал ужас, и подножие казалось последним рубежом. Какую бы девушку ни отдали Сармату, она бы обезумела от страха. Для неё этот путь — долгая дорога на смерть. Его не вынести без надежды на удачный побег, на волю богов и на то, что Сармат действительно бывает человеком и его можно восхитить. Но Рацлава выглядела бездеятельной и послушной. Как большая белая рыба, плывущая по течению реки. Она не грубила, не плакала и исполняла всё, что ей говорили. Она не видела близких гор, а если и

чувствовала, то вряд ли бы решилась бежать. Тойву хорошо сделал, что взял слепую: она не спятит от страха, когда караван станет проезжать мёртвые, забытые туманом ущелья. Когда на склонах запахнет южными травами и разбойничьими кострами и покажутся обглоданные скелеты сгоревших сосен и деревень.

Рацлава стояла на скалистом дне чаши и теребила бусы — алые гроздья на нежной лилово-синей ткани. На её шее висело сразу несколько таких связок, длинных, достающих до середины груди. Костяная свирель посверкивала сквозь капли граната. Колдовская резьба струилась, скручивалась в петли, скалилась носами драккаров и головами лохматых ветров.

— Я слышала, как ты играла вчера, — лениво обронила Совьон, и Рацлава насторожила уши. — Знаешь, что я скажу тебе, самозванная певунья камня?

Девушка побелела, отшатнулась, а Совьон чуть скривила уголок губ — будто пыталась скрыть улыбку.

— Я слышала вещи куда прекраснее.

Удивление Рацлавы сменилось хищным выражением лица. Злобным и обиженным: Совьон задела за живое. Рацлава даже не спросила, откуда воительница узнала, как её следует называть и почему. Лишь стиснула свирель, а вместе с ней — бусы, и кровь на лоскутках была такого же цвета, как гранат.

— Мне было не из чего ткать, — проскрежетала она. — Я умею лучше.

Совьон вытянула руку, и на её предплечье опустился ворон. Поглаживая крылья, воительница заметила, что драконья невеста стиснула губы до синевы. Как бы ни была бездарна, чувствовала, что Совьон — не простая женщина, не простая. Вопросы кололи ей язык, но желание доказать, насколько хороша её игра, пересилило.

— Ткать, значит, — Совьон по-прежнему гладила ворона. — Вёльхи прядут судьбу, а что делаешь ты?

— Я плету истории, — выпалила Рацлава. Её рот налился краснотой.

Совьон выдержала паузу, а оставшаяся без поводыря драконья невеста неловко потопталась на месте.

— Тебе есть из чего ткать сейчас? — небрежно спросила женщина и, взмахнув рукой, заставила ворона взлететь. Птица, расправив большие чёрные крылья, каркнула и закружилась над низиной.

Рацлава вдохнула медленно, словно пробуя воздух на вкус. Мох и приближающаяся гроза, скалы, грай ворона и суетливых сорок, парящих совсем низко — перед дождём. Пятна их спинок метались под вихрами туч, а от горизонта лились жидкие нити солнца, едва ощутимые, но приятные. О да, Рацлаве было из чего ткать.

— Кто ты? — девушка облизнула губы. Её перевязанные пальцы подняли свирель. Совьон прекратила следить за полётом птицы и опустила на неё взгляд, глубинно-синий, как и полумесяц на скуле.

— Воительница из каравана драконьей невесты.

Рацлаве не понравился ответ, но чутьё подсказало, что правды она не услышит. И девушка начала играть.

Когда гремит гром, кажется, что это Рагне скачет на юг...

Она взяла нити мха у своих ног и вытянула из него дикие травы. Густые, влажные, мнущиеся под конскими копытами: рать молодых воинов летела на смерть.

...чтобы сложить голову в битве против Сармата-дракона.

Небо готовилось прорваться дождём. Из первых капель Рацлава выткала холод и

металлический блеск копий, а из далёкого рокота — треск ветра, скрип подпруг и щитов. Она поймала обрывок ниточки — чахлое дерево, растущее недалеко от чаши. Корой выстелила косу Рагне, окаменевшим стволом — горделивую юношескую осанку.

Гром прозвучал отчётливее, и свирель Рацлавы запела, как турий рог. С неба хлынула вода — и девушка превратила её в звенящие прозрачные струны. Стрелы. Подчинила себе самых мелких сорок и из воздуха, хлопающего под их крыльями, выложила густое небо. Самих птиц заставила заверещать и метнуться вверх острым клином. Чёрные тела смазались и закрутились в испуганно трепещущую воронку.

Третий раскат грома — это оглушительный грохот копыт, под которыми таяли травы. Это лязг обнажённого оружия и низкие боевые кличи. Знамёна, рвущиеся на ветру в косых полосах дождя.

Чтобы окрасить чешую Сармата, Рацлава взяла свою кровь. Свирель распорола руки, и девушка плеснула алую пригоршню на невидимое полотно, обволакивающее её и Совьон. В драконье горло она вложила четвёртый раскат, прозвучавший громче, чем все предыдущие. От него затряслась земля.

Здравствуй, брат.

Пальцы Рацлавы порхали над колдовской костью. Свирель заливалась отрывистыми воинственными вскриками, шелестом дождя и свистом тетивы, боем барабанов. Платье и волосы Рацлавы намокли, а алые разводы расплылись по рукавам. Свирель плясала, и резьба в ней наполнилась кровью: красное чудовище на носу драккара раскрыло пасть.

Молния, мелькнувшая в тучах над влажно-зелёным мхом, — это огонь. Сармат выдохнул его из медной глотки, и пламя пронеслось по рядам. Под ним сжались травы. Кони вскинулись на дыбы и страшно заржали, прежде чем забились, горящие заживо. Огненный язык лизнул Рагне, и юношу накрыло волнами перекатывающегося жара. Его рать поглотило пламя. От слившегося вопля лопнуло небо-полотно, и клочья туч разорвало на куски.

Дикая песня свирели замедлилась. Затихли боевые рога. Застонали пронизывающе-гортанные голоса плакальщиц в расшитых покрывалах: дождь бил по обугленным телам, и догорали плечи костерков.

Мох хлюпал под ногами Рацлавы. Волосы слиплись, юбка трепалась у лодыжек. Звякнули бусины, о которые легко ударилась свирель. Вокруг остывала и истончалась пелена истории — как снег, занесённый в тёплый дом. Ещё чуть-чуть, и не останется ничего. Только прекратив играть, Рацлава заметила, что было холодно, а от боли свело руки. Девушка, сгорбившись, попыталась укрыться от грозы и вздрогнула, когда над чашей раскатился очередной гром.

Совьон стояла, не шелохнувшись. Отяжелела её иссиня-чёрная коса, заплетённая от середины. По красивому лицу струились капли, заливали чёрную рубаху. Ворон то и дело опускался на её плечо, сжимая когти, и беспокойно срывался вверх. Казалось, будет рушиться весь мир, а Совьон так и не сдвинется с места — скала в ревущем море. Лишь когда вспыхнула новая молния, женщина подняла голову.

Рацлава думала, что может ткать лучше. Если она возьмёт нити у живых существ — коней, людей, крупных птиц, — и у пока не доступных гор, её история очарует слушателей настолько, что никто не отличит, где сказка, а где явь. Это был не предел её искусству, но пока она умела только так.

Очнувшись, Совьон схватила девушку за ворот платья и потащила в сторону каравана — чтобы она могла укрыться и отогреться. Рацлава послушалась, но, даже стуча зубами от

холода и дрожа от боли, не удержалась:

— Ты слышала вещи куда прекраснее?

Совьон хмуро оглянулась. Её глаза стали почти чёрными.

— Да, — бросила она, но больше не сказала ни слова.

То, что лежало на носилках, не было Рагне. Тёмное обугленное тело: истончившиеся руки, месиво вместо ног. Впалое, страшное лицо — не осталось ни носа, ни косы, ни точёного подбородка. Княгиня Ингерда смотрела на Рагне, но словно бы не видела. Её распахнутые глаза остекленели, а позвоночник окаменел — она не могла заставить себя сделать хоть шаг.

Как он был юн, её сын. Этой весной Рагне собирался жениться — привёл в княжий терем невесту, чтобы просить благословения матери. Он уже вплёл свою ленту в волосы девушки, и та спрятала лицо под покрывалом — до свадьбы. Но мелодичный перезвон бубенцов обернулся поминальным набатом. Не показывать тебе лица, милая, подумала Ингерда отстранённо. Ни этой весной, ни следующей — будешь скорбеть так, что глаза выцветут от соли.

Больше книг на сайте — Knigolub.net

Сама княгиня не плакала. Лишь смотрела на тело четвёртого сына, которое положили к её ногам, когда она выбежала из терема. Но человек, стоящий рядом, пугал её больше, чем сгоревший Рагне. Ингерда не могла повернуть шею — та будто отвердела. И, чтобы перевести взгляд, женщине пришлось сдвинуть плечи.

Хьялма рано начал сесть. Его глаза, насыщенно-голубые, как лёд в морях, не мигали. Рука в княжеских кольцах впила в другую руку. Он говорил Рагне не ехать против дракона — а тот не послушался. Слишком сильна была его ненависть к брату. Гордый, заносчивый Рагне: он решил, что Сармат не так страшен, как о нём говорят.

Сармат.

— До сих пор не веришь, что это сделал он? — Голос Хьялмы был хриплый и тихий, чеканящий каждое слово. Ингерда вздрогнула. По жилам разлился ужас — она не боялась ни дракона, ни его армии. Только старшего сына. Ответ дался с трудом:

— Ярхо превратил его в чудовище.

Хьялма продолжил смотреть на останки Рагне. И думал, думал, а пальцы оставили на запястье глубокие борозды.

— Нет. Лишь помог.

Он тяжело пережил предательство. Ингерда знала о Ярхо меньше, чем о любом из своих сыновей, и даже пронцательный, мудрый Хьялма не сумел предугадать его действия. Никто не думал, что Ярхо освободит Сармата. И никто не знал, почему он это сделал. Чего он хотел? Власти? Крови? Сильный, неразговорчивый Ярхо, который редко выступал вперёд, но с которым все считались. У Хьялмы не было ответа.

Князь закашлялся. Согнулся пополам: его грудь взметнулась, а в горле забулькал звук. Выпрямившись, Хьялма утёр рот платком, и на местах посеребрённых усах — боги, ему нет и тридцати, — была кровь. «Недолго ему осталось,» — повеяла мысль, будто издалека. Сармат обрёл его на медленную смерть. Хьялма выкашляет свои лёгкие, сгниёт изнутри, захлебнётся в собственной крови.

Но перед этим...

— Я убью его, — устало сказал Хьялма, комкая платок. — Через десятки лет, чужими

руками, но убью.

И Ингерда поняла, что он говорил не о предателе Ярхо.

— Что же ты отвернулась, мать? Смотри.

Искалеченное оплавившееся тело. То, что недавно было статным юношей. Разъеденные огнём мышцы, труха вместо кожи — эти руки накрывали покрывалом невесту и хлестали кнутом коня, гарцующего перед воинами-побратимами.

За княжьем двором стояли люди. Ревели женщины, кричали мужчины, а в вышине ухали бронзовые колокола. Ингерда представила, что сейчас на носилках лежит не Рагне, а Сармат, и подреберье сдавило так, что в глазах потемнело. И Хьялма, строгий и измученный, спросил, едва разлепляя окровавленные губы:

— Рагне погиб, а ты даже не плачешь. Что бы ты сделала, если бы это был он?

Сошла бы с ума. Выцарапала бы сердце, чтобы оно перестало болеть. Каталась бы у холодных ног Сармата и выла до тех пор, пока бы не умерла.

— Я люблю вас всех, — выдавила княгиня.

Это правда. Но Сармата — куда сильнее, и в этом не её вина. Ингерду очень рано выдали замуж за мужчину втрое старше её. Хьялму и Ярхо у неё забрали сразу же — негоже бабе воспитывать княжеских детей, и Сармат стал её отдушиной. Ласковый, весёлый, смышлённый Сармат. Рагне всегда был беспокойным: ночами пугал няnek, вопя так, что девушке хотелось накрыть его подушкой. Ингол оказался слабоумным — что про него говорить? А Ингерда так устала от жизни племенной кобылы, устала бояться мужа и быть вещью. Сармат всегда, и в десять, и в семнадцать лет находил время для неё. Он заботился о чувствах матери и проводил с ней вечера, если она грустила. Утешал, когда красавица княгиня нашла первый седой волос, а позже привозил украшения, которые она так любила. Лал, изумруд, опал — в шкатулках Ингерды было множество браслетов, ожерелий и брошей. Больше, чем у любой другой женщины. Она носила плетёные венцы, жемчужные нити и богатые рясны, оттеняющие медь волос. Сапфир, кварц, малахит. Люди осуждали то, что Ингерда ходила в серьгах и кольцах даже во времена траура.

Она с трудом перевела взгляд на Рагне. Великие боги, как он был юн и горд.

— Мне тяжело, княже, — сказала Ингерда сыну. — Позволь мне уйти и скорбеть в одиночестве.

Хьялма посмотрел на неё так, что по спине женщины прошёл холодок. Это она, бросаясь на колени, умоляла пощадить Сармата у Криницких ворот. И это она тайно радовалась, когда Ярхо предал своего князя и освободил Сармата из подгорной тюрьмы. Но Ингерда понимала, что теперь её любимому сыну не будет пощады.

Человек он или дракон, неважно. Кого бы он ни сжигал, пусть его сохраняют чешуя и кольчуга, защитят когти, зубы и мечи. Пусть Ярхо ведёт его рати и вернейшие из жён охраняют его покой. Пусть Сармат будет жив и велик — а Ингерде остаётся оплакивать двух своих детей и просить, чтобы боги не забрали у неё третьего.

В Халлегате били колокола, и их поминальная песня не прекращалась ещё несколько лет.

===== Каменная орда I =====

Да будет могуч и прекрасен бой,

гремящий в твоей груди.

Иосиф Бродский.

У него был ровный чеканный шаг. Тяжёлый и до того громкий, что отзывался эхом на

нижних этажах башни, поросшей диким плющом. Вечерами в её узких бойницах плясал свет, а на пике реял обрывок княжеского знамени: красный крылатый змей на кремовом полотнище. Но пройдёт девять лун, и башня будет сожжена. Спустя время на обгоревшие камни наплзёт свежий плющ, а чёрные щербины окон станут, не мигая, смотреть на окружавшее их глубокое ущелье. И ни заблудшие путники, ни лихие разбойники и горные ведьмы не рискнут подойти к этому проклятому месту.

Первое, что сделает Сармат-змей, превратившись в дракона, — выжжет свою тюрьму.

Никто не мог услышать Ярхо. Сначала стражники решили, что он приехал от князя, а когда поняли, было уже поздно. Они не сумели ничего сделать — Ярхо смял их, всех девятерых, нещадно, не проронив ни слова. Стражники даже не были его врагами, но он, не задумываясь, оставил их не погребёнными — переступил через распластанные тела. Бесчестный поступок, но Ярхо ли бояться божьего гнева? Он предал своего брата и князя, а это куда страшнее.

Лестничная спираль была узкой, и Ярхо касался плечами стен. Перед дверью он постарался расправить грудь и занёс меч, взятый из чужой руки. Ярхо знал, что Хьялма приказал уничтожить ключи, открывающие тюрьму брата, все до единого. Деревянная дверь поддалась не с первого удара: лезвие меча дрожало и шло выщерблинами, но наконец она жалобно всхлипнула, выгнулась и накренилась к полу, присыпанному трухой.

Из щели бойницы, расположенной под куполообразным потолком, лился слабый свет. У стены горбился человек, закованный в цепи, и поначалу Ярхо смог разглядеть лишь свалывшиеся блекло-рыжие волосы и длинную исподнюю рубаху. Потом — потом были сухие запястья, перетёртые кандалами до сливовой синевы. И резко вскинутое лицо: осунувшееся, с впалыми щеками. Это ли Сармат? Блистательный, холёный Сармат, не показывавшийся без золота, винно-красных камней и узорной парчи? Где его красота, которую так любили женщины — хитрый прищур глаз, лукавый излом губ? Он был заросший, с выцветшей до ржавчины редковатой бородой. Пропитавшийся кислым тюремным запахом, страшно худой. Прежний Сармат плясал с кривыми тукерскими саблями, а этого Ярхо мог убить одним ударом.

Грязная исподняя рубаха, поникшая шея, выступающие кости. Ярхо не видел только одного — следов побоев. Но Хьялма, устроивший тюрьму, знал, что Сармат никакой боли не боится так, как одиночества. Надсмотрщики даже не заходили к нему, а еду оставляли через прорезь в двери. Стража менялась раз в пару месяцев — у Сармата не оставалось возможности найти себе союзников. Он провёл в тюрьме чуть больше трёх лет и уже не походил на себя. Облезлая подвальная крыса: Сармат так бы и умер здесь. Хьялма бы всё сделал, чтобы напомнить ему последние дни заморенного в темнице Ингола. Глаза бы тоже выколол, но тогда бы пришлось хоронить мать, которая бы как-нибудь да об этом узнала.

Одно время Сармат лишь подслеповато моргал. Потом поднял руку, и его цепи лязгнули, волочась по каменному полу. Он потёр переносицу, будто стараясь прогнать наваждение, — древесные щепы хрустят под тяжёлой ступнёй Ярхо. Но видение не проходило, и тогда Сармат улыбнулся. Ярхо увидел пустоту на месте клыка, который Хьялма выбил ему в поединке у Криницких ворот.

— Я говорил, что ты всегда был моим любимым братом?

Надломленный, лающий голос. Но и его Сармат слушал с удовольствием. Как он звучит, как в нём растворяются удивление и насмешка, расплываются призраки давних бархатных нот.

— Надеюсь, Хьялма умер? — Сармат прищурился. В тёмных глазах зазмеились медовые прожилки, похожие на язычки пламени.

— Он жив.

— Жаль, — Сармат потянулся, и цепи снова звякнули. — Но ненадолго, раз ты здесь.

Подумав, сглотнул с трудом:

— Как мать?

Он продолжал спрашивать, а Ярхо, отбросив чужой меч, пересёк комнату и оказался рядом с ним. Теперь, когда Сармат понял, что брат не уйдёт, в его голосе зазвучал голод — как Халлегат? Что происходит в мире? Забыли ли Сармата его друзья?

Цепи были крепки, но не крепче клинка Ярхо.

Все, кто шёл за тобой, либо отреклись, либо погибли. В Халлегате княжит Хьялма, и люди его любят. Вот уже три года мать носит траур — едва ли по Инголу. В мире спокойно без тебя, Сармат. Ярхо процедил ещё одну короткую фразу и, схватив брата за ворот, рывком поднял на нетвёрдые ноги. На полу лежали разрубленные цепи.

Покачиваясь, Сармат прищурился сильнее, совсем по-змеиному. Потёр вспухшие лиловые запястья. Провёл грязными пальцами по рыжим космам, падающим на лопатки. Сплюнул под босые ноги и, вытерев рот рукавом, тихо спросил:

— Почему пришёл?

Ярхо ему так и не ответил.

Он не ответит и позже, когда Хьялма возведёт для братьев новую тюрьму, самую неприступную из всех. Когда их имена расщепят на легенды, княжества закипят в крови, а шаманы айхов-высокогорников проклянут хитрого человека, укравшего себе тело дракона. Ярхо бы не сказал и полслова о своём предательстве, но Сармат умел выуживать целые фразы. Даже спустя тысячу лет, которую Ярхо провёл, вращая в гору.

Тысячу лет спал дракон, пойманный в ловушку Хьялмы и заключенный в обезображенное тело собственной матери. Тысячу лет Ярхо не знал сна — камень заменил его мышцы и кости, заполнил жилы. Он стоял, и горная порода была продолжением его позвоночника. Она обездвижила его ноги, сковала руки, сдавила грудь. Сармат спал, и под медными пластинами текли горячие токи крови. Из ноздрей выходил прозрачный пар, рассеивающийся над медовым блеском монет. Но сердце Ярхо остановилось, а горло забил гранит.

Высилась Мать-гора: с юга её стопы лизала Пустошь, с северо-запада — тёплое Перламутровое море. К востоку лежали богатые деревни камнерезов — они платили хорошую дань. Сармат-змей охранял несметные сокровища, и его владычество крепло клинком Ярхо. Говорили, не было воина лучше него. Говорили, его не взять ни огнём, ни железом — страшен Ярхо-предатель. Он шёл, и горы содрогались под его ратью.

— Ты помнишь Халлегат, Ярхо?

Не каждое княжество могло отправить Сармату людей. Везти рабов и невест было куда сложнее, чем сундуки — люди бежали, заболели и калечились в долгом пути. Сам Сармат забирал лишь девиц из земель, лежащих перед Мать-горой, будто на ладони: поселения в Пустоши, деревни камнерезов и кибитки ирменков, горных кочевников с берегов Перламутрового моря. Выходило, что в некоторые полнолуния он оставался без пленных и жён.

И тогда, сидя в одном из своих чертогов, в окружении золота, бронзы и лоз драгоценных

камней, Сармат пытался разговорить брата.

— Ярхо?

Кажется, начинался десятый август после его пробуждения. Сармат уже освоился в мире: жёны научили его новому, изменившемуся языку, а драконьи глаза запомнили, как перекроились княжества за тысячу лет. Халлегат — в этом слове Сармат слышал тягучий мёд и грохот щитов. Город их предков: они родились в Халлегате, выросли, а годы не оставили ни камня от его стен. Ярхо помнил его, но и только. Он не чувствовал сожаления.

— Вчера я пролетал над ним. На месте Дубовых чертогов прорезались скалы. Река высохла, и там, где отец собирал дружины, разросся бурьян. Площадь утонула в земле, а башни рассыпались. Я пытался разглядеть усыпальницы, но не нашёл и следа.

Сармат возвращался к Халлегату не впервые, но в его голосе всегда слышалась боль. Ярхо стоял справа от княжеского трона, на котором полулежал брат, и молчал: ему не было дела и до живого города, не то что мёртвого. Он бы сам сровнял его с землёй, сам бы разрушил усыпальницы рода.

— Отец... Он говорил, что Халлегат вечен, — Сармат грустно усмехнулся. Он крутил тукерский кинжал: свет вспыхивал на кровавой россыпи рубинов. Искривлённое лезвие принимало золотой отблеск. Пальцы у Сармата были узкие, обожжённые, а на указательном сидел перстень — за десять лет у него появилось и кольцо в носу. Волосы пылали, косы держали дорогие зажимы. Сармат никак не мог надышаться своим богатством.

— Отец, отец... последний халлегатский князь.

Ярхо повернул шею. Сначала раздался хруст, а потом — скрежет слов:

— Последний — Хьялма.

Сармат даже перестал играть с кинжалом. Так и застыл на княжеском кресле, расслабленный, размякший. Затем подбросил нож, перехватил за украшенную рукоять и сел прямо: лезвие вспорол воздух. Медленно оглянулся на брата, сжал губы.

— Хьялма, говоришь, — покатал на языке. — Хьялма.

В его тёплом чертоге повеяло холодом.

— Об одном жалею. Не видел, как он подышал.

И Ярхо не видел. Хьялма был единственным человеком, способным перехитрить Сармата — он заманил его в ловушку и заключил на тысячу лет вместе с братом-предателем, хотя сам едва дышал. Дракон натворил много дел. Он выжигал селения, уродовал людей — но Хьялма знал, что он бывал человеком. Четыре года князь пытался поймать Сармата, и за всё время прислал только одно письмо. Сармату — Ярхо для него перестал существовать.

«Я всё равно тебя убью».

Обычно Хьялма был скуп на угрозы.

«Чужими руками, через десятки лет...»

Письмо Сармату доставила его же молодая любовница, вдовствующая княгиня Мевра. Смелая, насмешливая и непокорная. Он прятался у неё, пока был человеком: Хьялма взял город в осаду, но не успел, и брат ускользнул. Улетел. Сармат был уверен, что Хьялма не тронет девушку. Ты ведь не такой, как я, верно? Не обидишь ни одну мою женщину. Ты добрый, честный и справедливый.

«...но убью».

Хьялма отправил её вместо гонца. Сармат срывал покрывало, под которым Мевра прятала лицо, а она плакала и просила этого не делать. В закутанных руках княгиня держала тяжёлый липовый ларец.

«Вот уши, в которые лились твои речи. Вот пальцы, которыми она пыталась ранить моих людей. Вот нос, который задирала передо мной».

И тогда Сармат понял, что обречён.

«Жди».

Разве тысяча лет — не достаточный срок? Сармат привык слушать людей и сначала опасался всерьёз. Много ходило сказок о том, что Хьялма не умер, а стал драконом: айхи называли его Тхигме, кочевники-ирменки — Ятобаром, ящером вьюги. Но годы шли, Сармат жёг и плавил, а Хьялма так и не появлялся. Тукеры правы: он был слаб, и он умер так давно, что о нём почти никто не помнит.

Но его имя до сих пор лишало Сармата покоя.

«Не будет тебе пощады».

Не будет — за Ингола. За Рагне. За воинов и крестьян, за молодую жену Хьялмы. За его сына-младенца, за кровавый кашель и гниль вместо лёгких, но...

Хьялма мёртв, Сармат-змея хранит свои сокровища, и предатель Ярхо чеканит шаг. Их история покрылась быльём, люди который век спят в земле, а имена давно переименованы на баллады.

Наконец Сармат поднялся с места — и рассмеялся, бросив нож в груды кубков, украшений и драгоценных камней. Лезвие звякнуло о блюдо, посыпались потревоженные монеты.

— Боги, Ярхо. Ты так редко говоришь, и снова не то.

Быстро вскинул ладони, опустив уголок рта.

— Я шучу.

Сармат знал, кому был обязан. И понимал, что не продержится без Ярхо. Брат ему не слуга — оружие, которое защищает и бьёт, но существует само по себе.

— Это, знаешь ли, хорошо, что он подох, — Сармат поддел один кубок острым носком сапога. — Пусть и князем, — имя выплюнул позже: — У Хьялмы был халлегатский престол, а подо мной окажутся сотни.

Мёртвый правитель и древнее кровавое божество — кто из нас выиграл, Хьялма? Кому приносят жертвы тукеры и ирменки? Кому князья люди отдают своих девиц? Славно, что ты умер: и Сармату есть, за что мстить. Обезображенная мать. Позор. Заточение.

— Разве это не правда? — Сармат, развернувшись на пятках, склонил голову и улыбнулся. Ярхо промолчал — но пройдет ещё двадцать лет, и под их натиском падёт даже ослепительный Гурат-град.

Нет в мире силы, способной встать наперекор.

===== Зов крови IV =====

Хиллсиэ Ино, вельха-прядильщица, была стара. Её волосы поседели, зубы раскрошились, а губы истончились до плёнки. Триста зим жила Хиллсиэ Ино. Тридцать лет пряла судьбу Хозяину горы и всем, кто его окружал. В её комнате, вырубленной из камня, жужжало веретено, а жёлтое пламя свеч изгибалось под шелест колдовских слов. В сморщенных пальцах Хиллсиэ Ино клубились нити жизни — приходило время, и ведьма обрезала их ритуальным ножом. Прядильщица не дарила гибель. Лишь предрекала, но кто из людей мог противостоять пророчеству вельхи? Хиллсиэ Ино жила долго, но ни разу не видела, чтобы кто-то оказался сильнее судьбы.

В минувшее полнолуние к ней снова пришёл Хозяин горы. Красивый, лукавый, улыбочивый, весь в жёлтом и алом — будто в крови и золоте. Нарядные одежды, стягивающие

стройный стан, рыжие волосы в семи косах. Заходя в комнату вельхи, Хозяин горы пригнулся — слишком низкой была дверь. Потом расправил плечи и шагнул к ведьме за прялкой. Улыбнувшись, опустился на колени и поцеловал дряблую руку.

— Здравствуй, бабушка.

Вельха прикрыла чёрный глаз. Второй, жёлтый, будто затянуло поволокой. Хозяин горы был старше, чем все те, кто обучал Хиллсиэ Ино колдовству, но годы обходили его стороной, а вельха расплывалась и покрывалась морщинами.

— Что ты мне скажешь?

Он приходил каждое полнолуние — за пророчествами. Хозяин горы ценил Хиллсиэ Ино. Целовал руки, дарил вещи: кичку с подвесками из бисера и лунные камни, которые ведьма вставляла в растянутые мочки ушей. В её комнату не смели заходить каменные слуги — ни марлы, ни сувары, ни воины Ярхо-предателя. Потому что нет ведьм могущественнее, чем вельхи-прядильщицы. Они не гадали на костях, не собирали травы и не варили зелья. Даже не крали младенцев, чтобы найти себе преемника. Сестра ветров, богиня-плакальщица, сама выбирала, кому доверить нити — дар своей бабки Сирпы, богини злой зимы.

Хиллсиэ Ино усмехнулась гнилым ртом и протянула крючковатый ноготь к виску мужчины.

— Ала хе ярат, Хозяин горы.

Будущее невесомо и мутно, как пряжа. Даже вельхе оно открывалось не раньше, чем позволяла суровая Сирпа, заметающая пути. Всему свой черёд — и тогда полная луна обещала Хозяину горы удачу. Девушка, которую он хотел сделать своей женой в месяц Руки огня, не замышляла ничего дурного.

Страх Хозяина горы — вот почему Хиллсиэ Ино была здесь. Появился ли кто-нибудь, равный ему по силе? Близко ли человек, желающий его смерти? Может, это его жёны и пленные придумали, как известить дракона до летнего солнцеворота? Или же Ярхо-предатель? Хозяин горы не полагался на вельху безоговорочно и в самый длинный день всё равно убивал и жён, и рабов. Но в течение года Хиллсиэ Ино была ему голосом судьбы.

И в минувшее полнолуние он ушёл довольным. Вельха знала, что каменные девы марлы двинулись готовить Хозяину горы невесту, а карлики сувары, которых принимали за низкорослых жителей подземелий, поспешили накрывать столы и стелить постель.

Сейчас, когда прошло полнолуние и близилось равноденствие, Хиллсиэ Ино сидела на своей скамье, устланной белым покрывалом. Из бездонного, с тяжёлой оковкой сундука она доставала полотна, которые некогда сплела из нитей чужих судеб. Всё это стало прошлым. Каждое полотно было историей одной из жён Хозяина горы.

Вот Магарил, кочевница из ирменков. На полотне застыли кибитки её народа — впряжённые мулы, округлые крыши, скрипящие колёса. Застыли её многослойные голубоватые юбки, верхняя из которых была расшита красным бисером. Каштановые косы, серые глаза и украшенная лентами кожаная жилетка поверх такой же голубоватой рубахи. Хозяин горы сам унёс Магарил, и девушка оказалась красавицей. Звонкоголосая и лёгкая, как серна. За год она полюбила Хозяина горы и от ревности едва не задушила других его жён. Хозяин горы тепло смеялся, обнимал Магарил за плечи и целовал в ухо, но забыл сразу же, как её история закончилась.

Вот Василика, и о ней помнили дольше. Дочь искусного камнереза из богатой деревни: в её густых чёрных косах струились золотые и зелёные тесьмы. Изгибались угольные дуги

бровей. Хозяин горы восхитился цветом глаз Василики и подарил платье из ткани, напоминающей подтёки малахита, — дар, достойный родовитой княгини. Но Василика плохо отплатила Хозяину горы. Она была единственной, кому удалось бежать.

Хиллсиэ Ино любовно разгладила её полотно. К вечеру девушке повезло добраться до деревни, правда, не своей, — ближайшей. Она рыдала и стучалась в двери домов, невообразимо прекрасная, в золотом венце и малахите, стекающим тканью, хотя к тому времени подол уже истрепался. Василика била в двери, звенели её тяжёлые браслеты, а глубинно-зелёные глаза опухли от слёз. Её, конечно, впустили.

Но наутро приехал Ярхо-предатель.

Хозяин горы дорожил своими сокровищами. Каждым драгоценным камнем, каждым блюдом. И тем более — женой, даже если та не жила дольше летнего солнцеворота. Это его вещь, красивая и пробуждающая любопытство. Она не смеет ускользнуть.

Начинался июнь, и Василика страшно кричала. Падала в ноги деревенского головы, чтобы тот не отдавал её Ярхо-предателю, но что он мог сделать? Разве что навлечь на себя беду.

— Забирай её, Ярхо, — сказал голова, толкая Василику в спину. — Мы не знаем её. Она пришла сама.

Жители окрестных деревень понимали, как нужно себя вести. Ярхо-предатель спешил, не меняясь в лице, — его каменные люди остались на конях, вытесанных из породы. Он намотал чёрные косы на кулак, и вздёрнутая с колен Василика лишь грудно взвыла. Хиллсиэ Ино впряла в её полотно самые яркие нити — вишнёво-алые, словно кровь. Хозяин горы не вынес мысли, что кто-то его обхитрил, и повелел Ярхо найти девушку. Он бы отправил брата даже за пропавшей монетой, за кусочком слюды, но больше не желал прикасаться к жене, решившей убежать из драконьей сокровищницы.

Не одна Василика не дожила и до летнего солнцеворота. Гоё, дочь тукерского хана, боготворила Хозяина горы, как и все из Пустоши. Она едва ли не целовала носки его сапог — а тукерская знать неохотно сгибала спину. Гоё была изящно сложенной, песчано-жёлтой, с удивительными раскосыми глазами, мерцающими, будто два гагата. Но девушка привыкла к вольной жизни в степи, и Мать-гора стала для неё тюрьмой. Она недолго протянула в чудовищной толщине недр, без ветра и солнца: удавилась на собственных одеждах.

Крутись, веретено. Крутись, крутись.

Хиллсиэ Ино взяла в руки другое полотно, неоконченное, и начала разглядывать. Хозяин горы только сделал эту девушку своей женой, и из прошлого на ткани — лишь свадьба. Сколько таких историй прошло через Хиллсиэ Ино? Сколько ещё пройдёт? Неизвестно. Вёльха развернула полотно на коленях и провела ногтем по вытканной сказочно длинной косе драконьей невесты.

Было так...

Мать-гора — исполинский живой лабиринт. Она перекраивала самоцветные коридоры, путала двери и меняла лестницы. Из апатитового чертога Кригга вышла следом за гуратской княжной, но в гранатовом оказалась одна — Малике Горбовне открылась другая дверь. Сначала Кригга, не понимая, топталась на месте и звала княжну, но её слабый голос отзвенел от стен: неровный малиновый минерал, а внутри него — насыщенные бордовые сгустки.

Ладони вспотели, и Кригге пришлось вытереть их о палевый подол. Мать-гора хотела,

чтобы она шла вперёд, — и девушка подчинилась. Гранатовый чертог был длинным, слои породы сходились над ним розовато-багровыми арками, с которых до пола стекали бусины орлеца. Кригга вспомнила, что орлец — женский камень, и прабабке на свадьбу подарили вырезанную из него шкатулку. С тех пор она передавалась по наследству: в Пустоши, а особенно в небогатой Воште минералы считались редкостью.

Гранат переходил в аметист. Стены стали густо-фиолетовые, ребристые и шероховатые, с вкраплениями горного хрусталя. Потолок был ещё выше, и шаги Кригги звучали, как гром, в почти совершенной тишине: Мать-гора дышала, и где-то раздавались шёпот и шорох. Девушка шла медленно и очень аккуратно, будто земля могла выскользнуть у неё из-под ног. Её дыхание сбилось, а в глазах защипало.

В этом чертоге блестящий пол напоминал узкую ленту, а справа и слева от Кригги перекачивались барханы богатств. Пламя лампад дробилось и рассеивалось, выхватывая из холмов монет полукружья блюд и ножки кубков. Фиолетовые драгоценные камни, вставленные в ожерелья и перстни, — в тон стенам. Разинутые рты ларцов, украшенные щиты, маленькие идолы чужих божеств... Кварц расплылся от потолка и вдался в аметистовые плиты беловатыми трещинами: Кригге казалось, что весь чертог окутан дымкой.

Где золото, там Сармат.

Эти сокровища были лиловыми, серебряными и золотыми — венцы, браслеты, пояса с тяжёлыми отлитыми пряжками, за один из которых получилось бы купить всю деревню Кригги. Глаза девушки резануло болью, а на языке осела горечь.

Чем тебе не сказка? Есть юная дева — шестнадцать лет, невестин возраст. Узкий стан, коса до пят. Медный дракон унёс её к себе в гору, и сейчас дева идёт по лабиринтам чертогов, о которых баяли лучшие из камнерезов. Она теряется в несметных сокровищах, полных кровью сотен людей.

Кригга с трудом отлепляла ногу для нового шага, но, не выдержав, протянула руку к ближайшей горе богатств. Девушка не знала, можно ли ей касаться украшений и монет, и сквозь её пальцы прошло лишь золотое свечение. А потом раздались шаги. Нечеловеческие, тяжёлые. С таким скрежетом, будто по полу плыло каменное изваяние. Кригга содрогнулась изнутри — от позвоночника до горла. В животе стянулся узел. Девушка попятилась, прикрывая лицо руками, ломающимися от дрожи.

Она думала, что это Ярхо, предводитель грозной каменной орды. Но ему не было дела до невест его брата — если они не находились за пределами чертогов. И тогда Кригга впервые увидела марл.

Марлы — девушки, погибшие в горах. Они не смогли обрести покой, и Мать-гора собирала их под своими сводами. Грубо латала, заключая в породу. Смерть в горах — страшная смерть, и немногие из марл сохранили свой первоначальный облик. Их лица были перекошены и печальны, окаменевшие кости — раздроблены, но слиты воедино. Марлы прислуживали невестам и жёнам Сармата-дракона, заплетали их, рядили в жемчуг и шёлк.

Кригга бы закричала, но её горло сдавило. Перед глазами поплыла кварцевая дымка: марлы обступили девушку кругом — затвердевшие платья, застывшие косы. Но их прикосновения были осторожными, пусть и холодными. Позже Кригга с трудом могла вспомнить, что происходило. Кажется, несколько марл расчёсывали её длинные волосы, остальные надевали ожерелья и кольца. Всё — тонкое, изящное, будто подобранное под юную, едва зацветшую Криггу. Марлы, как и все драконьи слуги, были разумны и

чувствовали каждую невесту. Они дали Кригге бежевое марево фаты, вплели в косу серебряные колокольчики. Под их пальцами её платье расправилось и заструилось, на груди заблестело светлое шитьё — цветы и птицы. Ничего громоздкого: прозрачный кварц, витиеватое золото, россыпи крохотных кристаллов.

Марлы увлекли Криггу дальше по чертогу. Тронули её губы и щёки терракотовой пастой, очертили бесцветные брови. Гранитными пальцами нарисовали точки и линии, складывающиеся в ритуальные символы на лбу и подбородке. Ноги Кригги подгибались — она бы упала, если бы не поддерживающие её каменные объятия. В горлах марл клокотал низкий, обволакивающий звук. Это было похоже на песню — страшную, древнюю. Свадебную.

Сармат-змей жаден до сокровищ, но больше монет и оружия ценит драконьих невест. Он — древнее божество, принимающее жертвы. И мужчина, превозносящий красоту: поволоку глаз, изломы плеч, лёгкий шаг. Ему нравятся даже несовершенства юных тел — созвездия родимых пятен, кривизна носа, полосы шрамов. Потому что больше всего Сармат-змей любит распутывать клубки чувств, свитые внутри у его невест. Раскладывать страх на обожание и трепет. Расслаивать ненависть на ужас и любовь. Он делает это, когда бывает человеком, не собирающим кровавую дань. И делает до тех пор, пока не заскучает, — а потом начинается самый длинный день в году.

Марлы позволили Кригге увидеть своё отражение в зеркале, заключённом в раму из переплетённых платиновых змей. Но даже сквозь наворачнувшиеся слёзы и марево фаты Кригга разглядела, что чуда не случилось. Это по-прежнему была она, деревенская девочка, пусть и одетая, как княжна. Нити жемчуга и золота, кусочки кварца и волны ткани, колокольчики в косе, алые знаки на лбу — это и восхитило её, и заставило проглотить вставший в горле ком. У драконьей невесты взгляд дочери гончара. У неё крестьянские руки, мужицкий подбородок и затравленно сторбленные плечи.

Кригге хотелось крикнуть, что марлам нужна не она. Пусть Сармат-змей берёт гуратскую княжну — в них обоих течёт языческая кровь владык. Она ему ровня, не Кригга. Но Сармат всегда брал своё — в нужное время.

Её оставили у зала, чей вход напоминал голову дракона — наросты из кровавого турмалина и медового сердолика. Зубы в распахнутой пасти были сталагмитами цвета слоновой кости. Кригга поняла, что это сердце Матерь-горы: под чешуёй, на которую она положила дрожащую руку, пульсировали нагретые самоцветы. Её фата зацепилась за один из зубов, лёгкая ткань затрещала, но Кригга даже не заметила. Она качалась, словно пьяная. Сердце ухало о рёбра.

Драконий зал дохнул пряными запахами и теплом, от которого Кригга вспыхнула, будто свечка. Её ступня утонула в ворсе тукерского ковра. Шаг, шаг, ещё один — звенели серебряные колокольчики в косе. Шелестели воланы фаты, стелющейся по полу. Вот твоя дань, Сармат-змей, забирай.

Кригга была послушна. Кригга покорялась чужой воле, и когда ей навстречу поднялся человек, она не зажмурилась. Не то что раньше, когда человек был драконом, вывернувшим столб из сухой земли. Когда она стояла, привязанная, плачущая, и степь под ней лопалась от зноя. Теперь Кригга не отшатнулась, а Сармат подошёл и аккуратно убрал фату с её лица.

— Здравствуй. — Уголок его рта приподнялся.

Девушка выдохнула.

— Ты немая? — спросил он с сожалением.

Как странно звучал его голос. В нём — рёв и бархат. Кипение и ночной шёпот. Из тех мужчин, что Кригге доводилось видеть, Сармат не был ни самым высоким, ни, пожалуй, самым красивым. Но за шестнадцать лет Кригга не встречала мужчин более пугающих, чем он, хотя Сармат говорил с ней тихо и ласково и поглаживал светло-русый завиток у виска. Его местами обожжённая рука скользнула по её щеке.

Семь рыжих кос, мягкая щетина и кольцо в носу, подпаленные брови. Тёмные глаза с медовыми змейками прожилок.

— Нет, — просипела Кригга.

— Как тебя зовут? — Большим пальцем он лениво размазал алый ритуальный символ на её лбу. Казалось, Кригга перестала дышать. Она выдавила ответ, и Сармат покачал головой.

— Слишком жёсткое имя для такой юной девушки.

Не всем достаются имена героев легенд. Сармат, Сар-мат — раскатистое, и глухое, и звонкое, с треском костров степных обрядов. Кригге хватило одного взгляда, чтобы понять: именно этот человек носил такое имя уже больше тысячи лет. Это он послал топор своему старшему брату, он ослепил младшего, и он срастался с костями дракона.

— Какие у тебя красивые волосы, Кригга, — промурлыкал Сармат, и в его ладони звякнули серебряные колокольчики. Густая коса Кригги обвила запястье. — Скажи, ты боишься?

Она сумела только кивнуть, а Сармат засмеялся, совсем по-человечески. И тогда напугал её тем, что сейчас не был ни воином, ни драконом — мужчиной, которому Кригга должна принадлежать.

— Зря.

В ушах Кригги зашумело, и бой крови смешался с воспоминанием о песне марл. Древние напевы, прекрасные и страшные, клокочущие внутри девушек, пропавших в горах.

Рукав платья медленно сполз с её чуть загоревшего плеча.

Хиллсиэ Ино свернула полотно и запустила прялку на новый круг.

===== Топор со стола II =====

Хортим Горбович вырос в степи и думал, что если однажды и увидит море, то это будет тёплое Перламутровое. Не северные воды, в которые его занесло по велению богов и людей. И не те моря, что ему пришлось пересечь, — прозрачные и беспокойные, расползающиеся на фьорды. Юноше тяжело дались первые годы изгнания: до них он ходил лишь на лодочке по реке Ихлас. Вместе с братом, пока Кифу не убили. Хортиму тогда было шесть лет, и в пятнадцать он оказался совсем не готов к долгому плаванию. Фасольд, выросший в одном из северных фьордов, смотрел на мертвенно-зелёного, перекинутого через борт княжича и хмыкал. Говорил, что скоро Соколя дюжина поднимет бунт: кому нужен предводитель, чьи слабости как на ладони?

Ошибся.

Фасольд не понимал, почему Хортима слушается его буйная Соколя дюжина. Каждый из людей княжича был сильнее его, и каждый это знал, но всегда покорялся. С детства Хортим упражнялся с мечом до кровавых мозолей, но боги не вложили в него искры воина. Он не блистал на ратном поле. Не был лучшим, как отец или Кифа, — он был обычным. Егс бешеный и игривый пёс Арха смог бы зарубить его и даже не устать. Но даже в первые годы, когда Хортиму было особенно плохо, Арха не думал о мятеже — шутил и вытирал со лба господина липкий пот. Сам он чувствовал себя так же уверенно, как и на суше, а Хортим

думал, что если Арха, серовато-прозрачный, с просвечивающими малиновыми сосудами, выжил под гуратским солнцем, он бы выжил везде.

Вслед за Архой к морю привыкла вся свора отчаянно-весёлых парней. Привыкли и люди Фасольда, те, что родились в Пустоши. Месяцы растянулись в годы, Хортим смирился, выдавливая из себя слабость, — но иногда море напоминало о том, что степной княжич в его власти. И что он здесь чужак.

Корабль отплыл на запад от Волчьей Волыни, и кормчий Ежи, посмотрев на волны, сказал, что будет шторм. Ежи был стар, а за правило встал ещё юношей и умел видеть бурю в спокойных перекатах воды — Хортим не знал случая, чтобы кормчий ошибся. Княжич сидел на сундуке у вёсел и чувствовал, как внутри поднимается сосущее чувство. Море менялось. Волны усиливались, раздувался полосатый парус. Тяжелела голова, а фигура Архи мелькала перед глазами.

— ...мы чуть не погибли из-за этого седого, тупого...

Хортим вздохнул и стиснул переносицу.

— Одно твоё слово, княжич, и мы с Латы подвесим его на мачту. Разрежем брюхо, а кишки скормим рыбам.

— Арха, быз адги, — Инжука спрятал лицо в ладонях. — Закрой рот.

Инжука — единственный из Соколей дюжины, кто не принадлежал к людям княжеств. Тукер. Желтокожий, с узкими раскосыми глазами и выступающими скулами, с тоненькой чёрной косичкой ниже лопаток. Как и Хортиму, Инжуке до сих пор было тяжело свыкнуться с морем. Он сидел рядом, и его начинало мутить.

— Одно твоё слово, княжич, и я выкину Арху за борт.

А тот усмехнулся: показался ряд почти бесцветных зубов в розовой мякоти десён.

— Попробуй, тукер.

Соколя дюжина часто переругивалась, но беззлобно. Ссоры Хортим пресекал. Волны подбросили корабль выше, чем обычно, и княжич остро почувствовал толчок. Его зрение рассеялось, а в горле встал ком.

— ...так что ты скажешь? Прикажи высечь эту облезлую скотину, которая когда-то была твоим воеводой. Хорошо высечь, от души. Я смогу.

Арха не пытался понизить голос. Перед глазами Хортима клубилась дымка, но он разглядел Скурата, насторожившегося на соседнем сундуке. Один из людей Фасольда — крупный, крепкий, с тёмной бородой, налипшей на ноздреватые после поветрия щёки. О, стоит Хортиму приказать, и Соколя дюжина растащит Фасольда на куски — за произошедшее у Мстивоя Войлича. То, что едва не стоило им жизней. Но Скурат и его соратники этого ни за что не стерпят. Соколя дюжина лиха и искусна, а душегубы Фасольда не хуже. К тому же их больше. Они дождутся ночи и начнут резню.

Какой Хортиму Гурат-град, если он не может удержать несколько десятков мужчин?

— Нет, Арха, — Хортим поднялся, опершись на плечо Инжуки. — Иди-ка погуляй.

Это Фасольд раздобыл ему корабль. И он дал ему воинов — недалеко уйдёшь с одной, даже самой бешеной дюжиной. Хортим не может без него обойтись. По крайней мере, пока.

«Ты будешь мудрым правителем, Хортим Горбович, — медленно сказал Мстивой, когда они остались наедине: юноша хотел извиниться. — Куда мудрее, чем твой отец. Не говоря уже о твоей сестре».

Малика, Малика... Наверное, это чудовищно — любить её.

Фасольд сидел недалеко от кормы и смотрел на море. Его волосы шевелил ветер.

Хортим подковылял к воеводе и рухнул рядом на сундук — сейчас к Фасольду не приближались даже его люди, будто он был прокаженным. Конечно, Скурат и другие не смели его осуждать, но в воздухе повисло тревожное ожидание. Фасольд не повернулся, лишь кивнул, а Хортим протяжно выдохнул: внутри мерзко щекотало.

«Я не понимаю одного, княжич, — Мстивой Войлич приложился губами к перстню-черепу. — Твой отец изгнал тебя, а значит, обездолил. Кто наследует гуратский престол?»

Малика.

«И ты собираешь поход, чтобы освободить соперника? — он усмехнулся. — Женщины уже правили Гурат-градом».

Хортим тогда молча покатал вино в кубке:

«У этих женщин была поддержка. У Малики нет никого».

Его жестокая, надменная, одинокая сестра никогда не умела заводить друзей. Фасольд страшно её любил, но не стал бы сажать на престол. Скорее бы уволок подальше от Пустоши, как добычу. И вывихнул руку, если бы она попыталась заколоть его ночью. Хортим знал: воевода ждёт, что возьмёт княжну за службу. Юноша не соглашался, но и не возражал, а Фасольд не спрашивал. Не говорить же всего. Хортим не даст Малике власти, но и не заключит в степную обитель, как их отец — мать. И едва ли бросит сестру Фасольду. Если им удастся вызволить Малику из чертогов Сармата, Хортим будет много с ней говорить. И только потом решит, что делать.

— Грядёт шторм, княжич, — воевода по-прежнему не оглядывался. — Сильный.

Хортим соединил подушечки пальцев и ребром приложил ладони к губам. Чуть согнулся, стараясь подавить дурноту. Они могли бы переждать этот шторм в Волчьей Воляни, но были вынуждены спешно покинуть город. Возвращаться к Мстивою — безумие, и к буре корабль оказался в открытом море. «Из-за кого же, Фасольд?»

— Не впервой, — он одёрнул себя. Значит, сам Хортим сделал недостаточно. Не предугадал действия воеводы. Не сумел остановить, не убедил быть сдержаннее.

Ежи стоял у правила и гаркал на воинов, снявшихся с вёсел, — командовал. Корабль — его детище, не юного гуратского княжича, которому следовало разобраться со своим воеводой. Перед штормом убрали парус и начали опускать мачту: голубое небо накренилось, и по нему расползлись курчавые тучи.

— И что ты будешь делать? — Фасольд наконец-то повернулся к Хортиму, обнажив зубы в животном оскале. — Натравишь на меня свою свору? — Сам-то не справишься. — Выгонишь в ближайшем порту?

Только попробуй, читалось в его взгляде. Я тебе не дамся.

— Мстивой Войлич — та ещё гадина. Я говорил тебе об этом, княжич, хотя не думал, что он окажется трусом. — Синеватая волна лизнула подвешенные щиты, захватила борт, но до настоящей бури ещё оставалось время. Фасольд сжал губы и перешёл на злой хрип:

— Проси кого хочешь, княжич. Пресмыкайся перед кем хочешь и веди своих людей на поклон, но...

«Попробовал бы ты так говорить с моим отцом. Он бы бросил твою седую голову к ногам Малики, а сестра бы брезгливо отшвырнула её каблуком».

Но казалось, что Хортим едва его слушал. Лишь смотрел на свои изуродованные, сплетённые у рта пальцы, опираясь локтями на колени. Дышал, склонив голову вниз, и его выступающие лопатки напоминали обрубленные крылья. Фасольд начал свирепеть, хотя о расправе судачила одна Соколя дюжина. Хортим не сказал ни слова.

Фасольд не стерпел бы от юноши никакого наказания, но Хортим знал, что он и без него был достаточно иссечён. Мстивой Войлич скользнул по плохо затянувшейся ране, и его слово располосовало набухший рубец. Мстивой говорил, и в его голосе даже Хортим слышал презрение отца и смех Малики — а ведь в это время он уже находился в изгнании. Фасольд присоединился немногим, но позже.

Картина складывалась, как кусочки мозаики на гуратских стенах. Фасольд посватался к княжне, и Хортим знал, что это был глупый поступок. Воевода зря надеялся. Он служил отцу много лет, не раз спасал ему жизнь, но Кивр Горбович никогда бы не отдал свою дочь колодезникову сыну. Малика тоже всегда верила, что их кровь древна и бесценна и её не пристало мешать с кровью отребья. За годы изгнания Хортим пролил достаточно своей крови. И убедился, что она ничем не отличается от крови Латы, младшего сына вельможи, или Архи, приплода крестьянки. Она была такой же, как кровь Инжуки, а Малика всегда считала тукеров если и не зверьми, то людьми второго сорта.

В тот день сестра превзошла саму себя: она высмеяла Фасольда жестоко, при всём дворе, при господах и воинах. А отец багровел от злости — его хватило лишь на то, чтобы позволить бывшему соратнику уйти.

— Тебя никто не тронет, — устало сказал Хортим. — И ты по-прежнему остаёшься моим воеводой.

Пока Хортиму девятнадцать, пока он изгнанный княжич мёртвого города и брат драконьей невесты, он будет считаться с Фасольдом и его людьми. Столько, сколько потребуется. С мгновение воевода смотрел в его поднятое лицо, а потом прикрыл неприветливые глаза и коротко кивнул.

Ежи закричал снова, и его голос унёс порыв ветра. Мачту опустили на палубу, сложили парус. Море било в щиты гулко и сильно, и в этом звуке Хортим не слышал ничего хорошего.

Кифу хоронили в подпоясанном кушаком халате — Хортим помнил, что узоры были вышиты золотом по изумруду. Мёртвое лицо брата закрывал шёлковый платок, но на ткани лежали две крупные монеты, обозначавшие провалы глазниц. Год за годом Пустошь обтачивала княжьих людей, и даже в Гурат-граде похороны напоминали тукерские.

Хортим оглянулся на Малику, стоявшую от него далеко, вместе с няньками. Женщинам запрещалось приближаться к покойнику-мужчине. Лица сестры он тоже не увидел: в год смерти Кифы Малике исполнилось двенадцать, и на погребение её, как взрослую девушку, закутали в алые покрывала, оставив лишь прорезь для глаз.

Божий человек читал над Кифой ритуальные слова. Медные сосуды в руках его помощников испускали клубы прозрачного ароматного дыма — Хортим стоял рядом и чувствовал курящийся ладан. Дым плыл над зарезанным княжичем, положенном в колесницу. Над кривыми саблями и украшенными сёдлами, устроенными у его ног. Над золотом, бронзой и убитыми конями и рабынями, готовыми отправиться вслед за господином. Над вырытым курганом и над их отцом, вцепившимся Хортиму в плечо. Он был чёрен от горя.

От ладана душно. Нечем дышать.

Хортим закашлялся, и в его горле забулькала вода.

— Княжич, — звали его сквозь оглушительный рокот. — Княжич!

Он разлепил веки и согнулся пополам — во рту было солоно. Лицо того, кто его звал, было похоже на лицо Кифы: зеленоватые глаза, тёмные волосы. И в предобморочной мути

Хортиму показалось, что его поднял за ворот его мёртвый брат.

Латы встряхнул его так сильно, что голова Хортима дёрнулась, а набрякшие пряди хлестнули по малиновым буграм ожогов. Сквозь пелену прорезался и голос Архи, подхватившего его поперёк спины. Арха кричал сквозь шум дождя и треск, но ноги Хортима снова подкосились. Простите, хотелось сказать ему. Вы достойны лучшего предводителя. Хортим держался столько, сколько мог, но потом, когда шторм раздулся до страшных размеров, его предало собственное тело. И сознание ускользнуло в душную тьму.

Палуба под ним тряслась, и на ней пузырилась вода. Завывал ветер, кто-то кричал. Одежда Хортима промокла насквозь — юношу бил озноб. Кифе было девятнадцать, когда он погиб, всплыла мысль. Но Кифа ушёл княжым сыном в шёлке, бронзе и ладанном дыме — колесница увезла его и убитых слуг в чертоги матери Тюнгаль. Хортим же умрёт крысой посреди бурлящего северного моря.

Кто-то, Арха или Латы, втащил его на сундук. И прежде, чем Хортима перевернули на живот, он увидел отвратительно красивое грозовое небо. Розовато-оранжевая полоса заката проглядывала сквозь тёмно-синие тучи, которые сходились с волнами, извергающими вверх столпы пены. Волны шипели, льнули к щитам, щипали борта и норовили распластаться по палубе, затопленной дождём.

Длинная чёрная прядь лезла Хортиму за зубы. Юноша кашлял, перегнувшись через сундук, но всё равно чувствовал, что захлёбывается. На его содрогающуюся спину обрушивалась ледяная вода, и от холода крутило кости. Из рта шёл пар. Это был самый долгий и страшный шторм за всё время его изгнания — северный, закатно-синий. Но ведь должен он когда-нибудь кончиться. Пусть он закончится, пусть закончится: сознание Хортима вспыхнуло и погасло.

Вернула его боль — юношу отшвырнуло от сундука. И тогда он начал бредить. Он снова видел Малику, ещё по-детски крупную, чересчур высокую. Видел отца и колесницу Кифы, которую рабы медленно опускали в пустой курган, чувствовал дым благовоний и слышал молебны, растянутые низкими мужскими голосами.

Кто-то вздёрнул его за шкуру и ударил в грудь до хруста в рёбрах. Вода вышла горлом, которое словно обожгло ледяной крошкой.

— Дыши, сучий сын, — рявкнул Фасольд ему на ухо. Воевода стоял на палубе крепко и держал Хортима, будто щенка. Княжич открыл глаза — мутные, осоловевшие — и, не видя, посмотрел, как языки волн взметались до неба. В это время ему на щёку упал первый сгусток. Не дождевая капля — холодный комок. Размокший снег, с одной стороны подмёрзший, как градина.

Плотные сгустки застучали по палубе, а ветер увлек корабль глубже в бурю. Хортим Горбович и его дружина шли ровно к западу, но шторм подхватил их и направил на север.

Когда море успокоится, ночь будет перетекать в бесцветное утро. Кормчий Ежи взглянет на блеклые звёзды и поймёт, что потоки унесли их туда, где Волчья Волянь кажется югом.

===== Зов крови V =====

Айхи-высокогорники верили, что половина года, отданная насмешнику-змею Молунцзе, завершалась осенним равноденствием. После него иссякало последнее тепло, и на вершины Айхаютама напознала ночь. Начиналось время Тхигме — вечная зима. Белый дракон крепко оплетал свою часть колеса года, и даже костры, не потухающие у идола его соперника Молунцзе, слабо постреливали в густом морозном воздухе.

В равноденствие тукеры тоже разводили огни у изваяния Сарамата-змея, но пылали они не так страшно, как в летний солнцеворот. Хотя пламя было такое же душистое: тукеры жгли в нём травы, чувствуя последний день Сарамата в году, — после равноденствия в степи поднимались холодные ветра, и Сарамат-змей, божество юности, тепла и богатства, ослабевал. Тукерские девушки расплетали волосы и рисовали знаки на своём теле, а потом плясали в пьяном дыме и прыгали через костры. Кочевники били в медные гонги, пели песни и поливали алтари горячей жертвенной кровью.

Княжьи люди не поклонялись Сармату, но праздновали день урожая. Собирали семена и опавшие листья, плели рябиновые амулеты. Ночи становились длиннее, и старицы старались подняться выше в горы, чтобы провести побольше времени с угасающим летним солнцем. Кригга выросла среди княжьих людей в тукерской Пустоши и знала смешанные обычаи: рисовала на коже символы, расплетала волосы, но делала обереги и гадала так, как на севере. В восточный угол дома ставила корзину с плодами — дань суровому Воршале, восточному ветру. Но вместе с сёстрами жгла тимьян у столпа Сарамата. Кригга не думала, что однажды встретит равноденствие на его широком ложе.

Наверное, она понравилась ему, раз Сармат послал за ней спустя неделю после свадьбы. Или пока не захотел звать к себе Малику Горбовну, Кригга не знала. Но она сидела на постели, перебирая рассыпанные по ней самоцветы и мелкие украшения. Рубаха сползла ниже ключиц, соскользнула с плеч. Распущенные волосы Кригги длинными светлыми прядями тянулись по ложу, и на них играл свет огня очага. В любимых чертогах Сармата всегда царило тепло.

Он лежал рядом, обнажённый по пояс, и не то дремал, не то наблюдал за девушкой из-под опущенных подпаленных ресниц. Кригга сидела к Сармату спиной и хотела верить, что он спал. Он не был с ней груб, и Кригга понимала, что ей нечего стыдиться — Сармат-змей её муж, и другого она никогда не узнает. Но неловкость и страх по-прежнему доводили её до оцепенения. Кригга боялась сказать не то, сделать не то, и единственное, что она сейчас могла, — играть с самоцветами. Это успокаивало.

После свадьбы от Кригги перестали прятаться марлы и сувары. Они же принесли ей подарки, новые одежды и украшения. Обручальное кольцо: бледно-золотой белоглазый дракон, свернувшийся на её указательном пальце. Кольцо было крупное и тяжёлое, а искусно вырезанные чешуйки царапали кожу. Кригга даже не заметила красоты и почувствовала бы огромное облегчение, если бы сняла его, но кто бы позволил?

Топаз, лал, бирюза. Кусочки малахита. Самоцветы перетекали из одной ладони Кригги в другую. В девушке накопилось столько страха, смущения и вопросов, что стало тяжело дышать.

— Если ты хочешь о чём-то меня спросить, — голос Сармата был одновременно и ленивый, и горячий, и ласково-насмешливый, — то спрашивай.

Он легко коснулся её спины под рубахой, а Кригга взмолилась, чтобы её тут же отослали прочь. Сармат не был ей неприятен, но она боялась ошибиться и вызвать его гнев. Самоцветы посыпались сквозь пальцы. Девушка осторожно повернулась и тут же подтянула к груди ноги в веснушках, запрятав их под подол.

Кригга хотела узнать о своей деревне. Хотела спросить, неужели летом дракон убьёт и её — она ведь послушна, она так послушна, зачем, зачем её убивать. Но понимала, что не задаст ни один из этих вопросов. Девушка заправила за ухо светло-русую прядь и стиснула край рубахи. Она бы никогда не поверила, до чего сейчас была хороша. Веснушчатая,

длинная, с громоздким подбородком, но окутанная теплом чертога волшебной горы. Покрасневшая, с полотном льняных волос. Кригга — несовершенный, но неповторимый самоцвет, чьи сколы, выемки и щербинки Сармат изучал из-под опущенных ресниц.

— Говори.

— Как часто ты бываешь человеком? Сколько дней в году? — В другом облики у него пара чудовищных лап, кожистые крылья и хребет, вдоль которого высились медно-красные наросты. Горло, выпускающее пламя и рокот, но об этом не хотелось думать.

— Восемнадцать, — Сармат приподнялся на локтях, чтобы его голова оказалась хотя бы на линии колен Кригги. — Двенадцать полнолуний — выходит шесть целых суток. Ещё по дню в равноденствия. В зимний солнцеворот — четыре. В летний, — здесь он заговорил с неохотой, — шесть.

Кригга умела считать только на пальцах, поэтому сначала посмотрела на свои руки, а потом кивнула.

— Это не так много.

Но Сармат знал, что эти восемнадцать дней тянулись, как вечность. И знал, что в толщине горы никому не удавалось определять время и рассказанное не ставило его под удар.

— О чём ты ещё хочешь услышать?

Кригге казалось, о множестве вещей. Но хитрец из старой легенды лежал с ней на одной постели, а она не могла придумать, о чём спросить. Не о том же, зачем Сармат выколол глаза Инголу, своему младшему брату, и обрёл его на голодную смерть. Почему хотел власти так, что окрасил багровым плодородные пашни.

— Как... когда тебя превращали...

— Ах, обряд, — Сармат улыбнулся. — Князьи люди думают, я стал драконом после того, как меня искупали в человеческой крови. Тукеры — меня окунули в огонь. А что говорили тебе?

— Шаманы айхов принесли в жертву дочь вождя племени, — Кригга опустила голову. — И вылили её кровь в огромную жаровню, куда положили тебя, завёрнутого в саван. Тогда была ночь, а наутро саван прорвало острое крыло.

Сармат засмеялся. Сел на ложе и посмотрел на Криггу, придерживая свой подбородок двумя пальцами.

— Разве это не так? — смутилась она.

— Если я полью очаг человеческой кровью, а потом посажу туда тебя, ты станешь драконихой? — Улыбка Сармата сияла, словно кривое лезвие. Мужчина подмигнул, показывая, что шутит.

— Нет, но... шаманы говорили особые слова? — Кригга заёрзала, а потом выдавила: — Там ведь была кровь?

— Была. Правда, не человеческая.

— Жертвенного зверя? — Бесцветные брови Кригги взметнулись вверх прежде, чем Сармат ответил. — Или...

Она охнула, а Сармат пожал плечами.

— Шаманы айхов верят, что мир — это колесо. В нём не появляется ничего нового. Души перетекают из одного тела в другое в бесконечных потоках жизней. Сейчас ты человек, но был мулом, а после смерти станешь мхом. Если где-то умирает медведь, в ином месте рождается медвежонок. Никто не должен вмешиваться в ход колеса и смещать

временные пласты. Разве что сами шаманы — однажды они решили помочь больному князю из древнего Халлегата. Знаешь, маленькая Кригга, это был худший человек из всех, кого я знал.

Сармат поднялся с постели, и Кригга, не мигая, смотрела, как он подошёл к дубовому столу, как взял кубок и пригубил из него, как приглушённый свет прочертил дорожки на его спине.

— Он был стар, тот дракон. Очень стар, и мы с Ярхо застали его в год спячки — нашли в просевшей пещере в южных топях. Драконы обитают далеко на севере за Волчьей Волынью, и я не знаю, почему этот гнезвился в тепле. У него была серо-зелёная чешуя, которая местами лопалась и облезала до мяса. Зубы крошились, как рыхлая порода. Глаза ослепли от старости. Мы убили его легко.

Сармат поставил кубок, а Кригга вздрогнула.

— А потом я принёс шаманам айхов драконьи кости, плоть и кровь. И они начали обряд. Да, они окунали меня в огонь, да, они выводили кровавые знаки на моём лице, но сначала сшили мои руки с драконьей лапой. Вбили мои плечи в драконьи суставы, вырастили слои мышц. Это был страшный и долгий обряд, маленькая Кригга: в мои глазницы вставили глаза дракона, мой язык вытянули, раздвоили и положили в пасть.

Он обернулся, и Кригге показалось, что медовые прожилки у его зрачков напоминали нити молний.

— Шаманы... — проблеяла она. — Почему согласились?

— Мой брат Ярхо всегда был неразговорчив. Но порой его меч и клинки его людей куда красноречивее меня, — Сармат снова сел на край постели и, протянув руку, пропустил сквозь пальцы волосы Кригги.

А девушка до последнего надеялась, что Янгири-хайналь и его каменная орда — это выдумка. Едва ли не более страшная, чем краснохвостый дракон. Сармат будто прочитал это на её лице и нежно коснулся щеки.

— Не бойся. Ярхо редко показывается в этих чертогах. А если он и придёт, то не причинит тебе зла. Кто вообще может обидеть драконью жену?

Его обожжённые пальцы сплелись с её, липкими от волнения. Кольцо в крыле носа стало почти медным в отблеске огня.

— Что мне ещё тебе рассказать? — Сармат знал, что Кригга не видела, как он жёг её деревню. Может, лишь дым занявшейся травы: сначала он унёс девушку в сокровищницу, чтобы не ранить. — Или ты расскажешь о себе?

— У меня нет историй, достойных господина, — тихо ответила Кригга. И Сармат не стал её заставлять, только погладил по шее, но потом, незаметно для неё, всё равно выудил слова о деревне Воште, о сёстрах и старой бабке, о девичьих гаданиях и тукерах из глубин Пустоши. А Кригга, забыв обо всём, слушала про дружинные залы Халлегата, про ратные поля и ладьи, плывущие по пенящимся морям. Про полёты над Княжьим хребтом и про искусных кузнецов, живущих в подземельях Матерь-горы. Про печальных марл и низкорослых суваров, готовых исполнить любое желание жены Сармата-змея, но лишь до летнего солнцеворота.

Когда его губы коснулись ключицы Кригги, девушке снова захотелось сжаться в комок.

Малика, Малика, дикий мёд, жгучее солнце. Киноварно-красная княжна золотого города. Её обрекли плутать в горе, но оставили в палатах платья и венцы, браслеты и

ожерелья. Ей давали лучшие пищу и вина, присланные Сармату из ближайших городов и хранившиеся в холодных пещерах. Как будто что-то могло скрасить её бесконечное скитание. Сармат и его прислужники намеренно долго держали Малику в одиночестве — хотели, чтобы на смену её ненависти пришла граничащая с безумием тоска. Чтобы она остыла, выплакалась, ослабла.

Но от её ненависти нет никакого откупа.

Если Малика отказывалась покидать старый чертог, когда ей открывалась новая дверца, с необтёсанных потолков сыпалась каменная крошка. Потолки, выложенные минералами, начинали дрожать. Поднимался дребезжащий гул — он усиливался до тех пор, пока Малика не подчинялась Матерь-горе. За это время Малика научилась хорошо понимать Матерь-гору, изуродованную, проклятую, омертвевшую княгиню. Она была слепа и глуха, хотя Малика помнила, как та разъярилась после её фразы об убийстве Сармата. Нет, гора не слышала княжну: проверяя, она и кричала, и ругалась, и грозила возвращением Хортима, но не получила ответа. Но тогда Малика уже выбилась из сил. Её ненависть свилась внутри, дожидаясь своего часа, а вначале молодая женщина будто кипела. Так Малика решила, что Матерь-гора её лишь чувствует. Находит внутри себя, ощущает слоями стен пульсирующий человеческий сгусток, направляет, куда ей угодно. Но улавливала она только особенно горячие, острые, почти осязаемые кожей слова.

Так Матерь-гора водила Малику по палатам, сквозь вытесанные арки и узкие щели, украшенные жёлто-зелёным хризолитом и белым ахролитом. Поднимала княжну и бросала в самые недра.

Спускаясь по винтам особенно длинной и массивной лестницы из кремowego оникса, Малика почувствовала холод. В Матерь-горе всегда было зябко, и княжну плохо согревали десятки лампад и огонь, мерцающий в изваяниях трёхголовых драконов, но сейчас с дыханием Малики пошёл пар. Руки, державшиеся за перила в волнообразных разводах, свело. Ноги подкосились, а зубы застучали.

Лестница вывела её в тесный тёмно-серый зал, перераставший в остро скалящийся грот. Как змей, грот изгибался и плавно уходил ещё глубже — постепенно Малика оказалась по щиколотку в ледяной воде. Она бы воспротивилась идти дальше, в неизвестность, с намокшей юбкой, но чувствовала, что это место особенное, и его открыли не просто так. Грот был прекрасен естественной и мёртвой красотой: глыбы кварца и соли, дымчато-голубая хмарь. Он расширялся с каждым шагом, и Малика, не дыша, смотрела на минералы, лежащие под прозрачной водой, оглядывала карстовую бахрому наростов и мягко изогнутый свод.

Пройдя дальше, она увидела ряды хрустальных домовин.

Сначала Малика решила, что бредит из-за озноба. Но в домовинах спали девушки. Они лежали в тяжёлой парче и лёгком шёлке, в их ногах гнездились жемчуга и рубины, а их свадебные платья и венцы, рясны и бусы делали их похожими на сказочных мёртвых княжон. Малахитово-зелёный, молочно-белый, гранатово-красный — Малика поняла, что эти девушки, все семь или восемь дюжин, действительно были мертвы, и давно. Стынь грота уберегла их от тлена. И каждую, каждую из них одели особенно, так, что погребальный наряд оживлял черты их угасших лиц. Девушки цвели здесь, в ложбине из хрусталя, робкие и гневные, нежные и звонкие. В бархате и серебре, мехах, меди и изумруде.

Все — жёны Сармата-змея. После гибели марлы уволакивали их в недра Матерь-горы, где расчёсывали и обряжали в дорогие одежды. Каменные девы печально и любовно

устраивали госпожей-на-год в хрустальных домовинах, собирая их истончавшуюся красоту.

Малика захватила ртом морозный воздух. Плеск воды разнёсся зычным эхом — княжна почти не чувствовала ног, но подошла к мёртвым змеиным жёнам. Она протянула руку к ближайшей домовине, и плёнка фаты, лежавшая на одной из кос девушки, хрустнула под её пальцами.

Она видела много лиц. Белые, желтоватые, смуглые, со вздёрнутыми и горбатыми носами, с острыми и покатыми изломами губ. У них были большие и узкие глаза, ярко очерченные скулы и круглые щёки, веснушки и родинки — царственные, нежные, надменные лица. Малика думала, что в другом месте такое смешение кровей и черт не показалось бы ей привлекательным, но сейчас она смотрела на девушек, как на огранённые драгоценные камни. Она не знала, чья рука ловко спрятала их раны под тканью и украшениями.

Ты хочешь напугать меня, Сармат?

Вельха-прядильщица. Лабиринты горы. Хрустальные домовины. Но Малика видела, как всё, что ей было дорого, плавилось и обращалось в пепел. Как предводитель каменных воинов пробил грудь её отцу. Она не испытала суеверного трепета, когда лента одной из первых жён рассыпалась в её ладони. Расслоилась оледеневшая серьга в виде пурпурной грозди — прелесть мёртвых дев не терпела тёплых прикосновений.

Покажи мне своего брата.

Башмачки Малики промокли насквозь, и возвращалась она, стискивая плечи, с дрожащим подбородком и синими губами.

Покажи мне его.

Выйдя в тесный зал, княжна опустилась на нижнюю ступень ониксовой лестницы и выжала набрякший подол.

Покажись мне сам, человеком или драконом.

Больше Малика Горбовна никогда не могла найти путь в этот грот.

===== Хмелевый князь III =====

На подъёме к Недремлющему перевалу царила осень. Занимался октябрь, который Лутый любил: шуршащие ковры красно-жёлтых листьев и поглядывающая сквозь них земля, слегка нагретая слабым солнцем. Местами её вспарывали хребты скал. Берёзы стояли в медово-алом, пусть их кроны и редели с каждым порывом ветра. Лутому казалось, что даже туманно-голубые горы у основания имели ржавую каёмку.

Караван остановился на отдых, последний безопасный в этом пути. Отныне им не будет покоя ни на перевалах, ни в южных топях у драконьего логова. Лавины, разбойники, звери — кто знает, что ждёт их дальше? Никто, и воины из каравана старались насладиться ускользящим мгновением. Особенно уютно урчала похлёбка в котлах, и приятно лились приглушённые голоса, за которыми был слышен хруст листьев. Лутый и его приятели, расположившись на тюках у берёз, негромко переговаривались, наблюдая, как кто-то по очереди метал в дерево ножи. Мужскую компанию разбавляла одна Та Ёхо: скрестив ноги, она сидела рядом с Лутым, легко смеялась и небрежно перекидывала жидковатые волосы за шею. От неё пахло почвой, хлебом и мехом, и она подбрасывала костяной ножик, который обычно носила за голенищем сапога.

Лутому нравилась Та Ёхо. За открытость и умение ставить себя не женщиной, но воином и другом, за необычное скуластое лицо и истории о родном племени. Говорили, в Черногород Та Ёхо привела Совьон, и впервые Лутый познакомился с айхой в день отъезда,

но уже спустя месяц называл её соратницей. Та Ёхо его — Хийо, по имени хитрого паренька из высокогорных сказок, который вырвал перо у Птицы Рокот, а за зуб яка выменял себе невесту. Выговорить его прозвище айха не могла.

Но Та Ёхо нравилась не только Лутому. Оркки Лис наблюдал за женщиной и кругом своих людей чуть издали, прислонившись плечом к одной из берёз. Поглаживал бородку и о чём-то размышлял — Лутый не раз замечал, каким взглядом он провожал Та Ёхо. Пристальным, прищуренным, с завистью тому, кто укладывал её на ложе. Лутый был многим обязан Оркки Лису, и его связь с Та Ёхо стала достаточно дружеской, чтобы он сумел вынюхать всё, что требовалось Оркки. Мужчина понимал, но ни о чём не просил, и Лутый решил не лезть. Пока у него и так была цель — узнать о Совьон и драконьей невесте. Та Ёхо либо сама знала мало, либо не хотела говорить даже Лутому, и поэтому юноша хватался за любую возможность.

Когда ножи метал Корноухий, за спинами наблюдателей выросла фигура вороньей женщины. Совьон шла к Рацлаве — девушка и её рабыня сидели на пёстром покрывале в сердце ставки, когда воины расползлись к краям. Женщина ничего не сказала и никого не окрикнула, не замедлила шаг. Но Лутый отвернулся от Корноухого и дерева, испещрённого следами лезвий, поднявшись ей навстречу.

— Здравствуй, — сказал он миролюбиво. Совьон держалась обособленно, но должен же кто-то предложить ей присоединиться. — Не хочешь поиграть с нами?

«За слепой драконьей невестой следит целый отряд, и ты можешь отдохнуть».

В их кругу немногие бы обрадовались Совьон, может, лишь одна Та Ёхо. Но Лутый знал, что у него, как у любимца Оркки, было негласное право звать того, кого он считал нужным. Ворон на плече смотрел мудро и хищно, а синие глаза женщины поклёвывали макушку Лутого сверху вниз: она была выше юноши. Совьон остановилась, перевела взгляд на Корноухого, который, заведя руку, готовился к новому броску.

— Мой кинжал не для игр, — сухо ответила она и собралась уходить, но Лутый вновь преградил ей путь.

— Тогда возьми мой, — предложил он ещё более миролюбиво, вытаскивая нож из-за пояса и протягивая Совьон рукоятью вперёд. — Если не брезгуешь.

Ему казалось, что все глядят на них. Но Лутый не оборачивался, чтобы проверить, лишь стоял и мягко улыбался, зная, что в его приглашении не было ничего дурного или обидного. Совьон смотрела на него дольше, чем следовало бы, и в какой-то момент её зрачки сузились. Она скользнула глазами куда-то в сторону Оркки Лиса.

— Нет, — и, пресекая вопрос, добавила: — Я не притрагиваюсь к чужому оружию.

Она двинулась с места, а Лутый посторонился, вежливо склонив голову, и не поднимал до тех пор, пока женщина не ушла. Затем пожал плечами и вернулся к приятелям.

— Мне есть двадцать шесть зим, — Та Ёхо ущипнула его за руку. — Сов Ён быть старше на восемь, но казаться, что на восемьдесят. До того она есть загадочна.

— У меня тоже есть такой друг, — кивнул Лутый. Слушая его, Корноухий вытащил остриё из коры и лениво прислонился к берёзе. — Он старше меня на шесть зим, а кажется, что на шестьдесят. Он не загадочный, просто ворчливый, как дряхлый дед.

Кто-то из парней засмеялся.

— Ты нарываешься, Лутый, — Скали посмотрел на него исподлобья. Его чёрные глаза-дыры опухли и стали красными. — Рожу начистить?

К Скали и в лучшем его расположении духа старались не подходить. Но сейчас он был

невывисавшийся и мятый, а, значит, злее обычного. Скали единственный не метал ножи, только сидел на тюках, разложенных полукругом у исполосованного дерева, и если не дремал, то жалил взглядом.

— Ну, не обижайся, — Лутый вытянул шею, заметив, что Оркки Лис исчез.

И его наставник, и Скали были суеверны. Но Оркки доверял приметам, а Скали предпочитал видеть беды в людях. Болтали, он обладал чутьём и ощутил неладное даже у Русалочьего потока за пеленой своего женоненавистничества, хотя поначалу и отрещивался. Лутый не знал, как к этому относиться: Скали ныл постоянно. Неудивительно, если что-то сбывалось. Сейчас он давил на Лутого рассказами про зверя, не то безрогого лося, не то лосиху с посеребрёнными копытами, которого видел под каждой ущербной луной и считал оборотнем. Этой ночью Лутый согласился пойти с ним и проверить, и они промаялись долго, но не отыскали ни следа. Лутый решил, что Скали просто бредит, а тот вспыхнул.

Они не учли, что вышли ловить оборотня уже в новолуние.

Лутый успел выспаться, а Скали выглядел разбитым настолько, что юноша засомневался, не упадёт ли тот с коня. Но решил ничего не говорить о его слабости, чтобы не подорвать ещё больше. Грядёт тяжелый переход, Лутый это знал. И понимал, что дойдут не все, хотя об этом думать не хотелось. Особенно под шелест медово-красной октябрьской листвы на красивом подъёме. Лутый немного сполз с тюка на льнущую к земле жёлтую траву и посмотрел на громады гор единственным глазом.

Скоро пришлось сниматься в путь.

Свирель резала её пальцы, но раны лопались, растекаясь в стороны и захватывая ладони. Сегодня Рацлава не могла найти себе места. Правая рука горела сильнее обычного, чесалась от лоскутков и кровоточила так долго, что Хавтора начала беспокоиться. Она причитала на тукерском, и её голос дробился: телега тряслась, поднимаясь к перевалу, так же, как на предгорье.

— Это странная прореха, гар ину, — мутно заметила Хавтора. Рацлава и сама чувствовала, что странная. Она уже была знакома с такими ранами, правда, раньше они напоминали точки от мышинных зубов или клювов маленьких птиц. — Она похожа на жэнхо, дугу.

Хавтора, выросшая среди кочевников в Пустоши, прекрасно знала, на что была похожа эта рана. На след от лошадиного укуса. Но рабыня так ничего и не сказала прямо, продолжая хлопотать над Рацлавой, которая сильно побледнела. Синие жилки, проступающие под кожей, придавали ей сходство с мрамором. Порез серпом изгибался от её пальцев до мякоти ладоней, глубоко врезался расходящейся влажной щелью. От неё заново открывались и недавние раны — Рацлава даже обрадовалась, что ничего не видит.

Кони оказались ей не по зубам. Она самонадеянно решила вырвать нить из чьей-то кобылки и поплатилась за это. Боль была такой резкой и обжигающей, что Рацлава заплакала, хотя, казалось бы, давно привыкла, что её руки лопаются, выворачиваются и крошатся. На её нижней губе свирель оставила крупную язву, которая мгновенно взбухла. Пришлось прекратить рыдать — выходило больнее.

Как она собиралась ткать из людей?

Хавтора продолжала что-то говорить, оборачивала её пальцы новым слоем ткани, а Рацлаве хотелось выть от отчаяния. Ей понадобилось пять лет, чтобы научиться управлять

мышами, и она не могла ждать ещё пять в надежде подчинить себе кого-то покрупнее. Надо было браться за хищных птиц, но Рацлава покрывалась липким потом при мысли, что свирель, как клюв орла или ястреба, проткнёт её ладонь насквозь. Девушка постаралась привести себя в чувство: в конце концов, она уже много раз переживала этот страх боли. Переживёт и ещё.

«Оставь, пастушья дочь, — пять лет назад говорила ей древесная волшебница Кельхе, — оставь и уходи, ты же знаешь, это не твоя юдоль».

Колдунья Кельхе давно жила на свете и искала себе учеников, которым могла бы передать знания и помочь сделать собственную свирель. Волшебную, как и её, вырезанная из кости жениха, захороненного во фьорде, — Кельхе любила его, когда ещё была смертной девушкой, не деревом. К ней приходили многие, но неизбежно уходили ни с чем. Колдунья рассказывала, что из всех странников была лишь одна истинная певунья камня, в чьи пальцы свирель влилась так же, как в её руки-ветви. Свирель не причиняла ученице боли, по одному её зову выдувала ветра и плачи, и девушка обещала сравняться силой с самой наставницей, но одной морозной ночью слегла и не проснулась.

Эта девушка умерла задолго до того, как Рацлава пришла к колдунье. И она была добра и талантлива, но Рацлава её ненавидела. За дар — она не сделала ничего, чтобы его получить, лишь родилась. До чего же несправедливо.

«А справедливо ты поступила с Кельхе?» — уколола мысль, и Рацлава поёжилась. Она слышала крик древесной волшебницы множество раз во снах и только один — наяву. В зимний день, когда Кельхе была погружена в спячку, а они с Ингаром украли свирель, вросшую в её грудь: брат рассёк кору ножом. Рацлава взяла свирель, и та вывернула ей пальцы до тошнотворного хруста, но девушка уже её не выпустила. А Кельхе кричала, так дико кричала, и наслала на них колдовских птиц, прикорнувших в её опавших рукавах. Их клювы взрыли Рацлаве шею и едва не выбили глаз Ингару — с тех пор брат слегка косил. Кельхе умирала мучительно и долго, из её тела лился древесный сок и сыпалась сгнивающая труха, а Ингар и Рацлава уплыли на лодочке, отбиваясь от вопящих птиц, и никогда в то место не возвращались.

— Тебе плохо, ширь а Сарамат? — обеспокоенно спросила Хавтора, а Рацлава рванулась вперёд и, нащупав проём окна, отдернула занавеску. Воздух становился холоднее. Всё тяжелее было дышать. Рацлава разевала рот, как выброшенная на берег рыба, и сжимала свирель на шнуре так, что слезились глаза.

— Ширь а Сарамат!

Ей было страшно. Впервые за дни пути ей было очень, очень страшно от того, что она ничего не успеет из-за своей бездарности. Не стоило сегодня вспоминать ни о Кельхе, ни о её одарённой ученице, ни об Ингаре.

— Что-то случилось? — Огромный конь Совьон поравнялся с телегой, и женщина наклонилась к Рацлаве. Её голос звучал спокойно, и пахло от неё полыньёю и походным дымом. Это действовало отрезвляюще. Рацлава втянула в себя воздух и заставила руки перестать дрожать.

— Нет. Всё в порядке.

Она чувствовала, что Совьон продолжает на неё смотреть. Наконец нечто трепыхнулось на её плече, и женщина сказала:

— Хорошо. Если понадобится, зови. Я здесь.

Рацлава задернула окно и откинулась на подушки. С минуту сидела, не шевелясь, а

потом воскресила запах, который почувствовала снаружи: горькая трава, дым и — она уловила это даже не носом, а тем, чем расслаивала людей на нити, — уплотнившаяся затхлость гнили. Значит, рядом ехал тот больной молодой мужчина. Мог ли он оказаться слабее лошадей и птиц? Сегодня он устал, и его нити едва держались вместе. Если попробовать поддеть их, хотя бы кончиками пальцев, пока он не отделился и не отдохнул...

Рацлава осторожно коснулась язвы на нижней губе.

Лутому не нравилось место ночлега, хотя они поднялись не так уж высоко. Сейчас тёмное небо казалось ему тяжёлым и по-нехорошему исполинским, способным раздавить их одним краем. Но юноша бывал на перевалах и всегда считал горы волшебными прекрасными — он не понимал, почему сейчас картина его не радовала. Может, дело было в недостаточной высоте. Или в непонятном, неровно-чернильном цвете неба, нависшего над подъёмом. Или в пьяном теле, навалившемся на его плечо.

У них не было достаточно напитков, чтобы опьянеть, Тойву следил за этим. Но Скали хватило нескольких глотков подогретого вина за ужином, на котором он снова почти не ел. У него осоловели глаза, отнялись ноги и язык, как если бы он выхлебал не меньше бочонка. Лутый заметил это раньше всех и увлёк его подальше от круга воинов, чтобы уложить спать.

— Не пить ума не хватило, да? — процедил Лутый, перехватывая Скали покрепче, — тот норовил выскользнуть на землю. Хмель, соединившись с болезнью и недосыпом, опустошил его до неузнаваемости. Скали был совершенно беззащитный, совершенно одурманенный. Пытался что-то лопотать, плакал и рассказывал, хотел обнять Лутого за шею и уснуть прямо на ходу.

Боги, хоть бы они не встретили Тойву.

Но сердился Лутый только для виду. Его бросало в дрожь, стоило взглянуть на размякшего Скали. До чего же его выточила болезнь, как изуродовала. И дальше будет лишь страшнее: Совьон бросила, что он умрёт до зимы, а воронья женщина взвешивала каждое слово.

— Лутый, — прохныкал Скали. — Лутый, поговори со мной.

В юноше боролись жалость и желание заткнуть ему рот. Кроме Тойву были ещё его братья по оружию, которым вряд ли бы понравилось, что по лагерю бродит вусмерть пьяный человек.

— Подожди, — шепнул Лутый и тревожно огляделся. Они проходили мимо шатра драконьей невесты и женщин, и до их палатки было рукой подать. Лутый услышал, что из шатра доносилась музыка. Бесплотная, едва уловимая, словно воздух над предгорьем. Юноша даже не смог понять, печальная она или веселая: свирель играла бесцветно и очень тихо.

— Хватит, — пожаловался Скали, и его язык заплетался. — Убери... слишком громко. Громко. Хватит.

Лутый понял, что теперь он точно бредит. Скали даже попытался зажать уши, но юноша силой протацил его мимо шатра — краем глаза он заметил, что полог колыхнулся. Не хватало ещё свидетелей. Лутый сдержанно выругался и повёл шатающегося приятеля дальше.

— Не хочу слушать, — пробормотал Скали. — Громко.

И тогда Рацлава вытянула из него первую нить.

===== Песня перевала VI =====

Виток за витком караван медленно полз по серпантину. Громады камня были светло-

серыми, окутанными морозной поволокой. Ничего не осталось от ржаво-золотого, царившего ниже октября: клубясь, крапинки снежинок покалывали лица и шеи. Караван поднимался, и Тойву видел, как на ветру хлопало их длинное знамя. Рдяное, будто кровь.

Тойву никогда не был чересчур суеверен. И не боялся ни сглаза, ни дурных пророчеств, но сейчас, придержав коня, посмотрел на Совьон. Теперь она ехала рядом с ним — Тойву разглядел, что на её смоляных бровях оседало мелкое снежное просо. Зачем он повернулся? Ждал, что в её чертах увидит предсказание — ответ, что ждёт их на Недремлющем перевале? Но Совьон больше занимала дорога, узкая тропа, змеящаяся кверху. Знамя реяло, и расплзающиеся с одного конца нитки походили на мягкие трещины жил. Каменные валы вокруг были присыпаны колючим снегом, а небо терялось в белых облачных вихрах, смешанных с пронзительно-голубым и сизым. Горная лента вилась, петляла, скручивалась в тугую спираль, и колёса телег тяжело ухали. Тойву вдохнул глубже, и воздух, пощекотавший его горло, был ледяной.

Ему бы лишь отдать Сармату его богатства и невесту. Лишь бы вернуть людей, ехавших за его спиной, живыми и целыми — он не просит у богов ни славы, ни почёта. Отряд и так уже потерял старого Крумра, и чтобы защитить остальных, Тойву, уверенный, что от судьбы не убежишь, Тойву, держащийся в стороне от ворожбы и никогда не любопытствующий, что грядёт в будущем, готов прислушиваться к предостережениям Совьон. Он не знал, была ли женщина пророчицей. Не знал, откуда она, хотя никто из каравана не говорил с ней больше, чем он. Совьон не роняла слов попусту, и на её плече сидела умная хищная птица, и синий полумесяц на скуле был ущербным — этого Тойву хватало.

— Где мы остановимся на ночлег? — Голос Совьон рассёк снежную муть. Прохладный и твёрдый, он царапнул ухо. Тойву ответил: воины, которых он выслал вперёд, узнали, что выше дорога расширялась, пробегая по плоскому выросту горы.

— Там и разобьём лагерь.

Он тяжело откашлялся, а женщина кивнула и больше не сказала ни слова.

Караван ехал дальше: тянулись ряды людей в кольчугах, а на заснеженной тропе подрагивали телеги. Тойву различал хрип коней и хруст наледи, смешанный со свистом ветра, но заметил, что больше дня не слышал свирели. Раньше драконья невеста играла, сидя в своей повозке, — её музыка могла отвлекать, но Тойву насторожило и молчание.

Знамя плескалось в холодные кудри облаков, за которыми мерк прозрачный закатный свет. Голубизна под ними начинала таять — темнело здесь быстро, но каравану удалось добраться до места вовремя, ещё до ночи. Тойву спешил и прочистил горло: внутри что-то неприятно саднило. Его люди споро разбили палатки, поставив вплотную друг к другу, и, взяв хворост из запасов, разожгли жёлтые огни. Теперь не устраивали ни больших костров, вокруг которых собирался отряд, ни ужинов под открытым небом. Их лагерь сжимался, стараясь слиться с горами. И после подъёма у воинов оставалось немного сил.

Тойву сидел на маленьком сундуке возле своей постели, когда в палатку, согнувшись вдвое, зашла Совьон. Мужчина уже был в одних портах и неподпоясанной рубахе, а Совьон даже не сняла плаща — иногда Тойву казалось, что она спала даже меньше, чем он.

— Я слушаю, — его голос треснул, и предводитель снова откашлялся. Совьон покачала головой, когда Тойву начал подниматься, и спросила коротко:

— Заболел?

Тойву выглядел утомлённым, но на его прямых плечах лежали рыжие, ещё не расплетённые две воинские косы, и широкая грудь вновь стала вздыматься ровно и

спокойно.

— Я? — он усмехнулся. — Этот холод для меня — не холод. Меня не свалит кашель.

— Кто знает? — ответила Совьон просто. — Переход ещё впереди.

Серо-голубые глаза Тойву встретились с её, синими. Мужчина, не отвечая, почесал бороду на шее, а Совьон достала из-за пояса холщовый мешочек. Вытряхнула на ладонь бечевку с круглым деревянным оберегом: на нём был выжжен неизвестный Тойву узор, огибающий колесо, в центре которого сидела перечерченная птица.

— Возьми.

— Я ношу только один оберег, — сказал Тойву мягко, но пальцы Совьон успели вложить подарок прежде, чем мужчина сжал кулак. — И зарёкся носить другие.

— От других женщин? — Совьон вскинула бровь. — Я не соперница твоей жене, предводитель. И пусть тебя хранят и её любовь, и верность, и оберег, который она сделала, но...

Я знаю вещи сильнее.

— ...весь отряд пожелал бы, чтобы ты прислушался ко мне сейчас.

Тойву посмотрел на неё — заходили желваки. Брови нахмурились, но наконец мужчина кивнул.

— Спасибо.

Когда Совьон ушла, он, помедлив, снял с шеи оберег жены и обвил запястье шнурком, на котором тот висел. От подарка Совьон веяло лесом, можжевельником и снегом, дымом и осязаемым теплом — Тойву знал, что его нос не мог уловить всё это. Тепло амулета Совьон было теплом крови и горячих следов, но не уютного дома. Тойву вновь вспомнил жену, и её русые косы толщиной в его кулак, и лебяжью кожу, пахнущую яблоками и сеном.

Он проснулся затемно и заметил, что оберег Совьон сгнил на его груди, а кашель исчез.

Рацлава баюкала свои руки. Грудно мурлыча нечто, похожее на смесь песни и плача, качаясь от боли. Телега качалась с ней в такт, а белые лоскутья прилипли к ладоням багряным пластом.

Зачем ей это? Без свирели она никогда бы не стала невестой дракона. Почему Рацлава не может жить так же, как все девушки? Почему бы ей не печь пироги и не шить платья в отцовском доме, зная, что однажды появится пастух, купец или усталый с дороги воин — тот, кто заплатит за неё выкуп и возьмёт в жёны? Что такого есть у её сестёр, дочерей кузнецов и знахарей, князей и землепашцев, чего нет у неё?

Зрячие глаза.

Почти уткнувшись лбом в колени, Рацлава издала протяжный звук, то ли стон, то ли смех. Только свирель могла дать ей глаза и силу. Она — её клинок, её воздух и путеводная нить. Выкуп? В жёны? Свирель дала ей жениха, богатого и сильного, и не её вина, что скоро тот станет вдовцом. И не вина свирели, что боги обделили Рацлаву даром.

«Зря ты забрал меня из того леса, Ингар».

— Ширь а Сарамат... — Хавтора подалась вперёд. — Если хочешь, я могу позвать Жамьян-даг.

Жамьян-даг — богиня войны у тукеров, и так Хавтора называла Совьон. Старуха говорила, что Жамьян-даг ездит на колеснице, запряжённой двумя лютыми гнедыми конями, и её воле послушны степные коршуны и вороны.

— Нет, не зови. — Рацлаве казалось, что Совьон сразу поймёт, почему её раны

заживают ещё хуже, чем раньше. И случится непоправимое.

Она извлекла из Скали две нити, и на каждой её руке пролегло по бреши. От пальцев кожа лопнула до запястья. Рацлава бы получила такой порез, если бы продольно положила кисть на грань меча, прижалась, попыталась обнять лезвие тремя пальцами — средним, указательным и безымянным. А кто-то бы потянул меч наверх, вырвав грубо и скользко.

— Тебе стало хуже.

Да. О да, конечно. Гораздо хуже, чем вчера или тем вечером, когда она впервые попыталась ткать из человека. Первой нитью Рацлава привязала Скали к своей свирели, второй заставила прихлопнуть ладонью по бедру. Она поймала брызги звука и рассмеялась прежде, чем боль выбила из неё воздух. Но теперь Скали окончательно окреп, освободившись от усталости и хмеля, и снова стал свеж и зол. Вторая его нить растворилась, первая истончилась и натянулась, как тетива, обжигая Рацлаву, мучая. Она вот-вот готова была лопнуть и исчезнуть: Рацлава пыталась удержать её, но кожа рвалась, и кровь пачкала одежды.

Баюкая руки, она просила Хавтору рассказать, что творилось за окном. Старуха много лет провела в рабстве, была в портах Белоозёрного города и в мощных крепостях Рагвальда, но так и не смогла полюбить горы.

— Как ксыр асфат, князьи люди, могут жить на этой вздутой земле? Прыгают по ней, словно горные козлы, и глотают жидкий воздух.

А Рацлава не понимала, как кто-то способен оставаться в Пустоши, плоской, будто блюдо. Говорили, небо над князьими людьми держали горы. Так почему тукеры не боялись, что оно раздавит их, ползающих по траве? Девушка ослабла и начала засыпать под голос Хавторы, рассказывающей о дороге, напоминавшей свернувшегося в кольцо змея. Его чешуя — узлы и ухабы, а голова терялась за перевалом. Хавтора говорила о растущей высоте и небе точь-в-точь как ключевая вода, разлитая над припорошенным хребтом. О суровых людях, охранявших телеги, и блестящих от солнца и редкого снега боках их коней, но при этом была недовольна и раздражена. Мерный хлопок в горле Хавторы походил на урчание рыси.

Солнце ещё не поднялось к зениту, когда рабыня решила перевязать руки Рацлавы свежими лоскутьями. Боль свилась внутри, проела дыру и забралась так глубоко, что Рацлава сроднилась с ней, плавая между сном и явью, усталая и бледная до синевы.

Голос Хавторы стал тревожным. Что случилось, хотелось спросить Рацлаву, что случилось, но её голова отяжелела.

— Твои раны гноятся, ширь а Сарамат.

Боль грызла Рацлаву за рёбрами, а девушка, не замечая, продолжала раскачиваться, закусив облезшие губы.

Когда караван остановился, чтобы дать отдых коням, Хавтора юрко выбралась из телеги и позвала Жамьян-даг.

— Нельзя иметь столько незаживающих порезов, — процедила Совьон. — Мы должны довести тебя здоровой, а не умирающей от грязной крови.

Ей было неудобно сидеть в повозке напротив Рацлавы. Девушка полулежала на подушках, а Совьон приходилось гнуть спину, чтобы не упираться головой в крышу. Плескалась вода в маленьком бочонке, который воительница сжимала ступнями, пахло засушенными травами и маслом зверобоя, который красноватым янтарём растекался по пальцам Рацлавы.

— Не знала, что ты умеешь лечить. — Да что она вообще знала о женщине, которая охраняла каждый её шаг? Ничего.

Совьон хмыкнула.

— Убиваю я лучше, чем лечу.

Хавтора ждала снаружи повозки, пока Совьон медленно оборачивала тканью одну из искалеченных рук. Порезы Рацлавы жглись и ныли, но девушка убеждала себя, что дальше станет легче.

— Ты не будешь играть сейчас, — ровно сказала женщина. — Потому что ты не хочешь умереть раньше времени.

Рацлава согласилась. Совьон отпустила её правую ладонь, которую девушка тут же положила на грудь, и принялась за левую. Плеск — Хавтора подала чистую воду. Шорох — упал первый лоскут, заляпанный гноем и кровью. Засохшая ткань плохо отходила, как бы Совьон её ни смачивала, и Рацлава стискивала зубы. Чтобы отвлечься, она подала голос.

— Ты знаешь, что на привалах со мной часто разговаривает тот хмелевый парень, Лутый.

— Хмелевый? — Совьон почти улыбнулась, но потом стала серьёзна, как прежде. — Знаю.

Ещё бы. Она знала и то, что Рацлава не открывала Лутому ни своего прошлого, ни настоящего, а тот не подходил к ней ближе, чем следовало, и истории его были незамысловаты.

— Он рассказывал о тебе.

Совьон промолчала. Прихвостень Оркки Лиса был болтлив и проворен, но не мог рассказать о ней ничего кроме того, что случилось в Черногороде.

— Когда ты положила свой меч у ног князя, он заставил тебя сразиться с медведем?

Травы, розмарин и кровохлёбка, приятно треснули в пальцах Совьон.

— С тем, чья голова украшает выющиеся над Черногородом знамёна Мариличей, — женщина заправила за ухо чёрную прядь. — Потом были княжеские дружинники.

— И ты одолела всех, — Рацлава чуть приподнялась.

— Кроме одного.

Масло из зверобоя потекло на кожу — вязкий запах мёда и душистого луга.

— Ты не смогла бы остаться, если бы победила Тойву, — произнесла Рацлава, пусто глядя молочными глазами. — Тебя бы не принял даже князь, а воины бы решили, что ты ведьма. Потому что для них нет человека сильнее, чем их предводитель.

Совьон склонила голову.

— О чём ты, драконья невеста? — В её голосе засквозило раздражение. — Ты не знаешь, какова я в бою. Так почему ты думаешь, что в тот день я поддалась?

Рацлава не нашлась, что ответить.

— Тойву — великий воин, — продолжала Совьон, расправляя лоскутья. — Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть великим.

Рацлава поняла, что зря понадеялась, будто Совьон позволит ей чуть больше узнать о себе. Эта женщина проводила с ней дни дороги, слушала её свирель, следила за каждым шагом. Разглядела певунью камня и самозванку, а сегодня нарочито холодно отметила углубившиеся раны — Рацлава хотела бы расспросить её хоть о чём-нибудь, но...

— Спасибо. — Когда Совьон закончила, лицо Рацлавы наконец-то приобрело живой цвет, а жжение в руках притупилось. Воительница бросила грязную ткань в бочонок,

намереваясь выплеснуть в костёр, но перед тем, как оставить девушку, скользнула по ней взглядом. По круглым белым щекам, язвочкам в уголках губ, серебряным гроздям серёг. И, казалось, смягчилась.

— Тебе незачем знать обо мне, певунья камня, — кивнула она. — Но я скажу, что мой путь в этом мире начался так же, как твой.

— О чём говорила Жамьян-даг? — спросила Хавтора, когда кони отдохнули, а караван двинулся с места. Диск солнца блестел над кольцами подъёма, освещая слоистые изломы взгорья и безоблачную небесную воду, растёкшуюся над вершинами.

— Ни о чём важном, — Рацлава осторожно положила руки на колени. И это было правдой, но почему-то внутри у неё потеплело от мысли, что есть кто-то, отдалённо похожий на неё. Младенцем Совьон тоже отнесли умирать в лес.

Караван поднимался, а Рацлава, засыпая, невесомо поглаживала свирель. Багрянец на молочной кости: углубления ритуальных узоров до сих пор были заполнены кровью. Нить, которую девушка вырвала из Скали, ещё тонко шептала в воздухе.

===== Топор со стола III =====

За бортом перекатывалось зеленовато-серое море. У горизонта холмы его волн касались мутного неба, по которому плыли и плыли облака: так сменялись дни. Со дна поднимались скалы, похожие на окаменевшие останки древних чудовищ. Корабль проходил мимо огромных зубастых голов, и раскрошенных лап, и отвердевших кож, которые могли бы сбрасывать с себя твари пучин. Море урчало, и вода точила ноздреватую породу.

Они давно сбились с курса. Никому, даже старому кормчему Ежи не доводилось бывать так далеко на севере. Ночами Хортим Горбович и его дружина не видели звёзд — лишь туман, прилипающий к небосводу. Казалось, здесь их путало даже солнце: долго не выглядывало, прячась за облаками и пеленой снега. Скалы-чудовища восставали, будто стены исполинского лабиринта. Воды, лениво шипя, несли корабль — куда? Едва ли на юг. Ежи ждал, когда прояснится небо, но Хортим знал, что они не могли ждать слишком долго. Инжука умирал.

Тукер лежал на сдвинутых сундуках на палубе. Шторм подорвал его: щёки впали, глаза ввалились, а кожа натянулась на кости, будто желтоватая бумага. Инжука ничего не ел — внутри с трудом удерживалась даже вода. Его трясло то от жара, то от холода, лоб пылал, а на губах оставался грязный налёт. Хортим надеялся, что его ещё можно было спасти — Соколя дюжина отогревала Инжуку своими одеждами, накрывала от снега и ветра, но тот продолжал таять. Тоскливо и глухо хлопал парус над его неказистым ложем. И Хортим был в отчаянии.

Однажды, когда и небо, и море налились сизой голубизной — по ним пробегали серые барашки пены и облаков, а хребты скалистых чудовищ ныряли под воду, — Фасольд сказал Хортиму, что нельзя так убиваться из-за каждого своего человека. Иначе на все смерти не хватит. Они сидели на корме: костяшкой пальца Фасольд гладил седой ус, и мелкие морские брызги ложились на его колючие небритые щёки. Хортим же походил на чёрную птицу, намокшую и жалкую. Влажные пряди его волос спускались до плеч комками, со лба сбилась тесьма. На заострённом лице сильнее выделялись бугры ожогов, глаза судорожно моргали — Хортим впервые терял своего соратника. Он силился что-то изменить, но тщетно.

Изгнание юноши длилось больше четырёх лет. Кто-то из воинов Фасольда погиб в Хаарлифе, кого-то ещё в первый год сожгла болезнь, но Хортиму везло, и все двенадцать из Соколей дюжины по-прежнему были с ним. Они пережили и походы в Хаарлиф, и

столкновение с Сарматом два года назад — тогда больше всех пострадал сам Хортим, которому дракон изуродовал почти полтела. Разве княжич Соколей дюжине не господин и не опора, разве он не должен заботиться о своих друзьях? Так почему он не способен спасти Инжуку? Но разумом Хортим понимал, что не ему тягаться с беспокойным морем и лихорадкой. Если бы боги улыбнулись им и на их пути показалось бы чьё-нибудь поселение... Но горизонт по-прежнему был чист.

И Хортим смотрел на восковое лицо Инжуки, брался за вёсла, и навстречу кораблю выступали новые обломки каменных гряд. Ни единой живой души, лишь плеск волн и шуршание ветра, крики Ежи и скрип корабельных снастей.

— Ты привыкнешь, — угрюмо сказал Фасольд, налегая на весло. — Скоро.

Хортим услышал его, но не ответил, лишь рассеянно повёл головой. Он мало разговаривал в последние дни — и Соколя дюжина если не молчала, то общалась мрачным шёпотом. Им всем казалось, будто отмирает часть их собственного тела. Когда Хортим хотел отвлечься от мыслей, то грёб сильнее, стирая мозолистые руки. Словно в первый год изгнания, когда в нём ещё оставалось нечто холёное, княжеское. Малика говорила, что их кровь густая и великая и всегда даёт о себе знать. Отпрыска их рода не спрятать ни за лохмотьями, ни за слоями грязи в жуткую нищету — он всегда остаётся царственным и гордым. Посмотрела бы ты сейчас на своего брата, сестрица, обожжённого, сгорбленного, отчаявшегося.

Корабль плыл, и море под ним белело. Появлялись пластины льдов. Скалы стали выше и массивнее, а ветра, сдувающие снег, — ещё холоднее, но именно в одну из таких ночей Ежи увидел проблеск звёздного неба, и у дружины появилась надежда найти дорогу на юг. Но воды уже вынесли их в довольно узкую прогалину между осколками громад-утёсов, напоминавших две отрубленные головы полузверя-великана, — третья выглядывала на поверхность лишь краем, её топило море. Было решено пройти их и, обогнув, повернуть к югу, но делать это стоило неторопливо, с особой осторожностью: усилившиеся ветра могли легко швырнуть корабль на ушедшие под воду валуны.

Корабль пробирался медленно, под мерный стук вёсел и раскатистый шорох волн. На окаменевшие головы великана оседал туман, а море стало почти чистого голубого цвета, с незначительной бело-серой примесью. Самые острые глаза в дружине были у Инжуки — неудивительно, что воины спохватились не сразу. Но всё же Арха рассмотрел скалы сквозь туман — и, отпустив весло, сорвался с места.

В зияющей бреши щеки великана он увидел чью-то лодку.

На волнах качалась привязанная лодка. Промысловая, нагруженная рыбой и сетями, длинная и прочная — её остов был обтянут шкурой лахтака. Её хозяйку Хортим и несколько воинов нашли, поднявшись на скалу-голову по сточенному пологому склону. Женщина возвращалась к воде и не вздрогнула, заметив чужаков.

Она была молода — пожалуй, женщина жила на свете чуть больше тридцати зим. Что-то в ней напоминало Инжуку: узкие глаза, выступающие скулы, плоское, хоть и неширокое лицо. Но при этом её черты имели совершенно иную природу и даже кожа была не желтоватой, а коричневой. Она носила много одежд — из-под мехов выглядывали плотные штаны и расшитые юбки до середины икр. В капюшоне терялись её смоляные, стянутые в узел волосы. Айха, догадался Хортим, вспомнив то, что рассказывала ему старая рабыня-северянка.

Юноша удивился, что айха не испугалась. Корабль одичавших в плавании незнакомцев — худшая встреча для одинокой женщины. Но она стояла, с любопытством поглядывая тёмными глазами даже на Фасольда, от которого, как думал Хортим, в другом случае следовало бы бежать что есть силы. А женщина уверенно и спокойно расправляла плечи, будто ничто здесь не могло причинить ей вред.

— Здравствуй... — начал юноша, но осёкся. Разве она знала язык княжьих людей?

Айха молчала, опутив пышные рукавицы.

— Ты ведь не понимаешь, — сказал он с сожалением и стал помогать себе жестами. Я — тычок в грудь — Хортим. Моему другу — тычок вниз, в сторону лодки и корабля — нужна... Он не мог придумать, как объяснить «помощь», но надеялся, что за него это сделало искажённое лицо.

Женщина чуть наклонила голову вбок.

— Пхубу, — ответила она, и Хортим догадался, что это её имя.

— Пхубу, — повторил княжич, краем глаза наблюдая за Фасольдом и Архой. — Помоги нам. Мы долго были в пути, а сейчас мой друг умирает, и...

— Умирать? — переспросила Пхубу. У неё был сильный булькающий акцент.

— Да, — кивнул. — Выздоровеет, если поможешь.

— Помочь, — Пхубу покатала на языке, задумчиво добавила несколько неизвестных слов, будто разговаривая сама с собой, а потом сделала шаг вперёд. — Где?

— Она понимает, — выдохнул Арха на ухо Хортиму, пока они возвращались к кораблю. — Может, не всё, но она явно где-то слышала наш язык.

Хортима потрясывало от волнения — неожиданная удача маячила перед глазами. Сейчас он был способен думать только об Инжуке и оттого, казалось, упускал нечто важное. У Фасольда лицо стало багровое и злое — почему? Хортим не разбирался: его занимали другие мысли, роящиеся, будто пчёлы, — спасти Инжуку, спасти. И раз айха знала хотя бы слово на их языке, значит, должен был быть и кто-то, кто мог её научить. Потом, всё потом, решил Хортим, чувствуя, как пульсируют виски. Кровь шумела в ушах, клокотала в горле. Пхубу не сделает их положение хуже — это главное.

Небо над головами было туманно-голубое, бездонное.

...Вигге, охотник из Длинного дома, заметил чужой корабль издалека. С высоко поднятыми носом и кормой — такие строили княжьих люди, которых Вигге не встречал уже очень давно. На своё крыльцо мужчина ступал в смешанных чувствах, уже зная, что увидит незнакомцев за порогом. Княжий корабль прикорнул к высокой скале, борозды на которой напоминали массивные спирали ступеней, и на самой выступающей из них в камень вращал дом Вигге и его женщины — длинный, в котором крепкое тёмное дерево перетекало в обтёсанную породу и уходило вглубь скалы. Хороший дом, прочный. Но жилыми были лишь несколько «деревянных» комнат — дальше царил холод, в котором хранили запасы.

Над дверью скрещивались две прочные балки, скалилась вырезанная голова морского чудовища — Пхубу верила, что она отпугивала злых духов. Заходя, Вигге согнулся, чтобы не задеть головой подпорку. Дом дохнул на него теплом, запахами жареного мяса, собираемых в бесснежье трав и шерстяных ниток, красных, жёлтых и иногда синих, из которых Пхубу плела тонкие полосатые ковры и покрывала.

Женщина выбежала к нему из передней комнаты — звякнули верёвки с нанизанными на них крупными бусинами, занавешивающие проход. Пхубу сняла с Вигге шубу и рассказала, кто к ним прибыл. Забулькала речь айхов, не перемалывающая слова, а обкатывающая их,

словно вода. Вигге выслушал и, отодвинув Пхубу, прошёл дальше.

Чуть раньше он разглядел на корабле фигуры оставшихся людей. И в комнате у очага сидело лишь трое: крепкий мужчина, не снявший с пояса топора, — Вигге насторожился — и молодой человек с бесцветными волосами-струнами, заплетёнными в косу. Но сначала Вигге заметил юношу, черноглазого, с чудовищными ожогами на лице.

— Мир тебе, хозяин, — юноша поднялся с места, и в его чертах отразились и недоумение, и облегчение. Увидел кого-то из своего народа.

Вигге посмотрел на него и одновременно стал и бледен, и сердит, и страшен, и напуган.

— Тебя... смутило наше вторжение? — Хортим погладил бровь. — Извини.

— Нет, — ответил Вигге хрипло, переводя взгляд на спутников юноши. Пхубу сказала, что четвёртый, больной, лежал отдельно — она напоила его травяными настоями и укутала в мягкие звериные шкуры.

Юноша понизил голос почти до шёпота:

— Нам нужна помощь.

— Знаю, — ответил Вигге, хмурясь. Он опустился на одно из низких тканевых кресел. Слова он подбирал неторопливо, раздумывая и будто пробуя на вкус: — Тогда оставайтесь моими гостями.

Едва посмотрев на Хортима, Вигге из Длинного дома выглядел так, словно увидел ненавистного покойника или мерзкую тварь, забравшуюся за его порог, но постепенно пришёл в себя. И пригласил всю дружину княжича в необжитый зал, где деревянные стены уступали каменным. За пиршественным столом, тянувшимся далеко от дверей, давно никто не собирался — Хортим это понял. Но юноша так и не сумел понять, каким поступком было приглашение Вигге, безумным или мудрым. С одной стороны, только глупец решился бы звать к себе воинов-чужаков. С другой, если бы они действительно задумали разбой, то сделали бы это и без приглашения.

Вигге был мужчиной лет сорока, но его волосы до плеч уже полностью поседели, как у Фасольда. Глаза невнятного цвета, не то серые, не то голубые, словно выцвели. Сухопарый, с недлинной треугольной бородой и некрасивыми выдающимися ногтями — местами они трескались и ломались. Вигге рассказывал, что на север его привезли ещё ребёнком и так он здесь и прижился. На утёсах к западу водилось много теплокровной дичи, в море — рыбы, а на льдах — тюленей.

— Вам повезло, что воды ещё не заледенели до конца, — произнёс он. Ежи выпросил, что это море — море Эзку — замерзло с начала осени. До этого они, сами того не ведая, пересекли море Мазены и углубились на северо-запад, а ещё более дальние воды льды сковывали вечно. Вигге рассказывал медленно, осторожно, словно сам ступал по непрочному льду, пробуя его, тщательно подбирая нужное слово. Боялся? Чувствовал себя уютно?

Вигге не был богат — его пусть и большой дом казался скромным. Передние комнаты наполняли уютные, но недорогие самодельные вещи, задние пустовали. Хортим не видел ни золота, ни серебра, ни украшений: дом был не блестящим, но основательным. Таким же, как и оказанный чужакам приём. Пхубу принесла вяленое мясо — она бы не смогла приготовить жареное на стольких гостей — и вино. Накрыла стол, проверила Инжуку, но чаще всего она просто ходила рядом, хотя скоро потеряла к приезжим всякий интерес. Охотнее Пхубу устраивалась подле Вигге, сидевшего во главе стола, и подливала ему вино, и слушала, не

мигая, что он говорил, пусть и не понимала больше половины. А мужчина ни разу не посмотрел на неё прямо. Хортим был благодарен хозяину дома, но не смог заглушить голосок внутри: ему не нравилось, что Вигге относился к Пхубу, как к собаке.

— Я рад, что твоя жена умеет врачевать, — в тот вечер сказал княжич, а Вигге скривился.

— Пхубу мне не жена, — бросил он. И не рабыня, уяснил Хортим: женщина держала себя хозяйкой. Вольна уйти, когда захочет. — Она даже не целительница. Но в её племени хранились многие знания, и хорошо, если она поможет твоему человеку.

Когда Вигге расспрашивал Хортима и его дружину, юноша чувствовал, что ему стоит открыть себя — хотя бы в благодарность.

— Значит, ты княжич, — Вигге коснулся ногтем столешницы. Пальцы у него порой были скрюченные, будто старческие. — Гурат-град... Никогда там не был.

И не будешь.

— Гурат-град сжёг дракон.

— Вот как? — спросил Вигге отстранённо. — Айхи баяли мне, что драконы обитают только за гранью мира. Там, где обрываются земля и море.

Что-то в его речи было тяжёлое, нездешнее. Хортим решил, что Вигге отвык от родного языка: иногда он забывал нужное слово и путался. Тем временем Фасольд усмехнулся. Он был недоволен и почти не подавал голос за столом, но сейчас не выдержал:

— Сармат-змея проснулся тридцать лет назад и успел выжечь несколько княжеств.

Прежде чем ответить, Вигге помолчал. Думал. Затем провёл пальцем по каёмке глиняной тарелки и пожал плечами.

— Я так давно не был дома, что забыл, где родился. Сочувствую тебе и твоей дружине, княжич. Это появилось тогда? — Он дотронулся до своего лица, имея в виду ожоги Хортима.

— Что? Нет, — юноша стиснул чашу. — Раньше. Я... мы тоже давно не были дома.

— Ничего, — Фасольд сощурил глаза, глядя мимо Вигге. — Мы убьём эту крылатую тварь. Значит, ты славно отсиживаешься здесь, Вигге? Очень славно, раз до тебя не долетали слухи о драконе.

Когда Фасольд говорил, в залу снова зашла Пхубу, держа кувшин с вином. Она плохо знала язык княжеств, лишь отдельные слова. И «дракон» было одним из них. Женщина оступилась, и кувшин выскользнул из её рук: с треском разлетелись черепки, и вино разлилось по каменному полу. Тогда Вигге впервые на неё посмотрел — с тенью недовольства.

— Молунце? — спросила Пхубу, но никто ей не ответил. Вигге повёл подбородком, и женщина принялась убирать осколки.

— О чём она? — спросил Хортим.

— Одно из имён вашего Сармата-змея, — бесцветно ответил Вигге и поднял глаза на Фасольда. — Я живу здесь с детства, кто бы мог рассказать мне о юге? Я изучал север и сплавал его от поселений айхов до Самоцветных пиков.

— Молунце... — повторяла Пхубу. Испарилось её спокойствие, и на острых скулах выступили пятна — красные, как бусины в серьгах и нити в браслетах и стянутых волосах. — Молунце не спать?

— Сказки айхов, — объяснил Вигге, отмахнувшись от её фраз, словно от назойливой мухи.

— О, в Пустоши знают эту историю, — кивнул Арха, поднимаясь из-за стола. Похлопав

Хортима по левому плечу, он решил помочь Пхубу — женщина впервые выглядела напуганной. — Про Сарамата и Кагардаша, верно?

Пхубу отшатнулась от Архи, будто от прокаженного. Один из собранных черепков вновь упал на пол и раскололся ещё надвое, но женщина не заметила. Она прошипела что-то в ответ — рассерженно и зло.

— Я сделал что-то не так? — Арха оглянулся на Хортима, вскинув белёсую бровь.

— Нет, — Вигге сжал губы, а потом добавил ледяным тоном, чеканя слова так, чтобы поняли и Пхубу, и гости: — Большой. Идти. Проверить.

Она склонила голову и исчезла в дверях.

Этой ночью в Длинном доме с хозяевами остался лишь так и не очнувшийся Инжука — Хортим с дружиной отправились спать на корабль. Тогда юноша почувствовал, что его терзает непонятное беспокойство. Фасольд по-прежнему был недоволен — из-за того, что им пришлось остановиться на время, но Хортим не начинал разговор. День выдался тяжёлым, а следующий обещал быть и того хуже: воины Фасольда, молчавшие весь вечеру Вигге, тоже могли восстать против задержки. И на них уже косо поглядывала смиренно притихшая Соколя дюжина, готовая рвать глотки за Инжуку.

Днище корабля лизали чёрные волны, и над мачтой висело крапчатое жёлтое блюдо северной луны.

===== Хмелевый князь IV =====

На перевале Рацлаву почти не выпускали из повозки — это было опасно и долго. Гуляла девушка только вечером, перед сном, и Совьон не уводила её далеко от шатра. В пути мышцы Рацлавы дубели и затекали, от холода перестали спасать даже самые тёплые покрывала. Она куталась в них до бровей, поджимала ноги, слушая прерывистое дыхание мёрзнувшей Хавторы, скрип снега и колёс и цокот копыт. Ей стало неудобно в неподатливом теле, которое с каждым днём всё сильнее ломило и тянуло. Рацлава словно задыхалась, металась под слоями собственной кожи, не зная, как выскользнуть наружу.

И у неё это получилось. Три дня и три ночи Рацлава не притрагивалась к свирели, позволяя вылечиться гноящимся порезам. За это время Скали, из которого она решила ткать, уставал и снова набирался сил, утекающих сквозь его слабые нити, будто вода. Позже девушка не раз подбиралась к нему со своей музыкой, но сначала... В горах не оказалось ни диких уток, ни мышей, и отчаяние толкнуло Рацлаву вперёд. Она так и не запомнила, сколько крови забрала у неё свирель, как это было больно. Шрамы, напоминающие след от хищного клюва, появились в одно утро, а зажили на второе.

Над Недремлющим перевалом кружил ястреб. Рацлава не могла повелевать ни его крыльями, ни когтями или голосом — с мелкими птицами ей было куда проще. Она лишь стелилась внутри ястребиного тела, зачарованно ощущая, какая под ней распростёрлась высота. Дымки цветов ускользали, оставляя невесомые следы. Небо, сгустившееся вокруг горных пиков, — это ткань её длинных рукавов, раскрытых холодным жемчугом и шершавыми петлями узора. Снежные вершины — это шитьё из льда и вербы, и изгибы гор вдавались в облака, как заливы — во фьорды, о которых Рацлаве рассказывал брат.

Она не слышала ни сухого кашля Хавторы, ни конского ржания, только вой ветра и музыку свирели, стучавшую глухо и горячо, будто ястребиное сердце. Рацлаве приготовили свадебный наряд, а она надела оперение. Конечно, ей не сбежать и не улететь, но сейчас снег опускался на крылья, взбивавшие воздух под утренним солнцем. Девушка будто трогала кончиками пальцев бескрайнее полотно: затканый шёлком контур гор, витиеватые нити

лучей и дорог. Повсюду — выпуклые орнаменты, будто мир задёрнули полотенцами, которые до поздней ночи шили её сестры.

Если у Рацлавы есть ветер и сила, зачем ей возвращаться в её слепое, усталое, коченеющее в повозке тело? Каждый раз она цеплялась за ястреба так долго, как могла, но птица оставляла под собой ползущий по перевалу караван и улетала прочь. Далеко-далеко, за сказочную пелену, к горизонту. Рацлава возвращалась на подушки напротив Хавторы — сводило её скользкие от крови пальцы, но теперь рабыня старалась залечить их маслами и сухими травами Совьон.

— Ты играла сегодня страшную музыку, гар ину, — жаловалась старуха, по-кошачьи устраиваясь у окна. — Сыграй иначе.

И Рацлава играла — пусть жалея себя, не притрагиваясь к нитям Хавторы. Собирала из воздуха всё, до чего могла дотянуться. Свирель пела о душистых соцветиях, распустившихся в горах, о легкокрылых птицах, о храбрых и одиноких путниках.

А после лилась музыка ещё страшнее.

О Недремлющем перевале ходило много легенд, и Лутый не знал их все. Но чаще прочих рассказывали истории о сгинувших здесь странниках — недаром говорили, что перевал никогда не спал.

— Объявился Пропавший ровно через год. Одной ночью в деревне, где жила его невеста Бирте, а жила она на самом предгорье, поднялся страшный ветер. Ставни в домах хлопали, двери рвались с петель, летела посуда. Занавески надувались и лопались, будто паруса. В мёрзлые яблони вцепилась когтями целая стая ворон.

«Бирте, — закаркали вороны, — милая Бирте, то не горе с востока и то не твоя печаль. Твой любимый сошёл с перевала...»

— Иди встречать, — Лутый прикрыл ладонью глаз от яркого солнца и расправился в седле. — Гъял, если тебя услышит Оркки, то надаёт по шее.

Рассказывать о покойниках прямо над их костями — кликать беду. Так считал Оркки Лис, и его мало утешало, что в это время года Недремлющий перевал обычно бывал спокоен. Гъял, жилистый и тёмно-рыжий, с клочковатой порослью бороды и шрамом через горло, задумчиво одёрнул поводья.

— А ты меньше ори, — мягко предложил он. — Вот и не услышит.

Поднимались горы. Тёмно-серые в белых жилах снега, в ключьях голубоватого тумана. Дорога лежала мимо ущелий, на дне которых, казалось, разводили исполинские костры — марево выливалось, словно из котла. Лутый едва успевал следить за цветами Недремлющего перевала. На закате — розовато-лиловый, с золотом угасающего солнца. На рассвете — в хрустящей белизне, укутанной медовым. Днями перевал бывал и вьюжно-седым, и безоблачно-голубым, и неоднородным, будто собранным из осколков горных пород. Недремлющий перевал — это и высокий статный старик, грозный, сухопарый, с длинной бородой и крючковатым носом-утёсом. Это и молодая женщина, чью фигуру обволакивали клубы небесных шелков. Она была убрана серебром и перламутром: венцы и кольца, браслеты и расшитые мерцанием пояса. В её гортани гуляли ветра и песни, а в широкие ладони падали звёзды.

Не изменялся лишь туман, льнувший к обманчиво спокойному, клокочущему в недрах хребту. И оставалась музыка драконьей невесты. В последние дни Лутый старался подобрать нужное слово — какая она была, эта мелодия? Тоскливая, неспешная? Старинная?

Тревожная? Пугающая. Свирель тянула звуки — скрипяще, как струны, низко и плавно. Музыка поднималась и опускалась волнами, будто повторяла за караваном. Она перекатывалась, одновременно вплетая в себя и подрагивающий высокий перезвон. Эта песня была тихая и живая, она отдавалась в горле, просачивалась сквозь трещины породы, вила себе гнёзда и рассыпалась, чтобы взлететь снова.

— Иногда мне кажется, что Лис прав, — сказал Скали, когда они проезжали особенно узкий участок пути и бока их с Лутым коней почти соприкасались. Мужчина смотрел на крапчатый склон горы — камень с кляксами снега. — И за каждым нашим шагом следят погребённые здесь странники.

Почему-то Лутый думал, что музыка рвала Скали сильнее всех.

— Иногда мне кажется, что я слышу, как шепчут их кости. Они взывают из своих каменных крипт, из-под древних завалов, неуспокоенные и скорбящие. Зовут лечь рядом с ними, враспира в гору под покрывалом из снега.

— Ты бы спал покрепче, — посоветовал Лутый. — Перестало бы мерещиться.

Но Скали взглянул на него отчаянно и злобно, посылая коня вперёд.

Что-то с ним творилось в последние дни — Лутый чувствовал это, но не мог понять. Скали смотрел не так, говорил не так, делал мелкие, не свойственные ему движения. Касался лба, рассеянно гладил сбрую, вцеплялся в сальную прядь волос. А потом смотрел на собственные пальцы, будто не узнавая. Он не отдыхал ночами: если Лутый просыпался, то видел, как тёмная, согнутая крючком фигура Скали сидела на соседних шкурах, а его шея упиралась в низкий навес палатки.

— Тише, — просил он, невесомо царапая грудь. — Тише, тише...

А потом кто-то, Гъял или Корноухий, грозился пересчитать Скали зубы, если тот не закроет рот. Лутый не раз пытался выяснить, что с ним случилось, но Скали делал вид, что не понимает, рывкал и просил оставить его в покое.

— Ты бредишь, — шипел он Лутому. — Со мной всё в порядке, иди приставай к кому-нибудь другому.

Скали говорил про шёпот погребённых под завалами путников. Пусто смотрел сквозь барашки вихрей на дороге, глядел в небо, пощипывал ворот и больно стегал коня. Лутый знал, что с ним точно не всё в порядке. Неужели его добивает болезнь? Юноша косился медовым глазом, поглаживал между ушами гнедого жеребца. Скоро октябрь пойдёт на убыль, до зимы — меньше двух месяцев.

Скали, Скали, недолго тебе осталось.

Вода камень точит. Рацлава — это река, широкая и ледяная, она льётся по порогам, выедавая дорогу, срывается с обрывов, неумолимо течёт вперёд, и в её чистых волнах растворяются капли свежей крови. Когда она всласть налеталась в ястребином теле, то решила взяться за дело. Это было и жутко, и больно, но боги не дали ей много времени. Ткать — что ходить по ножам. Первые шаги — самые страшные, потом становится легче. Лишь бы не искалечить себя, перейдя за грань.

Перевязав пальцы лоскутьями, Рацлава осторожно перебирала нити Скали. Повозку снова трясло, и тело снова затекало, но теперь девушке не было холодно. Жар стучал у неё в висках. Она, к удивлению Хавторы, отбросила шерстяные одеяла и даже распустила на платье кусочек шитья у ключиц, обнажив кипенную кожу. Горячим пульсировала свирель в пальцах, и воздух вокруг стал животным и прелым.

Рацлава отслаивала от Скали по струнке. Порезы на её ладонях пролегли, как морщинки, — дюжина, две, три. Перекрещивались, изменяя гладкость кожи, заживали выбоинами и кровоточили, оплетали запястья и фаланги пальцев. Но теперь Рацлава вошла во вкус — она ткала из Скали не первый день и отдалилась от боли.

— Как бы ты не простыла, ширь а Сарамат, — заметила Хавтора. Её карие глаза посверкивали в прорези шафранно-жёлтого покрывала: в тканях рабыня пряталась от мороза.

Рацлаву грела её плавная и глубокая, человеческая музыка. Хоть сейчас она была похожа на нераскрывшийся бутон, а не цветок. Мимолётные движения — не верность и самопожертвование, но каждая могучая река берёт где-то узкое начало. Девушка, увлекшись, отняла свирель и вытерла губы рукавом. На ткани остался длинный багряный след. Рацлава вновь начала играть — пальцы над костью запорхали быстрее, быстрее... Она погрузила их глубже в незримые нити и вывела свирелью полукруг, пытаясь отыскать ту слабую струну, что смогла бы извлечь.

И тогда раздался грохот. Земля всколыхнулась, а телега опасно накренилась, но устояла. В окно ворвался ветер: Хавтора гортанно вскрикнула, когда с неё стащило покрывало. Рацлаву отбросило на подушки, ударило о стену, и, не осознавая, девушка рванула к себе погруженные в нити пальцы.

Ей казалось, что её жилы растянулись, а мышцы разметались по полу повозки. От жара едва не лопнула голова, но тепло тут же сменилось могильным холодом. Кровь пошла горлом, заслезилась незрячие глаза, а телега подпрыгнула во второй раз — крик Рацлавы утонул в каменном треске. Она даже не сразу поняла, что натворила и с кем, — так её напугало нечто, бурлящее снаружи.

...Об обвале не успел прокричать даже ворон Совьон.

Недремлющий перевал никогда не спал. Никогда, даже в самое спокойное для него время года. Лутый видел, как с вершин впереди них сходила лавина. Она перескочила через ущелье слева, ударилась в склон — Лутый чувствовал, до чего сильна одна только невидимая волна мощи, добравшаяся до них по земле.

«Далеко. Мы достаточно далеко, чтобы нас не задело».

Но со склона сорвалась первая глыба — Лутый даже мог видеть, как она раскололась на части. Валуны обгоняла пыль, снежная и каменная, сминающая под собой туман.

— Назад! — кричал Тойву, и телеги разворачивались. Отряд спешил убраться подальше, чтобы точно оказаться в безопасности: лавина ускорялась, пыль и осколки глыб заполнили впадину к востоку от каравана. Лутый заметил, что Совьон, не желая рисковать, выволокла из повозки драконью невесту и посадила к себе на коня. Не успели телеги развернуться, а новый грохот — докатиться до них, как женщина уже умчала Рацлаву по дороге назад. За ней весь отряд сумел сползти за ущелье — сдвинулся достаточно, чтобы его настигла одна лишь пыль, от которой никак не удалось бы скрыться. Боги оказались милосердны, дав им время, потому что место, где воины слышали лавину, начали бить осколки гряды.

Сейчас Недремлющий перевал напоминал Лутому многоликое божество. И статный старик, и молодая женщина, ловящая руками звёзды, — до этого божество лишь ждало своего часа. Могущественное, заключённое в тесную оболочку из мирных гор, сейчас оно набрало силу, заставив неудобное тело треснуть. И небо стало самым красивым за дни их пути — дымчатое, смеющееся, бездонное. Звук гулко отпрыгивал от его купола. И снежная пыль мешалась с каменной, катилась и стучала, заполняла мир от края до края...

Только рысий глаз Лутого мог это увидеть — фигура, стоящая от отряда слишком, опасно далеко. На земле, которую ещё дробили валуны. Фигура была чёрная и худая и почти терялась в тумане.

— Стой! — Орчки Лис брызгал слюной, но его голос терялся. — Вернись, дурака кусок!

Лутый ударил пятками в гнедые бока трепещущего жеребца, дёрнул поводья и нырнул вниз по тропе, надеясь воротиться до того, как всё, что он видит, утонет в плотном снежном облаке.

— Скали! — завопил он. — Уходи! Ты что, совсем больной?

Многие лошади испугались и не разбежались только чудом. Конь же Скали сбросил всадника и унёсся прочь с жалобным ржанием — молодой человек поднялся, не отряхиваясь, и застыл на месте. Вытянутый, как палка. Обездвиженный.

— Убирайся прочь! — Лутый сорвался на хрип, но Скали не повернулся. Глупо смотрел, как на него неслись облака пыли и как его грозили затянуть подбирающиеся, срывающиеся со склонов валуны. Наконец Лутый оказался достаточно близко, чтобы схватить Скали за шкуру.

— Лезь сюда! — заорал он, указывая рядом с седлом, но Скали не отмер. Лутому пришлось криво втащить его на конскую спину: когда он делал это, его захватили клубы пыли. Крошка, белая и серая, оцарапала лицо и руки, залетела в разинутый рот. Но куда страшнее — Лутый потерялся в снежном облаке. Он кашлял и хрипел, протирая глаз, подбирая поводья. Возвращаться пришлось по памяти, слыша, как ломалась порода за спиной.

Лутый как никто боялся слепоты. Его била дрожь, когда он спешил в безопасности, за ущельем, тоже укутанным пылью. Повязка, которую юноша никогда не снимал прилюдно, косо съехала, открыв часть щеки, — показался грубый рубец. Воины сняли с коня и Скали и трясли его за плечи, стараясь привести в чувство.

— Почему ты остался, тупая твоя голова? — кричал кто-то ему на ухо. А Скали, начиная приходить в себя, словно силился объяснить, что не мог сделать ни шага. И на его ресницы и посиневшие губы ложилась наледь, и взгляд был потерянный и до смерти напуганный — Скали никогда так не смотрел. Он хватался за запястье Лутого костлявыми пальцами, сжимая до красноты; его лицо было бледнее, чем у покойника.

Перевал успокоился лишь к вечеру. Мутное небо прояснилось, а эхо затихло. Многоликое божество надело на себя земную кору, снова притворившись спящим.

===== Зов крови VI =====

Красный всегда был ему к лицу. Цвет огня, отражающегося на лезвии кривой сабли, цвет заката и крови. Медь, киноварь и гранат — ряды чешуй, закрывающих его драконье тело. Сармат давно привык, что вместо ног у него была пара мощных лап — когти, длинные и острые, венчали стопы. Вместо рук — два кожистых крыла. Ему бы любоваться каждой крепкой мышцей, выступающей под гребнем, прощупывать суставы и связки, трогать гранёные пластинки чешуи. Что ему дали за тело, что за тело — золотые, с вертикальным зрачком глаза различали бронзовые и багряные жилки листьев, видели линию горизонта так близко и чётко, словно это была часть его самого. Его ноздри расслаивали тысячи запахов: железо и мясо, серебро и дым, горная порода, страх и рыба, плещущаяся в реке. К её берегу Сармат опускался в полуденный зной, раскрывал пасть и в полёте захлёбывал прозрачную, будто стекло, воду. Его тень накрывала речную ленту — он разгонял крыльями воздух, и по воде бежала зыбь. Блики играли на песочных звеньях брюха, когда Сармат переворачивался

и взлетал. И деревья у русла качались туго и звонко, а птицы шуршали над курчавыми кронами.

Всё, что он видел, было его. И горы в медовой шапке света, и леса, и топкие болота. Море, перекатывающееся за Матерь-горой, деревни, в которых люди пели зычно и тягуче. Сармат здесь господин, и его княжество — целый мир, лежащий под ним, как на пёстром блюде. Чащобы, в которых прятались хижины вельх и землянки разбойников. Взрытые плугом пашни. Заметённые снегом дороги, по которым пробирались торговые обозы. Сармат рассматривал этот мир в дождь, солнце и буран. Помнил его корчащимся под каменной ордой Ярхо, в огне и дыме. Помнил и на рассвете весны, когда каждая проталина дышала хрупкой жизнью. Видел, как на деревянные идолы повязывали длинные, танцующие на ветру ленты, и видел, как эти идолы валили наземь.

Красота — бесконечная пляска. Сотни отзвуков и событий, тесно переплетаясь, рождали ни с чем не сравнимый образ.

Сармат летел, и холмы, деревни и рукава рек под ним были мелко и искусно вырезанными деталями — лакированная шкатулка с выведенным узором. Горы же щерились гигантской пастью. Сармат летел над грядками, наслаждаясь тем, как сокращались мышцы его спины и крыльев — чешуйки расправлялись, и между медными пластинами пробегали тонкие золотые нитки. Они огибали наросты гребня, спускались к груди, пролегали вдоль боков и тут же гасли, чтобы вспыхнуть с новым вдохом. Из ноздрей дракона шёл горячий, рокошущий воздух. Ветер разнёс выпущенный из горла радостный рёв — эхо подхватило его и раздробило о горные вершины. Раскатало над долинами: отзвук ещё долго дребезжал латунным листом.

Близилось очередное полнолуние, и Сармат хотел провести в вышине больше времени. Запечатлеть за рёбрами ощущение полёта и власти — уже завтра жилы станут лопаться от напряжения, а драконья кожа начнёт жечь его, привариваться к костям. Ничего не останется, кроме как стащить её с себя, полоса за полосой.

«Может, у тебя и будет чешуя дракона, Молунцзе, — говорил шаман айхов, вытирая разбитый рот, — но никакой обряд не даст тебе драконье сердце».

«Молунцзе» на языке высокогорников означало «вор».

Тогда Сармат ещё не знал, что ему так часто придётся возвращаться в человеческое обличье. Восемнадцать суток — слишком много для того, кому не было равных по силе и кто отвык от хрупкой беззащитной оболочки. На словах Сармат даже завидовал Ярхо, которого время обходило стороной и не ставило под удар. Вместе с каменным телом ему достались и мощь, и умение говорить — даром что тот пользовался только первым. Раздвоенному змеиному языку не хватало второго. Но всё же Сармат бы не пожелал участи Ярхо. Внутри брат был мёртв, давно мёртв и холоден ко всему, что его окружало. Его не трогали ни радости завоеваний, ни вопли жертв, ни красота жён Сармата, пляшущих в мерцании самоцветов.

Сармат не мечтал о вечной жизни — он умрёт, но будет в этом мире до тех пор, пока не устанет. И сейчас он влюблён в Князьи горы и сокровища, в моря и легенды, в леса, фьорды, хижины колдуний и в закаты, отливающие красным по его чешуе. В каждую из девушек, которую однажды отдадут ему в невесты, — Сармат любил многих женщин, недолго и несильно, но любил.

«Молунцзе, если человеческое сердце не знало покоя...»

Он летел, и ветер гулял под его крыльями.

«...неужели ты думаешь, что будет легче носить сердце змея?»

Малика Горбовна уже бывала в этой комнате. Блеклой по сравнению с драгоценными палатами — к ней вела спиральная лестница, скользкие ступени с вкраплениями слюды, а на двери поблескивал витраж. Крылатый змей с выпавшим у спины кусочком стекла. Как прежде, на скамье сидела старая вельха: в рогатой кичке и с лунными камнями, вставленными в мочки. Серые волосы лезли ей на виски, а глаза, жёлтый и чёрный, следили за танцем веретена. Скрипело колесо, и морщинистые, с длинными ногтями пальцы ведьмы тянули пряжу.

Когда ей впервые открылась эта комната, Малика только начала плутать в горе и задыхалась от ярости. Княжна и сейчас была готова отшвырнуть прялку, плюнуть под ноги старухе и наброситься на первого каменного воина, встретившегося на её пути, но понимала, что следует ждать удобного момента. Когда её ненависть развернётся в груди и выжжет не только Малику, но и всех, кого она пожелает. И княжна, подобрав юбки, остановилась за порогом, поглядывая на вельху. Мать-гора не вывела бы её просто так.

Ведьма по-прежнему не обращала на неё внимания, лишь оглаживала пряжу и, посмеиваясь, бормотала колдовские слова. Но вскоре в неизвестной речи Малика смогла различить отголоски родного языка.

— Ша хор хайлэ, иркко аату, — ведьма обнажала гнилые зубы. — Витто, вино, вэйно, несите княжне церемониальные одежды. Кио эйл ниил: княжна мёртвого города, паа вайли, мёртвому — мёртвое.

Малика помнила, как старуха говорила, что прядёт ей смерть, и стиснула губы. На это её терпения уже не хватило.

— Зачем я снова здесь? — спросила она громко. Ведьма, улыбаясь, выдохнула на пряжу.

— Звонкий у неё голосок, — сказала колесу. — Бархатный, грудной, но у Хиллсиэ Ино был лучше.

— Кто это — Хиллсиэ Ино?

Старуха подняла глаза, прищутив чёрный, без зрачка.

— Славное у неё личико, — повернулась к веретену. — Волосы что мёд, брови что смоль. Породистое, родовитое — но у Хиллсиэ Ино было лучше.

Вельха расправила на скамье белое полотно с орнаментом по краю.

— Я — Хиллсиэ Ино, и несколько веков назад из меня можно было выкроить две таких красавицы, как ты. Мои волосы походили на дым, а кожа — на снег. Я была высока и статна, как подгорная царевна, и если бы Хозяин горы не спал, он бы любил мою тугую толстую косу, летящий голос и разные очи. Один — цитрин, второй — обсидиан.

Малика с сомнением взглянула на висящую морщинистую шею, гнилой рот и согбенную фигуру. Скрипящий старческий голос резал ей ухо.

— Княжна мне не верит, — захохотала Хиллсиэ Ино. — Может, тогда мне забрать её молодость? Зачем она ей?

— Каждому отмерено своё, — бросила Малика. — И ни вельхи, ни хшыр-гари, степные людоедки, не могут обмануть время.

Ведьма посерьёзнела и нежно прикоснулась к прялке. Малика же медленно сделала несколько шагов вперёд — у лодыжек всколыхнулись юбки другого, но такого же киноварно-красного платья.

— Лишь над Хозяином горы годы не имеют власти, — сказала вельха. — И над его

жёнами, застывшими в хрустальных домовинах. Проходят десятки лет, а они остаются неизменны. Ты видела их, княжна?

Малика сузила глаза.

— Всё ты знаешь, вельха-прядильщица. Но так и не ответила, зачем я здесь.

— Богиня Сирпа разворачивает перед человеком тысячи путей, — произнесла она. — Расстиляет один шаг за другим, и не всегда мы, её слуги, ведаем, какой будет конец.

Колесо прялки закрутилось само по себе то в одну сторону, то в другую. Потеряв к Малике интерес, Хиллсиэ Ино достала из-за скамьи ритуальный нож, которым обрезала нити. С одной стороны его лезвие было закруглённым, и под стальным слоем туманной дымкой расползались письмена. Ручка была резная, железная.

— ...но порой вельхи-прядильщицы догадываются, что может привести к концу. И не мешают, ибо каждый путь должен быть пройден.

Малика смотрела на нож, не мигая. Она сжала юбки так сильно, что на ткани остались выемки ногтей, а Хиллсиэ Ино проследила за её взглядом, и на дне глаз ведьмы разлился довольный огонёк.

— Завтра ты станешь женой Хозяина горы, княжна. А теперь убирайся.

Девушка была слишком занята своими мыслями, чтобы рассвирепеть в ту же секунду — никто не смеет так ей указывать. Ни ведьма, ни её боги. Пусть Малика сейчас была узницей и драконьей невестой, усталой и простоволосой — она не желала плести кос, и медовая волна лизала пояс. Пусть завтра её возьмёт Сармат — кровь заклокотала в горле, — ничто ей не помешает вырвать чужой наглый язык.

— Убирайся, — повторила Хиллсиэ Ино беззлобно, но страшно, и у её чёрного глаза лопнул сосуд. — Нечего тебе здесь больше делать.

Лицо Малики исказилось, хотя с губ не сорвалось ни слова. Стены комнаты задрожали, и княжна поняла, что у неё очень мало времени. Она не могла потратить его на гнев.

— Я уйду, — зашипела она. — Но сначала ты ответишь на мой вопрос.

Словно бы её не слыша, вельха вернулась к веретену.

— Если ты та, за кого я тебя принимаю, то пророчишь судьбу многим людям. И тебе известно многое.

Скрипело колесо — громче, громче, голос Малики тонул в шуме. Вельха отрезала моток пряжи и убрала нож обратно в сундук, а прялка сыто заурчала под её рукой.

— У меня есть брат, он изгнанник и трус, но... — девушка сглотнула, по-прежнему не сходя с места. — Я хочу знать, жив ли он.

Хиллсиэ Ино молчала так долго, что ноги Малики затекли.

— Твой брат? — переспросила вельха тихо, когда колесо прялки замедлило ход, а нити потекли в морщинистую ладонь шёлком. — Подпаленный сокол. Чёрное выжженное зерно.

Мгновение — и нити в её пальцах скрутились жёсткой проволокой.

— Нет у него ни дома, ни надёжного приюта, лишь соль и холод, — старуха скривила рот. — И путь его нелёгок и длинен.

Малика покачнулась на месте — в голове помутилось. Она не понимала, почему Хиллсиэ Ино говорила о «выжженном» и «подпаленном», едва слушала про путь. Единственное, что важно, — Хортим жив. Он всё-таки жив, и значит, он придёт.

— А теперь убирайся.

И, бросив скользкий взгляд за спину вельхи, Малика ушла.

В детстве Малика знала, какой будет её свадьба. Она — единственная дочь великого рода, и обряд выберут ей под стать. Её не спрячут в несколько покрывал, как тукерскую невесту, чтобы, покорную и скромную, отдать жениху. Её лицо закроют лишь тончайшей газовой тканью — достаточно, чтобы избежать недоброго глаза. На её запястья наденут украшения прародительниц Горбовичей, и лучшие мастерицы пошьют Малике платье. Ритуальные цвета Пустоши — зелёный и жёлтый, но княжна сможет пожелать себе красное. И божий человек окропит её лоб миро и окутает благовонным дымом, а затем положит в колесницу, как мёртвую. Кони лучших кровей отвезут Малику к помосту, где в кругу соратников будет сидеть её жених. Знатный и сильный — а иначе ей незачем за него выходить.

Малика знала и то, что без свадьбы с ней ничего не случится. Если ей не найдут достойного мужчину, она всё равно останется гуратской княжной, богатой и вольной. Она не разделит ни своё имя, ни постель с тем, кто ей не ровня. Мысль об обратном вызывала у Малики отвращение. К тому же отец любил её и дорожил ей так же, как своим городом. Он бы никогда не выдал её замуж силой.

Княжна согласилась бы стать женой великого родовитого человека, но непросто было отыскать того, кто понравился бы ей и её отцу. Кивр Горбович и Малика брезгливо отвергали сватовство тукерских ханов, не говоря об их отпрысках и полководцах. Не надменная ли гордость и презрительное обращение заставляли тукеров ненавидеть правителей Гурат-града? Не поэтому ли так мечтали уничтожить братьев Малики? Сын хана Гатая послал Кифе переломанное копьё — как пристало воину, Кифа согласился, и та битва стоила ему жизни. Спустя девять лет юный хан Агмар вызвал на бой Хортима. Агмару было восемнадцать, и он водил за собой сотни. Хортиму — пятнадцать, и никто бы не назвал его хорошим воином. Брат не принял вызов, посчитав, что живой княжич послужит Гурат-граду лучше, чем мёртвый, и языки разнесли по Пустоши его позор. А отец проклял его и приказал не возвращаться.

К Малике сватались северные князья, но Кивр Горбович относился к ним с подозрением. А когда изгнал Хортима, то твёрдо решил оставить княжну в Гурат-граде, да и девушка слишком любила город, чтобы с ним расстаться. Ни отец, ни Малика не соглашались на предложения гуратских вельмож, стоящих ниже их и жаждущих власти. А когда его дочь пожелал воевода, колодезников сын, Кивр расвирипел настолько, что едва не придушил бывшего соратника и друга, как пса.

...Ш-ширк — скользил гребень в медовых волосах. Руки каменных дев расчёсывали волосы Малики — княжна могла видеть в зеркало и их перемолотые фигуры, и своё лицо. Ш-ширк — пел гребень и шуршала ткань.

Разве её жених не знатен? Его предки правили Халлегатом, который был уничтожен ещё в первые годы правления Горбовичей в Гурат-граде. Разве он не богат? Гора ломилась от его сокровищ. Разве он не силён? Малика помнила чудовище, которое не брали ни копьё, ни стрелы. Силён Сармат — слабый не способен крошить стены и уничтожать в одиночку княжеские дружины. Но он плут и убийца, вор и многоженец, который под конец года вновь становится вдовцом. Существо, изуродовавшее то, что Малике было дорого.

Хоть бы ей хватило сил не вцепиться ему в глаза. Пока — нет, нельзя, не время. Малика криво усмехнулась в зеркало: Хортим бы гордился ей. Слабый, осторожный, отверженный брат — он всегда был терпелив и вежлив.

Малика почти по нему сучала.

Каменные девы марлы расчёсывали её волосы, и княжна смотрела то в зеркало, то на свои лежащие перед ним руки. Правое запястье оплетал красный шнурок с бусиной — Малика взяла его из сундуков, потому что его цвет был точь-в-точь как гуратское знамя. Светлый, алый с рыжиной. Когда пальцы марл трогали её виски, Малика не дёргалась, лишь касалась ладонью шнурка. Она привыкала к перекошенным каменным девам достаточно, чтобы к её щекам прилила отхлынувшая кровь, но не могла успокоить тревожно бьющееся сердце. Стук, стук, шорох — это уже не гребень. Это мягкий сапог, опустившийся на ковёр.

Впервые Малика увидела его в зеркало. Семь рыжих кос, кольцо в носу, мягкую щетину. Узорный кушак, обхватывающий стан поверх дорогой рубахи, медь и золото одежд. Марлы за её спиной испуганно рассыпались в сторону — настолько быстро, как могли их каменные тела, и застыли, будто изваяния, у стен чертога. Этот чертог переливался оранжевым топазом — очень маленький и уютный, хорошо натопленный, с тукерскими коврами, пахнущими чем-то пряным. Словно созданный для того, чтобы обряжать в нём невесту.

Малика медленно поднялась с обитого тканью низкого кресла. Она была в одной длинной исподней рубахе, бледно-жёлтой, с бронзовыми кольцами шитья по вороту, подолу и рукавам. Из украшений — лишь шнурок с бусиной на запястье. Клубы густых волос лились по спине Малики — княжна выпрямилась в полный рост, расправив округлые плечи.

Мужчина, прислонившись к косяку, поскрёб щетину на шее.

— Прежде всего я должен извиниться.

Голос у него был глубокий и гулкий, словно поднимавшийся из горнила вулкана.

— Видят боги, — он коснулся груди пальцами, — я не хотел этого делать. — Мужчина подался вперёд, лениво отлипнув от косяка. Ковёр шуршаще отозвался под его шагами. — Я любил Гурат-град и восхищался им немногим меньше, чем своим Халлегатом. Мне очень жаль, Малика Горбовна.

Он знает её имя. Кто рассказал ему о нынешнем правителе Гурата и его детях? Какая-нибудь степняцкая девушка, готовая целовать ему ноги? Тукеры любили Сарамата-змея, о да, любили. Если верить легендам, он тоже был равнодушен к их культуре и быту.

— Я могу сказать, что твой отец вынудил меня, и не солгу — но что говорить? Былое не вернёшь.

Марлы сгорбились у стен. Сармат подошёл к Малике на расстояние вытянутой руки, а девушка даже не шелохнулась.

— Так Сармат — это ты? — Горло у княжны пересохло, и она сказала фразу так, будто выплюнула горсть песка.

— Звучит как оскорбление, — он широко улыбнулся, обнажив просвет на месте одного клыка.

У чудовища, разрушавшего Гурат-град, не хватало исполинского зуба.

Сармат приблизился ещё на несколько ленивых шагов — потрепал переплетение кожаных шнурков, почти таких же, как у Малики, на собственном запястье. Браслет кочевников с письменами и бусинами.

— Болтают, видеть жениху лицо невесты перед свадебным обрядом — к несчастью. Но это глупость, разве нет?

Малика не отвечала. Лишь, вскинув голову, глубоко выдохнула: расширились ноздри. Чёрный цвет глаз слипся до сажи. Больше Сармат не двигался, только разглядывал её, и не так, как мужчина мог бы смотреть на молодую женщину, стоящую перед ним в одной рубахе. В его глазах не было ни похоти, ни страсти, ни желания обладать — лишь

любопытство и очарование моментом. Ответ пламени в очаге ударялся о волны топаза на стенах, рассеивался над коврами и зеркалами, сундуками и каменными фигурами марл. Его блеск танцевал на руках и волосах Малики, скользил по её лицу.

— Дурная примета, — хрипло сказала княжна, — если муж убьёт жену перед летним солнцеворотом.

Она вскинула подбородок, сжала губы, а Сармат негромко и тепло рассмеялся.

— Малика Горбовна, Малика Горбовна, — он по-кошачьи повёл плечами. — Я отношусь к красоте трепетно. Я люблю то, что рождает мир, и то, что рождает в нём люди. Сожжение Гурат-града — даже это было красиво. — Малика дёрнулась, будто её ударили по щеке. — Прости, но мало когда я видел зрелище более великое. Всполохи пламени в пряной гущине степной ночи. Выскерки огня на саблях и наконечниках копий и стрел. Гуратские соборы во всепоглощающем свете — они были чудовищно, страшно хороши за мгновение до гибели. А когда глазурь на куполах горела, то разлеталась снопами брызг — её орнамент вспыхивал киноварным, и синим, и жёлтым с зелёным, прежде чем начинал чернеть. А колокола на башнях звенели, и их отстукивающий от неба гул был почти различим глазу...

Выдавить бы ему его тёмные с прожилками глаза, чтобы они больше никогда не знали такого наслаждения.

— Однако, — Сармат развёл руками, — я уверен, что пройдёт время, и Гурат-град станет ещё краше, чем прежде. Не я первый его сжёг, и не твой род его первым восстановит.

Да остался ли в её роду кто-нибудь, способный поднять Гурат из пепла? Один Хортим, и Малика верила в него, но всё же брат был слишком далеко.

— Я рассказываю, чтобы ты поняла, княжна: я могу разрушать, но всё же ставлю красоту превыше налётов. Могу ли я убивать? Да, конечно. Могу ли я убивать женщин, которыми люблюсь? Нет.

Он резво шагнул к ней и осторожно коснулся волос.

— И тебя я не убью, Малика Горбовна.

Прежде, чем девушка могла бы его оттолкнуть, Сармат развернулся и щёлкнул пальцами, заставляя марл пробудиться.

— Обряжайте драконью невесту, — приказал он весело. — Ночь будет длинной, но не настолько, чтобы тратить её попусту. И подайте княжне мой подарок — да поживее!

Сармат ушёл, а марлы обступили Малику кругом, опустили её на низкое кресло и поставили на колени тяжёлый медный ларь. Пока её заплетала дюжина каменных пальцев, Малика ватными ладонями подняла крышку: на оранжевом бархате лежал массивный золотой венец. Высокий, словно бы кружевной. Сейчас от венца спускались две крупные подвески — в остальном же он был таким, каким Малика его помнила. Княжеский, гуратский, некогда украшавший головы её предков.

Ложь. Глаза подёрнуло мутной поволокой. Гурат-град сгорел, и всё его золото расплавилось. Говорят, дракону прислуживают легендарные кузнецы — в их силах сотворить подделку. Мёд и отравы — он ли не лгал, когда говорил о мёртвых жёнах? Верить Сармату-змею — мало толку, об этом учит любая сказка.

Малика не догадывалась, что в этом Сармат был искренен. Он не убивал ни одну из дев, лежащих в хрустальных домовинах под Матерь-горой, — это по его просьбе делал Ярхо.

Заплетая княжну, марлы начали тихо и утробно петь.

===== Песня перевала VII =====

Порой, когда зима начинала вступать в свои права, на Недремлющий перевал

опускалось то, что люди называли Самоцветной ночью. Солнце не поднималось из-за горизонта, и небо облеплял мрак. Такая ночь могла длиться как пару дней, так и несколько лун — кто мог предугадать?

— Почему её называют Самоцветной?

Рацлава выглядывала из окна повозки. Облокотившись на край, она подпирала кулаком пухлую щёку, белую с розоватой морозной коростой. Чем становилось холоднее, тем сильнее зудела её кожа — пятна выглядывали из-под лоскутьев, прикрывавших костяшки пальцев, выползали за укутывавший шею шарф.

Телега драконьей невесты ехала спокойно и чинно — никто не гнал коней в полумраке горных дорог. Совьон, замедлив шаг Жениха, держалась рядом: так она могла разговаривать с Рацлавой почти лицом к лицу. Отпустив ворона кружить над перевалом, женщина внимательно на неё посмотрела. Отметила серебряный обруч на лбу, и крупные височные подвески, которые ей почти с материнской нежностью надевала рабыня, и сегодня почему-то единственную тёмно-русую косу. Но главное — бельма, молочно-лиловые в ночном свете. В них отражались звёзды.

Совьон старалась это описать. Высокий небесный купол, синий с голубыми и чёрными переливами. Божественная рука щедро рассыпала по нему серебряную крупу. Зёрна звёзд оседали на снежных елях, бросали отблески на слоистые каменные гряды. Туман вился между ними, застывал тонкой ледяной плёнкой, рассыпался и курился из щелей в земле. Рассказывать Совьон было непросто, ведь драконья невеста не знала цветов, и женщине приходилось добавлять во фразы ощущения. Холод металла, мягкость шёлка, хрупкость размётанного снега.

— Расскажи ей про небесный огонь, Жамьян-даг, — жарко шептала Хавтора, вытягиваясь за плечом девушки. — Расскажи, ведь я не смогу.

От зависти на языке Рацлавы стало горько. Что же способно восхитить даже ненавидящую горы старуху? Совьон вскинула голову, и тогда трижды прокаркал ворон.

— Сууле хила, — произнесла она. Ветер шевелил волосы, вылезшие из свободной косы. — Северное сияние.

Расплывчатые ленты чистого цвета. Слепленные воедино вихри белого, голубого и сиреневого с малахитово-зелёным. Они обнимали горные вершины, таяли на обломанных зубцах наростов. Сверкали, как гигантские змеи над снегом, глотали звёзды и размывались полосами перед караваном. Среди воинов отряда было очень, очень тихо — люди, поднимая лица к небу, словно боялись спугнуть красоту, пляшущую на дне их зрачков.

— Это правда так прекрасно? — спросила Рацлава, когда Совьон, тщательно подбирая слова, попыталась ей объяснить.

— Я много где бывала, драконья невеста, — ответила женщина честно. — Но не видела ничего, что могло бы сравниться с сууле хила.

Спускающиеся с неба самоцветные струны были слишком тонкими и висели чересчур высоко — Рацлава не могла ни понять их, ни вплести в музыку. Ей ничем не помогло даже тело укрывшегося за камнем коршуна. Девушка оставалась слепа и глуха к тому неотразимому, что разворачивалось над караваном. Она выскользнула из сухожилий птицы и зарылась в подушках, слушая, как Хавтора шуршала тканью у окна.

Рацлава пробовала снова ткать из Скали, но песня выходила пустая. В последние дни девушка притрагивалась к его нитям очень осторожно — Совьон бросила, что мужчина чуть не погиб при обвале. Позже до повозки донеслись шепотки: в то мгновение Скали будто

прирос к месту, потеряв возможность двигаться.

О чём думала воительница, когда вправляла Рацлаве вывихнутый указательный палец? Она была слишком занята и едва ли догадалась, что тогда та играла музыку гораздо живее прежней. Телегу неожиданно трянуло, и свирель нанесла больше увечий — так объяснила Рацлава и не солгала. Девушка никогда не хотела причинять Скали мучений — ей двигало лишь желание овладеть искусством. И она не собиралась вырывать столько нитей разом: не её вина, что землю начала бить дрожь.

Рацлава даже не задумывалась, что Скали был смертен и действительно хрупок, а её власть над ним становилась всё губительнее. Когда девушка вспомнила об этом, то начала играть нежнее — но не испугалась. Она не желала мужчине зла, пусть её любопытство и разгорелось с новой силой. Холодное и одновременно пьянящее, как у резчика, отыскавшего кусок редкого минерала. Рацлава — не бывалый воин, алчущий крови вышедшего против него безусого юноши. Не орёл, пикирующий намышь, не хищник и не убийца. Она — гончар и кузнец, строитель и ткач.

Рацлава осознала, что Скали смертен. Но так и не поняла, что он был жив, а под её руку стелились не глина и не лён.

Игра на человеческих струнах перестала давать лихорадочный жар — Рацлава стала увереннее и рассудительнее. Укутавшись в шерсть и меха, она неуловимо перебирала нити Скали. Уже не вытягивала их, не бросала на воздух, а любовно завязывала узелками вокруг колдовской кости. Полотно истории Рацлава сплетёт потом, сначала приготовит пряжу. Некоторые порезы на её руках хорошо зарубцевались, а некоторые до сих пор кровоточили. Указательный палец болел и почти не двигался — приходилось играть без него.

Девушка научилась мягко извлекать нити и не только пугать их владельца, но и лелеять его, позволять наслаждаться теплом пищи и красотой северного сияния. Едва Рацлава вспомнила о «сууле хила», ей захотелось ещё раз поговорить с Совьон. Она не знала, сколько прошло времени — Рацлава успела поспать, а в воздухе всё так же пахло ночью. Воительница услышала её тихий окрик, и огромный конь снова поравнялся с повозкой.

— У тебя красивые истории. Ты не могла бы... — Рацлава замолчала, а Совьон взглянула на неё пронзительно-чистыми, спокойными глазами.

— О чём ты хочешь услышать, драконья невеста?

— Северное сияние, — Рацлава нащупала подрагивающую занавеску. — Небесный огонь. Он возникает из ниоткуда? Просто так?

— Ничто не возникает просто так, — заметила Совьон. — Любой огонь кто-то должен разводить.

И, придерживая поводья, она начала рассказ.

— Когда опускается ночь, снежные ведьмы устраивают шабаш на горных вершинах.

— Ведьмы? — переспросила Рацлава. — Как вельхи?

— Нет, — Совьон выдохнула облачко пара. — Вельхи — ведуньи, и каждая из них когда-то была смертной, но одарённой женщиной, в которую вложили колдовское учение. Они — это земля. Близкая человеку, но со спрятанными в ней тайными знаниями. А сейчас представь, что снежные ведьмы — это воздушные потоки. Они не люди, а ворожеи-полуптицы, с тонкой кожей и носом, похожим на клюв. Скрюченные, с полыми костями. От ребра их ладоней и нижней части рук спускаются почти прозрачные кожистые крылья — стоит распахнуть объятия, и крылья расправятся, как фата.

— Ты их видела?

— О нет, — Совьон усмехнулась, похлопывая коня по шее. — Ворожеи обитают слишком высоко. Я знаю их по чужим историям, передававшимся из уст в уста. Мне говорили, что им незнакома человеческая речь — их горло издаёт клёкот. А когда, устраивая шабаш, ворожеи танцуют на вершинах уже игольного ушка, из-под их ступней сыплются самоцветы, но разбиваются в полёте, оставляя после себя лишь свет.

Рацлава долго повторяла про себя эту легенду. И сразу как она была рассказана, и после длительного привала, и на следующее утро, когда солнце снова не поднялось. Девушка уютно устроилась в подушках и покрывалах и ткала, такала, представляя, как в горах пляшут женщины-птицы и реки огня — Рацлава не понимала, что такое сияние — полыхают под ними.

«Я могу заставить человека утопиться, — говорила Кёльхе, и её голос смешивался с шелестом листвы. — Могу напугать его песней настолько, что он ляжет на дно и не сможет вынырнуть. Человек впустит в свои лёгкие воду и умрёт, напуганный, слабый. Это моё умение, но не моё настоящее искусство. Сейчас ты различаешь немного, Рацлава с Мглистого полога. И даже не ведаешь, каково это — ткать из людей. Но знай, что сначала перед тобой откроются лишь два пути, которые позже расползутся на тысячи троп — оттенки человеческих чувств».

Рацлава воскрешала воспоминания. Какие же пути?

«Страх, — отвечала Кёльхе, шевеля руками-ветвями. — И любовь. Ты ещё ничего не смыслишь, и вот тебе пара самых простых ключей. Вызвать ужас способна каждая хищная тварь, каждый выродок, взявший топор. Ужас, но не любовь. Так что мне стоит сделать, Рацлава с Мглистого полога? Вынудить человека утопиться, обливаясь слезами и липким потом? Или сотворить с ним такое, чтобы ради меня он бросился в воды с лёгким сердцем?»

Рацлава понимала, что в будущем не станет гнушаться и полотен из страха — если придёт опасность. Она была далеко не так искусна, как Кёльхе, и ей редко удавалось выбирать. Но иногда девушке до дрожи хотелось сделать нечто, чем бы древесная колдунья могла гордиться. Как будто это могло искупить её вину. Так и случилось сейчас — под скрип колёс, пенье чужих нитей и воспоминания о глубоком голосе Совьон, рассказывающем красивую сказку.

«Скали, Скали...»

Затянулся узелок.

«...ты ведь слышишь это, слышишь...»

В пазуху свирели брызнула кровь. Рацлава не знала, что она была светлая, будто разбавленная водой.

«...ну почему бы тебе не любить меня?»

Лопнул один узелок, и за ним ожили остальные.

Над перевалом посветлело — слепящая холодная белизна, чьё мерцание дробилось о ледяные покрывала гор. У Скали слезились глаза. Небо над ним высилось меловое, и камень вокруг него спрятался под переливающимся пухом — всё белое, белое, белое. И снежный ком, который рассыпался в его кулаке. И солнце, отражавшееся в кадке с замерзающей водой. Только глаза у Скали были чёрные. И кожа под ногтями чёрная: ударился, наверное.

Его шатало. Руки дёрнулись, и кадка опрокинулась наземь.

Воины собирали палатки и топили над огнём снег. Кто-то завтракал сам, кто-то кормил коней — рассвело, наконец-то рассвело, и повеселевшие люди готовились отправиться в

путь. Их разговоры и смешки, треск их костров, хлопки палаток на ветру звучали для Скали приглушённо. Нескончаемый сухой шелест. В его голове свернулся другой звук, дрожал и свистел, щекотал его, замыкаясь в кольцо. Это качающийся на ветру тростник и тонкая пастушья дудочка. Одна и та же песня, плавная и пронзительная. Она обрывалась и тут же начиналась снова, и музыка разливалась шире. Рябь на речной глади, камыш, девичий веноч. След от чьей-то ступни на мелком песке.

Этой долгой ночью Скали впервые слышал свирель, когда она молчала. Никто не играл, а звуки всё равно роились в его голове.

Ногти его были чёрные. И волосы, лезущие с висков, тоже чёрные. Всё остальное тонуло в свете. Скали ковылял прочь от опрокинутой кадки, проходил мимо своих соратников — кажется, его звали, но Скали не слышал. Помогите мне, хотелось крикнуть ему людям, которые закидывали в телеги постели, седлали коней, вытирали усы от кусочков пищи. Но так ничего и не крикнул, а его не остановили.

Он едет в караване, который везёт чужую невесту, и от этого Скали почему-то становилось больно. Он не помнил её лица, совсем не помнил, лишь знал, что глаза у чужой невесты были белые. И понимал, что её свирель повелевала его нутром. Девушка уже давно ничего не играла, а песня мучила Скали ещё сильнее, чем прежде. Замолчи, замолчи же, замолчи.

Шатаясь, поскользываясь на корке льда, он спустился к единственной телеге с оконцем. Чужая невеста стояла там и, пряча руки в муфте, разговаривала с веселившей её Та Ёхо. Лутый был рядом, упирался плечом в повозку и улыбался какой-то шутке — наверное, вам легко, подумал Скали обречённо.

Вместо лица у чужой невесты висело молочное облако, которое прорезали два бельма.

Если они тронутся с места, то станут приближаться к тому, кто заберёт себе свою невесту. Если Скали переживёт ещё одну такую ночь, то оглохнет от песни, пляшущей в его голове. Замолчи-замолчи-замо...

— Скали! — весело окрикнул Лутый: он увидел его первым. Тут же его изжёлта-русая бровь поползла к переносице, перечерченной грубой повязкой. — Эй, у тебя вид ещё хуже, чем раньше. Ты как?

Он не отвечал. Лишь подходил ближе, и его заплетающиеся ноги оставляли на снегу неровные следы.

— Скали?

Снег белый. И небо белое. Только пальцы Скали чёрные, и рукоять его выдернутого из-за пояса ножа — чёрная.

Он по-звериному рванулся к чужой невесте. Та трепыхнулась испуганно, как птица, и лиловое покрывало, в которое она куталась, беспомощно сползло на плечи. Нож Скали коснулся её кипенного горла — выше шнурка, на котором висела свирель, и остриё прокололо кожу, а лезвие развернулось и скользнуло по шее.

Дальше всё случилось очень быстро. Та Ёхо сгребла чужую невесту за ворот и резко отшвырнула назад. Лутый бросился на Скали и, навалившись, прижал к земле — надавил на запястье так сильно, что тот выронил нож. Мужчина несколько раз толкнулся в снегу, но вскоре затих: нападение стоило ему слишком большого труда, и тело наполнила слабость. Чужая невеста, вытащив ладони из муфты, схватилась за горло. Но Скали не успел вонзить лезвие слишком глубоко — её шею перечертила лишь рдяная лунка пореза.

— Что ты делаешь, ублюдок?!

Лутый вопил ему в ухо, а Скали, блаженно вытянувшись, смотрел наверх — ему не мешал даже давящий на лицо локоть. Теперь небо было не белым, а голубым с барашками облаков, и над перевалом летали птицы. Музыка в голове затихла, голоса зашелестели громче, но радоваться пришлось недолго: подбежали люди. Они кричали и скрипели подошвами, и чья-то рука вцепилась Скали в волосы. Кто-то выволок его из-под Лутого — кажется, Оркки Лис — и грубо толкнул под ноги выросшего у повозки Тойву. Скали, не удержавшись, рухнул носом в снег.

Тойву стоял — огромный, как гора, перекошенный от гнева. Рыжие волосы, освещённые утренним солнцем, напоминали жидкий огонь, выплёскивающийся из жерла вулкана. Скали скорчился у его сапог, будто хотел стать меньше и будто это могло его спасти. Где-то над чужой невестой кудахтали старуха-рабыня, где-то Скали задавали сотни вопросов, но он не разбирал ни слова. Только гнул шею, запускал в рыхлый снег пальцы с чёрными ногтями и плакал.

— Убивайте, — повторял он, и слёзы катились по щекам. — Убивайте, мне уже всё равно.

Тойву тоже оттянул его волосы и заставил взглянуть себе в глаза — но Скали и тогда не сказал ничего внятного, только кусал налипшую на губы тёмную корку.

— Похоже, Недремлющий перевал забрал его рассудок, — процедил Оркки Лис.

Прежде чем Тойву оттолкнул Скали — так, что мужчина завалился набок, — тот увидел Совьон за его плечом. «Забавно бы вышло, — думал он, когда снег набивался в рот. — Она так рьяно следила за чужой невестой. Так рьяно следила, но когда она была с предводителем, я почти перерезал её подопечной горло».

Тойву достал топор, и от лезвия отразился белый солнечный луч.

...Совьон долго стояла, не шевелясь. Только шумно вдыхала холодный воздух — трепетали ноздри.

— Подожди, — сказала она Тойву. Тот уже замахнулся, желая перерубить безумцу шею, но замер, и древко топора застыло в его ладонях. Совьон же шагнула к Рацлаве, плачущей, суетливо трогавшей место пореза, — и стиснула её горло правой рукой.

Прежде чем женщину успели бы оттащить ошарашенные воины из каравана, она зашипела:

— Весь отряд положить вздумала, дрянь?

И разжала пальцы.

Рацлава упала в снег, словно подкошенная, и распахнула посиневшие от мороза губы — как выброшенная на берег рыба. К ней метнулась Хавтора, но Совьон, небрежно преградив рабыне путь, наклонилась и сорвала с шеи кожаный шнурок. Намотала на кулак, подняла к лицу: свирель царапнула запястье. Рацлава схватилась за горящую шею и закричала от отчаяния.

— Отдай!

— Ткать ты из своего жениха будешь, — проскрежетала Совьон, — не из нас.

— Отдай! — Она будто ослепла ещё сильнее и пусто шарила по земле изуродованными руками. Слёзы залили лицо. — Пожалуйста.

— Совьон, — рявкнул Тойву: он до сих пор не опускал топор. Его люди молчали — все, обветренные, насупленные, грозные. Даже Оркки Лис, даже Лутый, едва поднявшийся с колен и моргающий остекленевшим глазом. Оцепенели Та Ёхо, Безмолвный и Корноухий, прыгнувшие к Совьон, чтобы оттолкнуть её от драконьей невесты. Подобрав шерстяные

юбки, притихла Хавтора. Лишь Скали, похныкивая, возился под ногами, и причитала Рацлава, сорвавшаяся на визг. Отдай, отдай, отдай.

— Убей его, если считаешь нужным, — воительница отвернулась от Рацлавы и указала на Скали подбородком. — Но на его месте мог оказаться любой.

Её взгляд пылал — впервые за всё время, а голос дрожал от злобы и досады. Ворон, лохматый, встопорщенный, глухо каркал, кружа над повозками.

По задеревеневшему лицу Тойву было непонятно, чью шею он бы перерубил с бóльшим удовольствием.

— О чём она говорит, Тойву? — рот Оркки Лиса искажился, но предводитель не ответил. Он не собирался рассказывать всему каравану то, что Совьон узнала о драконьей невесте. — Что за «ткать»?

— Много вопросов, — сплюнув под сапоги, Тойву убрал топор. Он понимал, что снесённая с плеч голова одного их соратника — худшее, что воины могли увидеть перед дорогой, даже если эта голова была безрассудная и больная. — Вымеска свяжите и положите на одного из коней, пусть проветрится. Если дёрнется, прирежьте. Если заговорит, дайте знать.

Скали подхватили под локти — он не сопротивлялся, только мычал и плакал, но уже от облегчения: понял, что его пощадили. Тойву сощурил глаза.

— Совьон, разломай к тварям небесным эту свирель. — Рацлава завопила так, что её голос стал тоньше птичьего крика. Едва поднявшись на ноги, она оступилась и снова упала, забившись, как безумная. — У Восточного креста купим ей другую, чтобы играла своему мужу.

Не замечая истошных рыданий, Тойву велел Та Ёхо и Лутому затолкать драконью невесту в повозку и гаркнул, что пора отправляться в путь.

...Тогда Рацлаве казалось, что просто не может быть дня страшнее.

===== Каменная орда II =====

Постель ещё хранила чужое тепло.

Малика Горбовна думала, что выдержит прикосновения Сармата и не выпустит ярость раньше срока. Но разгоралась ночь, а дыхание над её ухом было таким жарким и рваным, клокочущим, будто смех. Движения в ней — торопливые, властные, и нет, нет, это оказалось выше её сил. Малика взбрыкнулась под телом мужчины, лягнула зубами — в полумраке она не поняла, во что вцепилась, в подбородок ли, в плечо. Во рту стало липко и солоно. Она даже пыталась задушить Сармата — руками, подушкой, покрывалом, царапалась, выла, но, конечно, ничего у неё не вышло. А ему, утирающему кровь, было легко и смешно. И он хватал её за волосы, как ловил бы за гриву норовистую кобылицу, и пальцы, оставляющие следы на шее, словно бы держали псицу за холку.

— Что же ты, Малика Горбовна, — по голосу она слышала, что Сармат улыбался. И именно голос — не рука, стиснувшая горло, — заставил княжну притихнуть, обнажив дёсны в оскале. — Я не хочу причинять тебе боль.

Наутро Малика, поднявшись с постели, слепо налетела на маленький столик. Одна из чаш перевернулась, расплескивая недопитое вино, вторая покатила и упала на пол, но девушка не слышала звона. Неуклюже рухнула ваза с хрупкими каменными цветами — рассыпались тонкие лепестки из бычьего глаза и яшмы. Малику шатало и мутило. Она с трудом держалась на ногах, и мимо проплывали стены небольшого бронзово-ониксового чертога. Княжна не могла знать, что марлы так и не довели её до главных залов Матерь-

горы.

Сперва зеркальная гладь показалась ей тёмной, и собственное лицо походило на лицо повешенной, качающейся в тумане. Запутанная копна волос, шея в синяках и следах от поцелуев. Выглядывающий кусочек смятой исподней рубахи, которую Малика натянула негнушными пальцами. Лопнувшие сосуды у чёрного ободка глаз. Княжна медленно приблизилась к зеркалу, упираясь в столешницу под ним.

— Смерти его хочу, — сказала хрипло и ласково. — Слышишь?

Повешенная не ответила.

В последние дни Малика видела много сокровищ. В грудях лежали драгоценные камни, монеты и длинные цепочки, перстни, медальоны, украшенные тукерские сёдла, незнакомые идолы, богатые щиты. Только кинжалов не было. Никакого оружия — ни меча, ни топора, даже ни остро изогнутой заколки. Наверное, каменные слуги прятали их от пленных.

Одно хорошо: где-то в Матерь-горе старая вельха холила свою прялку и обрезала нити ритуальным ножом.

...Кригга никогда не встречала вещицы удивительнее.

Это была музыкальная шкатулка, вытесанная из змеевика. Стоило открыть её, как внутри зашевелился механизм — в первый раз девушка чуть не отпрыгнула в суеверном ужасе. Но потом зазвучала музыка, высокая, лёгкая, пощёлкивающая. Грустно-таинственная и такая красивая, что Кригге захотелось заплакать от восхищения. Что за мастер мог изготовить такое чудо? Кто сумел поймать волшебство и заключить его в оболочку из змеевика? Только великий камнерез.

Внутри ларца двигались фигурки. Плавно ползли гребни бирюзовых и апатитовых волн, подёрнутых изумрудной плёнкой. Жужжа, плыл янтарный кораблик с гранатовым парусом. И, вторя музыке, между пластинами воды показывался хребет костяного морского чудовища. Выныривал его чешуйчатый хвост, поднималась страшная голова — а потом чудовище вновь пряталось за бирюзу, и кораблик мчался дальше. Кригга никогда не видела моря и только слышала о приключениях и кораблях. И она смотрела на шкатулку, стоящую на её коленях, так долго, что заболели глаза.

— Спасибо, — тихо сказала она, вскинув голову. — Спасибо, что принесли.

Кригга сидела в блестящей малахитовой палате, и сувары, карлики-прислужники Сармата, крутились рядом. Маленькие, безмолвные, исполнительные, с каменными лицами, похожими одно на другое. Они положили перед драконьей женой много новых даров, накрыли ей стол, поярче зажгли лампы, чей свет плясал на малахитовых стенах. Из-за этого Кригге казалось, что наступил вечер. Она вспомнила родную деревню, и девичьи гадания, и бабкины истории, рассказанные вкрадчивым полушёпотом.

Плыл янтарный кораблик, и чудовище плескалось в море. Это была погоня без начала и конца.

Марлы нарядили Криггу в другое платье — бежевое с зелёным, нежное, богатое. Как замужней женщине, её волосы спрятали под головным убором, но тот, высокий и тяжёлый, сдавливал лоб. Девушка попросила снять его, и две длинные, уложенные на темени косы развернулись до пят. Кригге было незачем покрывать голову: Сармата она не видела уже очень давно, так же, как и княжну, и едва ли что-то заботило каменных слуг. Поэтому сейчас девушке дышалось почти свободно — она смирилась со своим заточением в горных недрах, стараясь не думать о страшном.

Но не вышло. Сквозь музыку шкатулки Кригга слышала тяжёлый стук — он раздавался

за стенами палаты.

— Что это? — глупо спросила Кригга, зная, что сувары немые. Но сердце ухнуло, когда суетливые прислужники замерли. Оставили ткани и самоцветы, бросили кубки и, шаркая, отползли от входа.

Они испугались.

— Сармат? — голос треснул. Конечно, нет. Человеком он ходил крадучись, невесомо, и едва ли дракон мог издавать такие звуки.

Пересилив себя, Кригга закрыла шкатулку, убрала с колен и осторожно поднялась на похолодевшие ноги. Мерный стук нарастал — ещё немного, и стены бы задрожали. Бледнея, кусая губы, Кригга как можно тише дошла до дверей, малахитовых с синей мозаикой, и застыла, не решаясь их приоткрыть. Что напоминал этот гул?

Шаги.

Не бойся. Ярхо редко показывается в этих чертогах.

Но сейчас Кригга была далеко от зала, в котором Сармат проводил с ней ночи.

А если он и придёт, то не причинит тебе зла.

Ладонь слабо толкнула одну из створок. Кригга припала к щели, щурясь на синеватый свет самоцветного коридора.

Вечерами бабка рассказывала и про него. Про его каменную орду, не знавшую ни усталости, ни пощады. Завидев их, люди поднимали крик и плач. Заливались колокола на башнях — и жители всегда, всегда бежали, за деревянные стены или земляные валы, за частоколы и заборы, и матери хватали ревуших детей, а мужчины брались за оружие, чтобы сломать его в неравном бою. Опаснее умелых воинов лишь воины, которых нельзя убить. Любой знал: Ярхо-предатель приносит с собой гибель. Он всегда приходил туда, куда велел его брат, и вырезанные поселения чернели за его спиной.

Ярхо проходил мимо чертога, и Кригга рассматривала его сквозь узкий просвет. Впервые увидев Сармата, она могла назвать мужчину весёлым, насмешливым, красивым, пугающим, но для Ярхо на её языке вертелось только одно слово. Он был страшен.

Его огромная и грузная, будто вырубленная из глыбы фигура. Его руки, способные без усилий переломить Кригге спину. Безбородое лицо, вытесанный квадратный подбородок, окаменевшая коса ниже основания широкой шеи, которую не мог взять ни один клинок. Кригга разглядела борозды, оставленные на теле Ярхо чужими лезвиями, и ножны у бедра, и его кольчугу — тоже из серой горной породы. Он миновал малахитовые двери, и отзвук шагов гулко разнёсся по коридору.

Криггу сковал холод. Такой жуткий холод, что её начал бить озноб. Девушка отшатнулась, зажимая ладонью рот, и из горла вырвался сдавленный вой.

И тогда шаги затихли — Ярхо остановился.

Ноги отнялись, и Кригга рухнула на пол. Девушка даже не понимала, сколько от неё было шума, пока она пыталась отползти назад. «...если он и придёт, то не причинит тебе зла, — говорили ей. — Кто вообще может обидеть драконью жену?» А кто убьёт Криггу до летнего солнцеворота? Сожжёт её Сармат-змей или каменный воин поднимет на меч?

Кровь забурлила в ушах, и девушка даже не расслышала, как Ярхо ушёл. Наверняка он понял, что в чертоге сидела жена его брата, ещё когда играла музыкальная шкатулка. Потом мог заметить Криггу, смотрящую на него через прорезь в двери, — но Ярхо не было до неё никакого дела. По крайней мере, сейчас. Одеревеневшая от ужаса, Кригга всё же заставила себя подняться. Она смахнула выбившуюся из косы прядку и взглянула на обездвиженных

суваров.

Если Ярхо-предателя боится даже камень, что говорить о ней?

Второй год Сармат был драконом. И второй год раздувался его мятеж — война, страшнее которой не знали Князьи горы. Он уже убил двух своих братьев — замучил слабоумного Ингола, за что был заключён в тюрьму за девять замков. Освободившись, сжёг гордого Рагне, направившего на него свои рати. А теперь его соратники выволокли на капище Тогволода Халлегатского. Полная луна хищно поблескивала над кругом деревянных исполинов.

— Дядюшка, — Сармат радушно развёл руки. Треск костров взметнулся над идолами. — Как ты?

Связанного Тогволода поставили на колени. Одни из его крайних прядей были заплетены в тонкие косицы, и волосы, светло-каштановые с проседью, багровели от крови. Кровь плавала и в слюне, когда Тогволод, стянув разбитые губы, сплюнул на землю.

— Сучёньш, — сказал он. — Брату следовало придушить тебя ещё в колыбели.

Сармат засмеялся, поддев землю носком сапога. Он казался осунувшимся: превращения до сих пор давались ему тяжело, но удовольствие скрашивало любую усталость.

— А я так рад, что могу говорить с тобой.

«...после того, как я уничтожил твоё войско, что было в два раза больше моего».

— Жил как плут, — Тогволод ощерился, — и как плут сдохнешь.

— Может быть, — Сармат пожал плечами. — Но я-то следующее утро застаю, а ты — вряд ли.

Тогволод смотрел на племянника снизу вверх, гордо, дерзко. Потом медленно обвёл взглядом столпившихся на капище людей: тут были соратники Сармата, и жители занятого им города — Касьязы в устье Невестиной реки, и связанные и избитые воины Тогволода. Заметив это, Сармат улыбнулся:

— Они присягнут мне, не успеет забрезжить рассвет.

— Нет, — зашипел Тогволод. — В моей рати нет предателей. А ты достоин только изменников, таких, как...

Едва за правым плечом Сармата выросла широкоплечая фигура, Тогволод изменился в лице. Смешались гнев, и злость, и боль с недоверием — он испытывал эти же чувства, когда впервые увидел Ярхо, сражающегося против его войска.

— ...он.

Сармат с любопытством оглянулся, будто мог увидеть кого-то, кроме брата, насупленного и молчаливого. Тогволод тряхнул головой и горько усмехнулся, обнажив заляпаные рдяным зубы.

— Ярхо, полудурок ты, бестолочь, недоносок. Хьялма говорил мне, а я не верил. До последнего не верил.

Жизнь словно вытекла из Ярхо — казалось, его черты окаменели, хотя этому было суждено случиться лишь несколько лет спустя. Его глаза смотрели в пустоту, и напряглась шея, а шрам на скуле открылся и закровил. Дядька всегда любил Ярхо сильнее прочих братьев. Проводил с ним больше времени, чем отец: брал загонять медведя или кабана, звал объезжать крутого нравом коня и оставлял ночевать в своих дружинных домах. Ярхо даже был похож на него — пошёл в крупную отцовскую породу.

Тогволод повернул искажённое от боли лицо.

— Зачем твои прихвостни притащили меня сюда, Сармат? — И кивнул на деревянные столпы. — Вздумал приносить жертвы?

— Боги их любят, — заметил тот.

— Мятежник и братоубийца, трус и чешуйчатый выблядок. Какому богу нужны твои дары? — Жуткий смех забулькал в глотке Тогволода.

Сармат приблизился к нему и по-змеиному склонился вперёд.

— Ему, — он повернулся и указал на идол за своей спиной. Огромный, с зияющим голодным ртом и символами, выжженными по набухшему заскорузлomu дереву. У его основания плясало самое дикое пламя. — Это Мохо-мар, тукерское божество войны и огня. Мохо-мара мучает иссушающая жажда, и утолить её может только человеческая кровь.

Тысячу лет спустя кочевники забудут своего древнего страшного бога, расщепив его на суровую Жамьян-даг, ездившую на бронзовой колеснице, и Сарамата-змея.

Тогволод смотрел на возвышавшийся над ним столп, и пылающие языки тонули в его зрачках.

— Ты совсем спятил со своими тукерами, раз решил отказаться от отцовских богов.

Сармат выпрямился и хохотнул:

— Не помню, чтобы князьки боги принесли моему отцу благо. Но нет, я рад любым покровителям, даже чужим. И, видимо, небеса и подземные недра благоволят мне, дядя. Тукеры, некогда захватившие Касьязу, оставили здесь своего Мохо-мара. Мой черёд его потчевать.

— Ты просто хочешь убить меня как можно унижительнее, вымесок. Решил бросить, как барана, чужому богу, — рыкнул Тогволод, а Сармат, неспешно прогуливаясь вдоль исполинов, вздохнул.

— Не без этого.

Ночь над капищем была темна и тягуча. В толпе царило молчание, которое нарушали лишь слабые попытки пленных воинов, скрученных и оглушённых, избавиться от пут и человеческих рук, державших их за горло.

— Ну уж нет, — захохотал Тогволод, словно ему, связанному, брошенному на колени, действительно стало смешно. — Нет, сучёныш, так не пойдёт. Я знаю только одного бога войны, и имя ему Тун, и мои предки пируют в его чертогах. Ты позволишь мне умереть в бою.

Сармат вздохнул снова, глубоко и почти горестно. Вновь остановился напротив мужчины и согнулся, упершись руками в колени. Его рыжие косы лизало мерцание костров.

— Подумай сам, дядюшка. Ты сломлен и побеждён — что за радость мне биться с тобой? Какой от этого прок?

— А я о тебя свой меч марать не стану, — выплюнул Тогволод и, дёрнувшись, рывкнул: — Ярхо! Сразись со мной, если не растерял последнюю смелость.

Сармату это не понравилось. Он отошёл, задумчиво поглаживая щетину, — Ярхо стоял на том же месте, где и прежде.

— Ты бы отказался, — Сармат понизил голос, пододвигаясь к уху брата. — Незачем. Я могу просто зарезать его и...

Но он знал, что произойдёт дальше. Ярхо несильно оттолкнул его и шагнул вперёд, вытягивая меч из ножен.

...Тогволода развязали, и кто-то дал ему клинок. Правда, не его — опухшие от веревок руки неохотно привыкали к чужому оружию. Тогволод мерно вращал кистью, сжимавшей

меч, и вёл широкими плечами, а Ярхо ждал, опустив оружие. И исполины в кругу скалились жадными ртами, в которые стекал свет оборотничьей луны и ритуального огня.

— Ты-то куда, дурень? — перекинув рукоять из одной ладони в другую и обратно, Тогволод расставил ноги. Расправил грудь, глубоко выдохнул и вытер рубахой искривившийся в судороге рот. Ярхо не нападал. — Зачем ты это сделал?

Ярхо молчал, лишь лицо у него было пустое и скорбное.

— Что, язык проглотил? — крикнул Тогволод. — Отвечай!

Взревев, он бросился на племянника.

— Отвечай же!

А Ярхо скользяще отбил выпад. Лязгнула сталь, и костры зашипели яростнее.

— Зачем ты всех предал? — Сбилось дыхание. — Что ты не поделил с Хьялмой? Земли? Бабу?

Тогволод разрубил воздух у груди Ярхо — меч столкнулся с мечом, — и в голосе мужчины зазвучали слёзы.

— Бестолочь. Какая же ты бестолочь.

Это он впервые вложил оружие в детскую ладонь Ярхо. И он учил племянника всему, что знал сам, — Тогволод сажал Ярхо в седло, и он вёл его в первой битве, и это он загонял с ним в лесах самых крупных и бешеных зверей. Среди братьев Ярхо всегда слыл лучшим воином, и сейчас мало кто мог сравниться с ним в искусстве. Ему ещё не исполнилось и двадцати семи, но своего учителя он превзошёл.

— Почему ты не нападаешь? — кричал Тогволод. Остриё его клинка взвизгнуло у горла Ярхо — тот отбивался медленно, словно с неохотой. — Почему?

Тогволод бы не одолел его даже здоровым и отдохнувшим. Раненого и усталого же Ярхо мог победить с закрытыми глазами, но лезвие меча подобралось слишком близко и пропахало ему щёку — а он отшвырнул дядю даже не в полную силу.

— Что это такое? — Черты Тогволода перекосило от ярости. В груди хрипело рыдание. — Сражайся, как я учил тебя! Сражайся!

Издав звериный клич, Тогволод рубанул от плеча — Ярхо сумел бы уйти от удара, но не ушёл, лишь слегка отвёл его, и клинок рассёк его кольчугу. Удар был страшной силы, и Ярхо не удержался на ногах, а Тогволод подмял его под собой.

— Бестолочь, бестолочь, — слёзы терялись в каштановой с проседью бороде. — Зачем, ну зачем ты пошёл к нему?

Тогволод не успел ни вывернуть меч для удара, ни подняться, ни наброситься на племянника с голыми руками. Пальцы в свежих ожогах дёрнули его за волосы, изогнутый кинжал лизнул грязное горло, и плоть разошлась с тошнотворным хлюпающим звуком. Кровь Тогволода, густая и тёмная, хлынула ему на грудь, запачкала подбородок и шею придавленного его телом Ярхо.

Сармат, с усилием приподняв обмякшего мужчину, стащил его с брата. Вытер кинжал о штаны и наклонился, чтобы подать руку Ярхо, — тот стиснул её сильнее, чем требовалось, и тяжело поднялся на ноги.

— Нет, так не пойдёт, — сказал Сармат. — Ты мне живой нужен.

Развернувшись, он откашлялся.

— Слушайте. — Остриё укололо ночную задымленную хмарь. — Слушайте вы, — Сармат указал кинжалом на пленных воинов, — и запоминайте. Слушайте внимательно: я пошлю нескольких из вас к моему брату, чтобы они поведали ему обо всём, что произошло

здесь и что ещё произойдёт. Слушайте и вы, — острière метнулось в сторону горожан Косязы, — и пересказывайте это на ярмарках своим соседям. Пусть об этом говорят ваши жёны, ваши дочери и сыновья.

Тогволода швырнули к основанию столпа Мохо-мара, и его кровь, пузырясь и расплываясь, уходила в землю.

— Это, — кинжал нацелился на труп, — правая рука князя Хьялмы из Халлегата. Тогволод Железный Бок, Тогволод Твердоплечий. Его войско пошло на корм воронам — осталась лишь жалкая часть, которую не сжёт дракон и которую не изрубил Ярхо-предводитель.

Исполины вдавались в небесную твердь, а луна горела лихорадочным жёлтым светом. Слушая, как плескались костры, Ярхо медленно вытирал подбородок рукавом.

— Князь Хьялма слаб. Он прячется за каменными стенами, и болезнь душит его — к чему вам такой правитель? Что может дать Хьялма — богатство? Славу? Нет, он даже не способен вас защитить.

Пламя стреляло в воздухе — дикое, танцующее, страшное.

— Я — Сармат-змея, и тело моё — медная гора, и зубы мои — ряды копий. Идите за мной, и я напою вас силой и величием моих предков. Идите за мной, и в целом мире на найдётся врага, способного причинить вам вред, и не найдётся сокровищ, которых бы вы не могли достать.

Кинжал Сармата взвизгнул, вонзаясь в землю.

— Вот моя удача и вот моя мощь. Берите её, берите, — в тёмных глазах змеились нити молний. — Нет на свете князя, способного дать столько же.

Когда Мохо-мара поливали кровью Тогволода, столп рокотал.

— Идите за мной! — Огонь сверкал в провалах глазниц, а пар выходил из щелей древесины.

На шипение люди отвечали гортанным гулом, и звёздное сияние крутилось над капищем. Это была тягучая ночь, долгая, и позже языки разнесли вести о ней по всем Княжьим горам. Докатилось и до медовых залов Халлегата, в котором бравый грохот щитов смешивался со скорбной колокольной песней.

Только Хьялмы там уже не было.

===== Топор со стола IV =====

За окном задували северные ветра. Ухал филин, и волки выли на бледную луну. Это была чёрная и морозная ночь — Хомбо Хаса, богиня-меведица, ударила могучей лапой и ослепила звёзды. Их сверкающие глаза она унесла в берлогу, чтобы отогреть своих детей — и не думала Хомбо Хаса ни о заплутавших лодках, ни о странниках, обречённых погибнуть во мраке. Мать заботили лишь её медвежата.

В очаге урчало жёлтое пламя, и тени набегали на покатый потолок. Их тёмные языки обвивали смуглые пальцы Пхубу — женщина плела амулет. Тени скользили по лицу юноши, укрытого ворохом шкур, пробегали по связкам оберегов и сушёных трав. Не так давно Пхубу напоила больного целебным отваром и расчесала его волосы, длинные и жидкие, гребнем. У основания костяных зубцов петлял узор: сложенные вдоль позвоночника крылья, хвост с шипами и раскрытая пасть. Этот гребень ей подарила старая дочь шамана, когда Пхубу уходила из племени.

Над кроватью медленно покачивались обереги. Поленья трещали, и шелестели травы. Грудной голос Пхубу змеился вдоль деревянных стен, пролетал над плетёными настилами —

привычные для айхов цвета, красный, жёлтый и синий. Песня текла, и с ней смешивались шёпот ловцов для духов, стук бусин и шипение огня.

— Летит Тхигме над морем, и пена лижет его брюхо. — Юноша заворочался на постели. — Спит Тхигме под горой, и самоцветы греют его спину.

Пхубу протянула руку, и её палец оставил на переносице больного густой смолистый след.

— Пусть чужак набирается сил. Пусть другие чужаки возьмут его на корабль, а потом исчезнут.

Зря она привела незнакомцев в Длинный дом. С господином Пхубу не боялась никаких людей, но теперь испугалась за него самого — женщина чувствовала: зло хлынуло через порог, затаилось в углах. Что Пхубу могла сделать, чтобы защитить мужчину, которого любила?

Желтолицый юноша был беззащитен и слаб, но Пхубу знала: она бы придушила его подушкой. Если бы хоть немного верила, что иноземцы уплывут той же ночью и господин забудет о них, а жизнь потечёт так же, как прежде. Но нет: об этом плакали ветра, и ухал филин, и выли волки. Сделанного не воротишь, Пхубу. С горы покати́лась лавина — так беда стремится накрыть твой дом.

Старая дочь шамана всегда говорила, что чужаки приносят с собой зло. Жаль, что Пхубу вспомнила это слишком поздно. Кому ей молиться, кому предложить в дар свою жизнь — забирайте её гибкие пальцы, и сильную спину, и чёрные волосы, которые господин целовал в их лучшие с Пхубу ночи. Женщина задумчиво касалась пучка на затылке — в нём терялись узкие тесьмы с ритуальными орнаментами. На её коленях лежал недоплетённый амулет: совиные перья, бисер, переименовывающиеся нити и знаки, высеченные на косточках снежной лисицы. Только хватит ли жадному горю её любви?

Больше книг на сайте — Knigolub.net

Юноша постанывал под шкурами, борясь с горячечным сном, но Пхубу знала, что сейчас больше ничем не могла ему помочь. Половицы закрипели под ногами — женщина тихо вышла из комнаты, пахнувшей натопленным деревом и лечебным варом. Она нашла господина там, где Длинный дом переходил в скалу — вечно холодный гранитный зал. Здесь пировали чужеземцы, и здесь ворчал большой камин, чьё тепло уносили сквозняки.

Господин сидел в кресле и смотрел на пламя, лизавшее закопчённые камни. Лицо мужчины казалось дряхлым — скулы заострились, а глаза выцвели. Длинные скрюченные ногти лениво царапали подбородок, и на руках, как реки, набухали лилово-синие вены. Треугольная бородка и седые волосы сливались с холодной породой стен.

Пхубу молча опустилась у ног господина, а тот словно бы её не заметил.

Он всегда умел скрывать свои чувства. И, когда чужаки вошли в его дом, забылся лишь на мгновение — Пхубу помнила, как он вздрогнул, увидев незнакомца с ожогами. Но потом господин говорил с пришедшими, и отвечал на их вопросы, и держался спокойно и твёрдо, не выдавая своей тревоги. Но той же ночью рухнул в кресло перед одним из очагов — Пхубу не знала зрелища страшнее.

Господин выглядел мёртвым. Пляска огня отражалась в его совершенно пустых глазах, и Пхубу с ужасом понимала, что его кожа тронута инеем и тленом. Женщина различила призрак паутины в волосах и в складках морщин, наледь на ресницах. Господин сидел так до рассвета, застывший и неподвижный, — смотрел, как бесновалось пламя, вслушивался в хруст горящих веток, и трещины ползли из-под его ногтей. Он думал, и Пхубу могла только

догадываться, о чём.

Сейчас господин хотя бы походил на живого, и женщина уткнулась лбом в его колени.

— Ступай спать, — попросила ласково. — Здесь слишком холодно.

Он не ответил, лишь выдохнул — изо рта пошёл пар — и закашлялся.

Пхубу уже приносила ему одеяла и тёплые отвары, но господин говорил, что не нуждается в этом. И сердце женщины сжималось от боли, когда он хрипел и мёрз, но отказывался от помощи. Пхубу коснулась губами его лежащей на коленях ладони — та была ледяная. Господин не оттолкнул, хотя и не подался навстречу. Задумавшись, он придерживал лоб пальцами другой руки, упираясь о подлокотник. И смотрел на огонь.

Пхубу прижала его ладонь к своей щеке. Так казалось, что господин её гладил.

— Тебе следует поспать. И пойти в тепло.

Он молчал, а Пхубу медленно поднялась, проскальзывая между коленей, и обвила его шею, прильнула с поцелуем.

У губ господина был вкус крови и приближающейся беды.

Когда Инжука пришёл в себя, Фасольд уже готовился рвать и метать от нетерпения. Для него и его воинов ожидание непозволительно затянулось — ещё немного, и Хортиму бы не удалось избежать худшего. Но сейчас, впервые за долгий срок, на сердце юноши было легко.

— Княжич, — прохрипел Инжука, с усилием поднимая шею. Он до хруста сжал руку Хортима и притянул к своему лбу. — Княжич...

Поэтому его любили даже слабым, изгнанным и обожжённым. Бешено любили, страшно — Соколя дюжина знала, случись что, Хортим Горбович не бросит никого из них. Когда чужие князья требовали их крови, когда они умирали от ран и сгорали от болезней, — Хортим не раз доказывал, что не отступится от своих людей. Свободной ладонью юноша похлопал Инжуку по плечу.

— Ложись, — кивнул на примятую постель. — Набирайся сил. Ты нам здоровым нужен.

— Когда отплываем? — не выпуская руки Хортима — сцепленные пальцы упёрлись в грудь, — тукер всё же откинулся на подушку.

— Как только встанешь на ноги.

— Побыстрее бы, — проворчал Фасольд за спиной княжича. — Нежишься здесь, а мы ждём.

Он стоял у окна в трещинках морозных узоров. С потолка свисали пучки трав и обереги айхов — хмурясь, Фасольд щупал одно из перьев, связанных с бусами и костяными пластинками. Потревоженные амулеты постукивали и шуршали, кружились в воздухе.

Над бровью Инжуки выступила жилка, но Хортим легонько толкнул соратника в грудь. Показал, что переживать не о чем, — Инжука и так чувствовал себя виноватым.

— Отдыхай, — княжич по-отечески потрепал его за взмокшие волосы. — Боги, как я рад, что ты очнулся.

Скрипнули половицы — вошедшая Пхубу держала крынку с водой, и лицо айхи было темнее ночи. Ленты вышивки на переднике напоминали змей, а красно-коричневый подол лизал лодыжки, укутанные в шерсть. Хортим ещё помнил встречу с приветливой Пхубу, но с тех пор женщина если и смотрела на них, то злобно и сердито, будто кто-то её обидел, хотя Хортим знал, что, кроме Инжуки, к ней не приближался никто из его дружины.

В чёрных глазах Пхубу плескался дёготь. Она смерила Фасольда и бренчащие амулеты таким взглядом, словно желала вцепиться воеводе в горло. Поставив крынку на скамью,

Пхубу шумно выдохнула, и Хортиму стало стыдно. Что они натворили? Приятное овальное лицо хозяйки исказила лютая, жгучая ненависть — что ещё произошло с тех пор, как они пересекли порог?

— Нам нужно идти, — тихо произнёс Хортим, а Инжука стиснул его руку сильнее, не желая выпускать. — Послушай, мы помешаем Пхубу, а она ведь пришла тебя лечить.

— Хорошо. — Пальцы тут же ослабли. Инжука вздохнул — в горле заклокотал кашель: — Как скажешь, княжич.

Хортим наклонился к нему, приблизился нос к носу.

— Поправляйся.

Уходя, он поблагодарил хозяйку, решив, что уж этому слову — «спасибо» — Вигге должен был её научить. Но Пхубу не ответила. И тогда Хортим позвал за собой Фасольда, не сводящего с женщины настороженных глаз. Тот кивнул Инжуке — и вышел в коридор.

— Странная баба.

— Мы не лучше, — Хортим погладил переносицу, направляясь в глубь дома. — И не забывай, жизнь Инжуки — её заслуга.

— Я заметил, как ты носишься со своим тукером, — Фасольд провёл костяшкой пальца по седому усу. — Мои люди не созданы для ожидания, княжич. Сколько можно? Они хотят добычи и моря.

Будет им море. Что о добыче... Утекающее время жалило Фасольда ещё и потому, что ему слишком не нравилась вторая часть сказки о Сармате. Та, где он не чудовище, а мужчина, любящий своих жён в недрах горы.

Они нашли Вигге в одной из маленьких комнаток, чьи стены были занавешены вытканными полотнами айхов — жёлто-красный, коричнево-синий и редкие чёрно-зелёные нити с нанизанными костяными бусинами. Хозяин стоял рядом со вдающейся в стену каменной жаровней. В руках он сжимал кинжал, а на углях догорали его седые волосы. Отросшие пряди Вигге обрезал до середины шеи.

— А, княжич с воеводой, — сказал он, оборачиваясь. И приветственно склонил голову. — Рад видеть.

Хортим едва не вздрогнул: на какое-то мгновение Вигге напомнил ему не то отца — осанкой и длиной волос, не то Мстивоя Войлича — радушным тоном, отдающим студёным холодом. Он всего лишь охотник, напомнил себе юноша. Отшельник, живущий с женщиной из чужого племени.

— Здравствуй, — княжич шагнул вперёд. — Мой человек...

— Я знаю, — Вигге вытирал кинжал тканью. — Хорошо, если он поправляется. Пусть останется, пока не окрепнет.

Мужчина до сих пор подбирал слова медленно, тщательно раздумывая, но его голос стал увереннее и твёрже. Хортим не впервые беседовал с ним, и каждый раз это было непросто. Порой Вигге не понимал, что ему говорили. Порой сам говорил так, что Хортим не узнавал родной язык.

— Спасибо.

Вигге убрал кинжал в плетёный короб и предложил гостям присесть на узкую скамью, но Хортим вежливо отказался, понимая, что поступить так будет лучшим решением. Не хватало Фасольду поругаться и с этим хозяином.

— Мы пойдём на корабль, чтобы сообщить дружине об Инжуке.

— Как угодно, — сказал Вигге бесцветно. — Но у меня к тебе просьба, княжич.

Хортим повёл обожжённой ладонью, догадываясь, как насторожился Фасольд.

— Конечно. Мы многим тебе обязаны.

— Благо, твой человек выздоравливает. — Вигге остановился напротив вороха тюков, скрестив руки на груди. — И, кажется, позже вы отправитесь в Девятиозёрный город.

Хортим не скрывал это от выручившего их Вигге. На губах запекся горький смех: раз ему отказали родовитые и богатые князья, пришло время отправиться к грошовому. Купеческий город лежал на девяти озёрах к северу от Княжьих гор, и правил им тот, кого князем назвало портовое вече, — сын кожемяки. Говорили, он был добродушным и заботливым. Хортим знал, что Девятиозёрный город, похожий на пухлого весёлого торговца, против дракона ему не помощник. Но там его дружина могла пополнить запасы и найти отдых.

— Возьми меня на корабль, княжич. Даже твой кормчий не знает эти воды лучше, чем я. Так слушай: я выведу вас из этих морей, а вы отвезёте меня в Девятиозёрный город.

Поначалу Хортим потерялся. Потом длинно выдохнул и прочистил горло.

— Зачем...

— Я засиделся на севере, — объяснил Вигге. — Пора бы вспомнить, чем живут Князьи горы.

— Как... как ты вернёшься назад?

— Не беспокойся. Всегда найдутся те — рыбаки, купцы, искатели приключений, — кто поможет мне добраться до подножия самого южного пика айхов. И там я разберусь.

— Но Пхубу...

— Пхубу? — переспросил Вигге, будто услышал это имя впервые. Подумав немного, поскрёб подбородок и ответил: — С ней ничего не случится. Я уезжал не раз — она привыкла.

— Послушай, я... — Хортим был сбит с толку. Он думал, Вигге лишь укажет им путь, прежде чем распрощается навсегда, но и отказать ему юноша не видел причины. Да и велика ли такая цена за жизнь его соратника? — Хорошо. Хорошо, будь по-твоему.

Вигге кивнул, и ему вторило шипение обугленных волос в жаровне. Но Хортим чувствовал, что должно было последовать дальше, — не ошибся.

— Подожди, княжич, — широкая рука Фасольда легла на обух топора, с которым он не расставался. И Хортим согласился с напряжением и недоверием в его голосе. Ему самому меньше всего хотелось брать на борт едва знакомого, пусть и помогшего им человека. — На нашем корабле ходят воины, Вигге из Длинного дома, а путь до Девятиозёрного города неблизок. Скажи, ты воин?

Вигге медленно повернул голову в его сторону.

— Ты не выглядишь сильным. — Фасольд был прав: высокий, болезненно-худощавый, хоть и жилистый Вигге не казался тем, кто мог одолеть врага в поединке. Его светлые, будто выцветшие глаза слабо блеснули, но лицо осталось таким же холодным и одновременно безмятежным. Он хотел что-то сказать, но закашлялся.

Фасольд фыркнул.

— Слышишь? Хрипит как при смерти.

Кашлял хозяин долго — Хортим даже выступил вперёд, теряясь и не понимая, чем помочь. Вигге согнулся, одну ладонь приложил к бешено вздымающейся груди, а второй вытащил из-за пазухи тряпицу, которой закрыл рот. Звук, рвущий его горло, был kloкочущий, булькающий, страшный.

«Да он умирает».

Стоило кашлю ослабнуть, как Вигге торопливо вытер лицо тряпичей — Хортим видел, что та была в крови. И на серебряных усах и в уголках губ тоже осталась кровь.

— Послушай, — повторил Хортим и протянул руку, чтобы Вигге мог на неё опереться, но мужчина распрямился сам. — Ты ведь болен. Я не могу тебя взять.

— Нет, княжич, — просипел в ответ. — Это ты послушай. Я болен, но...

Пол простонал под весом лязгнувшего зубами Фасольда, которому всё явно начало надоедать.

— Поверь, княжич, я буду тебе очень полезен.

Жаровня потухала — в её неверном свете Хортиму привиделось, что зрачки у Вигге вертикальные.

===== Песня перевала VIII =====

С Мглистого полога стекала река — быстрая, светлая, не скованная льдом. Сильное течение выносило во фьорд её бурно пенящиеся воды. Бархатные травы на берегу — рдяные, бронзовые и зелёные, синие от инея — местами скрывали тонкие пласты снега. Над рекой возвышалась крепкая мельница и, поскрипывая, вертелось водяное колесо. Здесь жил хмурый одноногий мельник, и вот уже несколько лун люди из соседней деревни не находили с ним никакого сладу. Раньше Ингар, сын Вельша, был лишь чересчур молчалив и скрытен — стал грозен и страшен. Теперь, чтобы меньше пересекаться с ним, зерно Ингару отдавали целой деревней. Да и то делали торопливо, словно опасаясь. Говорили, недавно мельник едва не забил до смерти собственного отца. Братья оттащили, и младшему из них, Эйсо, Ингар чуть не свернул шею.

Неполный месяц он провёл в утопающем в лесах Гренске, закупаая для мельницы древесину. А как вернулся, узнал, что его любимую сестру увезли Сармату-дракону.

...Трещало колесо, и пузырилась речная вода — молочно-белая, будто бельма. Сгорбившись, Ингар, огромный и заросший — тёмно-русые лохматые волосы, густая борода, — сидел за столом. Из окна открывался вид на холодно-голубой залив и встающие за ним массивы гор. Облака дремали на пиках, но теперь Ингара не трогала красота. Зачем эти холмы, и реки, и солнце, ласкающее мельничное колесо, если о них больше некому рассказать?

В последние несколько месяцев мужчина редко бывал трезв. За муку ему платили сыром и мясом, немного — серебром. И пенистой брагой. Он не напивался вусмерть, но в глазах никогда не исчезал нехороший хмельной огонёк.

— Сколько тебе лет, Ингар? — говорил знахарь, живущий на лесном отшибе. Единственный, кто оставался на мельнице дольше, чем этого требовало дело. — Ты ещё молод. Зачем себя хоронишь?

Ингару тридцать пять, его любимой сестре — девятнадцать. Зимой исполнится двадцать, и столько же останется навсегда. И пусть отец рыдал, мол, никто из них и подумать не мог, что Рацлаву захотят отдать дракону. Ты продал её купцу, которому задолжал. Сказал увезти в Черногород, выменять на её музыку прощение и покой. Ингар бы забрал её назад, да было поздно. Поздно, поздно — как догонишь караван на одной ноге?

Он хотел убить и отца, и братьев, всех до единого, и его бы не остановили ни крики матери, ни плач сестёр. Насилу удержали.

— Страдания не помогут горю. — От знахаря, коренастого, в рубахе с узорным поясом, всегда пахло шалфеем и чабрецом. Седая борода щекотала горло. — Ты хороший человек,

Ингар, и должен оправиться. У меня есть дочь, светлокосая и кроткая. Женись на ней.

Только Ингар выплеснул всю любовь, которую боги когда-то вложили в его сердце.

— Уходи, старик, — сидя на колченогом стуле, он упирался локтем в бедро. — Не надо мне твоей дочери.

Знахарь вздыхал и шёл к двери, но позже возвращался снова.

Рацлава выросла у Ингара на руках. Она была его единственной отдушиной, и он любил её до рези в груди — холил и опекал так, как не смог бы заботиться о собственном ребёнке. Ингар не желал ни богатства, ни славы, ни женщин — ничего, только чтобы эта зима была лютая и снега бы намело по самую крышу. И чтобы они жили с Рацлавой, отрезанные от всего мира. Чтобы сестра засыпала под треск огня в очаге и завывание бурь, а пахло бы сухой душицей. Ингар сидел бы и, не смыкая глаз, сторожил Рацлаву, словно древний воин — ледяную княжну, уснувшую до весенних гроз.

«Это твоя вина, Ингар», — река дробилась о пороги. «Твоя вина», — гулял ветер во фьорде. Черногородский купец никогда бы не захотел его сестру — если бы не свирель древесной волшебницы. О Рацлаве не узнали бы в княжьем тереме, её не отправили бы в дань дракону. Ради сестры Ингар мог принести звёзды с неба и, стоило ей попросить, украл свирель. Твоя вина, твоя — сколько это причинило горя?

Поэтому хмурый одноногий мельник почти не бывал трезв. Поэтому его кулаки были искусаны и избиты в кровь, а те из деревни, кому случалось проходить мимо, рассказывали, что ночами он выл, будто зверь.

Ингар знал одно: он тоже не доживёт до летнего солнцеворота.

Караван спускался по склону. На густой мох напозала корка льда, и оттого земля казалась беловато-синей с вкраплениями зелёной поросли. Недремлющий перевал остался позади — страшный, красивый, заволоченный туманами, и отряд ехал между хвойных деревьев, чьи ветви вдавались в ещё не угасшее вечернее небо. Дорога уводила караван вниз, всё дальше от горных вершин, и на неё медленно опускались крупные и влажные снежные хлопья.

Совьон держалась вровень со средней телегой и видела, как драконья невеста прижималась виском к оконной раме, а её пальцы поглаживали отдёргнутую занавеску. После событий на Недремлющем перевале девушка стала ещё тише, чем прежде. Ни криков, ни плача — Рацлава вновь была большой рыбой, плывущей по течению реки. Она мало двигалась, ещё меньше говорила. И совсем не спрашивала о свирели.

Совьон думала, что руки девушки заживут за эти дни. Но нет: даже от ослабевших холодов набегала новая сыпь. И Рацлава остервенело сдирала корочки с заживающих ран, будто, мучаясь, хотела соскрести кожу с костей. Как-то Совьон предложила ей лечебный отвар, но девушка лишь рассеянно покачала головой.

Ворон кружил над хвойным прилеском, над холмами, которые лениво укрывал полупрозрачный снег.

— Где мы сейчас, Жамьян-даг? — старуха рабыня выглянула наружу. Тёплая шаль обнажила веточку красной татуировки на тонкой руке.

Совьон погладила холку Жениха, идущего мерным шагом.

— Въезжаем на Плато Предателя.

Топкие болота и колдовская зелень трясин. Логова разбойников, а дальше — южное разнотравье и сторевшие остовы лесов. Плато упиралось в Костяной хребет, одним из зубцов

которого была Матерь-гора.

— Какого предателя?

Совьон невесело усмехнулась.

— Всё того же.

Тысячу лет назад на месте плато были острые скалы и глубокие ущелья. На этой земле Хьялма спрятал тюрьму брата-мятежника, и здесь Ярхо предал своего князя. Пахло хвоей и почвой, в вышине каркал ворон — Совьон снова повернулась, чтобы взглянуть в окно подрагивающей повозки. Рацлава — серебряный обруч с подвесками, единственная коса — по-прежнему лениво касалась занавески и пусто смотрела на дорогу. На её мягкой шее до сих пор алели две полосы. Первая — царапина от ножа Скали. Вторая — ожог от сорванного шнура.

Отряд уже достиг прилеска у склона, а Совьон так и не заговорила о случившемся. Да что говорить — несколько дней назад женщина была невероятно зла, но на кого ей следовало злиться? На Рацлаву, тогда то заходящуюся в мольбах — «отдай, отдай», — то лепечущую, что не желала Скали дурного? Совьон понимала: девушка не лжёт. И воительница ли не знала, из чего певцы камня ткут свои лучшие истории. Совьон могла сердиться только на себя — упустила, не почувствовала, не расслышала, когда музыка изменилась, и это едва не обернулось бедой.

Вдруг Рацлава вытянула руку и почти коснулась бока Жениха изрезанными пальцами.

— Ты сломала её? — девушка заговорила впервые за долгое время, и голос у неё был мёртвый. — Сломала, как приказал Тойву?

Совьон посмотрела на неё сверху вниз — тёмные круги под глазами, тревожно искусанный рот. Забрать у Рацлавы свирель — всё равно что вытащить хребет из тела грозного чудовища. Она казалась ослабленной и выточенной слепотой.

— Ответь мне, — слова — шорох песка в гортани. — Я не прошу большего.

Говорят, для того, чтобы победить ведьму, живущую в дремучем лесу, герои старой сказки вытащили самоцвет, пульсирующий в её груди, и раздавили ногами. В самоцвете было спрятано великое волшебство — потеряв его, ведьма умерла. Совьон не сомневалась: потеря свирели убьёт Рацлаву, а Сармату-змею нужна живая невеста.

— Тойву — храбрый и умный предводитель, — Совьон понизила голос до глубокого шёпота. — Но вы со Скали страшно его разъярили.

Даже Хавтора перестала дышать, лишь посверкивала из глубины повозки глазами цвета латуни. Совьон легко натянула поводья — и вцепилась взглядом в своё правое запястье. Лицо женщины вмиг посмурнело, будто она увидела нечто ужасное, выползающее из-под кожи.

Рацлава этого, конечно, не знала.

— Почему ты не продолжаешь?

Воительница нетерпеливо отдернула рукав.

— Поэтому Тойву и забыл о важном. Мало купить тебе новую свирель — он слышал, как ты играла без колдовства певцов камня. Его не впечатлило. И вряд ли такая музыка понравится твоему жениху.

На щеках Рацлавы выступил лихорадочный румянец.

— Ты не сломала её, — в горле мелко затрепетал смех. — Не сломала.

Совьон промолчала, хмуря иссиня-чёрные брови, а драконья невеста прильнула к оконцу, сжимая раму пальцами.

— Пожалуйста, верни мне свирель. Я не буду, клянусь, не буду ткать из людей каравана.

— Нет, — бросила женщина, и её твёрдое, холодное, бесстрастное «нет» заставило Рацлаву отшатнуться. — Не сейчас.

Спорить девушка не посмела. Только втянула воздух — запахи заснеженных сосен, конского пота и стали. И, прикрыв незрячие глаза, откинулась на подушки.

— Что твой безумный приятель? — на последнем слове Оркки Лис сплюнул под ноги. Так и не простил Лутому, что тот, рискуя собой, бросился спасать Скали от обвала.

Стемнело. Отряд разбил лагерь — ближе к земле дышалось легче и радостнее. Даже костры горели веселее, и один Оркки твердил, что веселье это нехорошее, опасное. Взяв лук и колчан со стрелами, он увлек Лутого в лесок — и не только для того, чтобы пополнить оскудевающие запасы. Следовало поговорить.

— Он не безумен, — мягко проговорил Лутый, поддевая носком сапога рыхлую землю. — Зуб даю, батенька: к Скали вернулся рассудок.

Не так давно Тойву позволил развязать мужчину и посадить его в седло.

— Скали вновь такой же, как прежде — злобный и едкий. Только разговаривать ни с кем не желает. Стыдится.

— Он-то? — Оркки хмыкнул, а Лутый развел руками и поправил трепыхающийся у бедра колчан. — Гнилая голова. Было разумнее перерезать ему горло.

«Выпустить кровь, отравленную этой девкой».

Когда воины начали спуск, то стали бить дичь в густеющих лесах. Сейчас, в темноте, от охоты, конечно, толку было немного, но ведь и не за тем пришли.

— Ничего я пока не узнал, батенька. Ни о Совьон, ни о драконьей невесте — уж прости.

А Лутый всё равно надеялся высмотреть следы зверей под еловыми лапами, хотя находил лишь пылающие гроздья брусники. В небе слабо светился тоненький серп месяца — последняя ночь ущербной луны. Лутый вспомнил, как на предгорье со Скали искал оборотня, но отогнал эту мысль прочь.

— Узнаешь, — Оркки вздохнул. — В этом я уверен.

Поднимался ночной хвойный лес — влажно-тёмный, полный треска и шорохов. Ветер свистел в брусничнике, ухала сова. Нестерпимо пахло травой, сыростью и ягодами, раздавленными подошвой. Оркки Лис уже собирался объявить, что пора возвращаться, как заметил движение за одним из деревьев.

— Ну-ка, — проговорил почти неслышно. — Что там?

Лутый пригнулся, подбираясь ближе. И в неверном свете месяца разглядел выступающие за ветвями крупную мохнатую спину и продолговатую морду. Затем — тонкие, но сильные ноги.

— Лось, — прищурил единственный глаз. — Или лосиха.

Юноша не знал, о чём подумал раньше. Удивился ли подвернувшейся удаче или снова вспомнил Скали с его рассказами. Только вот у лосихи — луна очертила безрогую голову — копыта были не посеребрённые. Животное, не испуганное неуловимым шёпотом их шагов, казалось совершенно обычным — клонило короткую шею, перебирало копытами по мягкой земле.

Лутый никогда не слыл метким лучником, и его стрела потревожила разве что сов, охотящихся в ночи. Лосиха дёрнулась, приготовившись бежать, но Оркки успел прижаться к деревьям и спустить тетиву. Упругий звон, лёгкий свист и почти не различимый чавкающий

звук — Лутый решил, что остриё вспоролось лосихе бедро.

Брызнул её скрипящий голос, протяжный, полный боли. Хромая, животное метнулось в глубь леса, и темнота, густая и душистая, скрыла его от охотников. Гнаться было бессмысленно.

— Ничего, — Лутый взъерошил волосы, пока Оркки выпрямлял спину. — Раненой далеко не уйдёт. Мы сможем выследить утром.

В вышине месяц изгибался, как лукавая ухмылка.

...Над горами забрезжил рассвет. Дымчато-голубой с розовым пятном у горизонта. За лесом в низину сбегала речка — берега её тонули в камыше, по глади ползла рябь.

Каждый шаг давался с трудом. Ш-шух — покати́лась набухшая земля под босой ступнёй. Х-хруст — рубаха, некогда спрятанная в узловатых древесных корнях, зацепилась за острую ветвь и разошлась по шву. Холодная вода сомкнулась у лодыжек, хлынула к коленям и накрыла бёдра, окрасившись в багровый. Бок обожгла боль, но Та Ёхо стиснула зубы, удерживая крик. Вспотевшие чёрные волосы прилипли к шее, на лбу выступила испарина.

Девушка стояла по пояс в узкой реке, и лес шумел за её спиной. Птицы перелетали с ветки на ветку, разгоралось утро, а в камышах остывала звериная шкура. Та Ёхо зажимала рукой рану, и между пальцев сочилась тёмная оборотничья кровь.

===== Зов крови VII =====

При северной башне был сад, отгороженный мощными каменными стенами, — княгиня Ингерда любила его. Сад занесло снегом, и слабые вихри крутились у корней рябин, согнутых лютыми ветрами. Ингерда осторожно потрогала ближайшую гроздь киноварно-алых ягод.

— Говорят, отец совсем плох, — Сармат выдохнул горячий воздух в ладони. Потёр их, отвёл за пояс. В его рыжих косах терялись мелкие снежинки, а на щеках от мороза выступил румянец. В девятнадцать лет у Сармата почти не росла борода, так — медная поросль у подбородка. Мальчик, улыбалась Ингерда, какой он ещё мальчик.

Старый князь тяжело умирал. Стенал и бредил, а потом уснул, и лекари не надеялись, что он ещё придёт в себя. Но княгиня не носила траур. И платье её было красное с бронзовым, и широкий тёплый платок, которым она прикрывалась от ветра, раздувался над головой, словно расшитый бисером парус. Кольца, браслеты, подвески, спускающиеся от шапочки, ровно сидящей на шёлковых рыжих волосах. Что горевать? Муж при смерти, но, видят боги, с его кончиной падут мучающие её оковы. У Ингерды теплело в груди, хотя зимний каменный сад был суров и холоден и мерзлая рябина алела в руках. Который день в чертогах Халлегата было тоскливо и пугающе тихо, но теперь к княгине приехал её любимый сын.

— Он совсем плох, — кивнула женщина и шагнула к Сармату. Так хотелось прильнуть к нему, запустить в косы тонкие пальцы, упрямить остаться как можно дольше. Но Ингерда сдержалась и лишь провела ладонью по его чуть шершавой щеке.

— Хьялме уже готовят миро для вокняжения? — слова будто обожгли юноше рот.

Ингерда вздохнула и отступила назад.

— Тогволод говорит, он будет хорошим правителем, — осторожно сказала она. Это было правдой лишь наполовину: и брат её мужа, и дружинники, и родовитые придворные знали, что Хьялма станет великим. — Незачем переживать.

Криница. Когда старый князь ещё был в сознании, то разделил земли между сыновьями, и Сармату досталась Криница. Маленький пыльно-южный город. Несколько десятков

деревянных дворов, повсюду — пахари и скотоводы. Халлегатское княжество огромно, и Криница ютилась на его отшибе.

Сказать, что Сармат был зол, — ничего не сказать.

— Не уезжай, — Ингерда не выдержала и коснулась его руки. — Пусть Криницей дальше правит посадник. Никто не посмеет выгнать тебя из дома.

Сын посмотрел на неё с нежностью и сожалением и накрыл пальцы своими, но ответил: — Нет, матушка.

Ингерда не ожидала другого. Сармат не сможет жить под крылом Хьялмы. Он приехал только когда мать написала, что братья покинули княжеские чертоги. Хьялма отправился в Рваный лог, Ярхо с дядькой Тогволодом — в леса на западе, забрав с собой Рагне и Ингола, — на последних слишком давила приближающаяся смерть отца. Никто не оставлял старого князя надолго, и поэтому Сармат знал, что у него очень мало времени. Когда ещё удастся повидаться с матерью? Да и...

— Я пойду к нему.

— Он уже не просыпается, Сармат. — Одна из ягод рябины лопнула в пальцах Ингерды, окрасив кожу в красный. — Но ступай, раз считаешь нужным.

...Сармат не понимал, почему для него было важным застать отца живым. Старый князь жаловал его даже меньше, чем слабоумного Ингола, и всегда твердил, что из Сармата не выйдет ничего путного. Позже уязвил грошовым наследством — мол, не мешай братьям и мыкайся в одиночестве посреди глухой степи, раз так любишь обряды кочевий.

В его палатах пахло травяными настоями и болезнью. Окна занавешивали длинные плотные покрывала коричневого цвета — они едва трепыхались на слабом сквозняке. Отец выглядел на ложе грузной восковой фигурой. Сармат, устроившись рядом, рассматривал его застывшее лицо, впалые глаза и медленно поднимавшуюся грудь. Тёмные, не до конца поседевшие волосы и жёсткую бороду — и этот человек когда-то был великим. С этим человеком мать была несчастна.

Слуги, пустившие Сармата к отцу, выглядели поражёнными и напуганными. Юноша почти слышал, как спустя несколько дней и они, и управляющие княжьего терема будут рассказывать Хьялме о его приезде. Во рту стало горько — не то от вязких запахов, не то от осознания, что в собственный дом Сармат приходит, словно вор, и тут же спешит убраться прочь, боясь оказаться застигнутым.

— Батюшка, — Сармат склонил голову вбок. — Добрых снов.

Старый князь лежал, напоминая скульптуру на надгробной плите. Разве что стоило скрестить ему руки и вложить в них верный меч. Только Сармат поднялся, как ощутил кожей, что в болезненно-жарких отцовских палатах стало холодно. Звуки сюда долетали слабо, но юноше показалось, что за окнами ржали кони. Как давно они шумели? Почему ожил двор?

Липкий ужас стёк вдоль позвоночника. Если кто-то приехал, пожалуйста, пусть это будут Ярхо с Тогволодом. Пожалуйста, пожалуйста — Сармат вытерпит и дядьку, и заносчивого Рагне, даже обнимет Ингола, который единственный обрадуется ему. Только бы не...

— Не знал, что ты приедешь.

Щёки Сармата вспыхнули, а сердце ушло в пятки. Он даже не отдёргнул покрывало, чтобы взглянуть в окно, — так и замер, касаясь ткани кончиками пальцев. Оборачивался медленно, словно его мышцы сковало.

— Братец, — от широкой улыбки заболели губы. Сармат выдохнул: — Здравствуй.

Хьялма стоял в дверях и небрежно поглаживал треугольную бородку. Его волосы, обрезанные у середины шеи, ещё были каштановыми — в них серебрилась только пара нитей. Сармат не считал себя трусом и давно не боялся ни отца, ни чужого меча или языка, но знал: если бы боги позволили ему заглянуть в лицо главному страху, он бы увидел эти глаза — холодно-синие, словно лёд в северных морях.

А Хьялма всегда, и в четырнадцать лет, и в двадцать четыре, как сейчас, смотрел на Сармата так, будто перед ним до сих пор был мальчишка, стремящийся ему подражать.

— Что же, — просто сказал Хьялма, указав на отца подбородком, — попрощался?

Сармат кивнул, и брат добавил — сухо, но без злости или недовольства:

— Тогда идём поговорим.

Хьялма привёл его в дубовый чертог, самый старый во всём Халлегате. На стене напротив пиршественной залы багровел герб их рода: красный крылатый змей, свернувшийся кольцом. И когда Сармат шёл по родным коридорам, когда видел челядь, торопливо убирающуюся с их пути, и рассматривал рябины за окнами в узорных ставнях, то чувствовал себя узником, которому впервые за долгое время позволили увидеть свет. Халлегат — это слава и древность, и его княжий терем — величие, зачатое на крови. У вина, подаваемого дома, даже вкус был другой: терпкий и жалящий. Сармат думал об этом, сжимая в пальцах чарку. К своей брат притронулся не раньше, чем вино смешали с водой.

Сармат понимал, что это значит.

— Снова кашляешь?

Порой болезнь давала Хьялме короткие передышки, но неизменно возвращалась, распалаясь страшнее прежнего. Хьялма не ответил, лишь постучал о чарку костяшкой пальца, хотя Сармат сделал всё, чтобы в его голосе звучала не тайная радость, а искренняя забота.

— Рагне сказал, что видел твоих людей в своих землях.

— Сосунок, — фыркнул Сармат. — Отец бы ещё Инголу княжество отмерил.

Рагне ушли маленькие, но плодородные земли к западу от самого Халлегата. Щедрое подношение — отец сделал это, прекрасно понимая, что Рагне не станет править сам. Хьялма был достаточно мудр, чтобы вспыльчивый и гордый брат, которому к тому времени едва исполнилось семнадцать, прислушивался к каждому его слову, не ощущая собственной несвободы.

— И всё же, — произнес Хьялма и мягко, и холодно. — Видеть тебя и твоих людей в Халлегате — совсем не то, что за его пределами. Отныне это чужие владения, Сармат. Постарайся не заявляться к Рагне без приглашения.

На что тот ему сдался? Сармата не было в угодьях Рагне — только часть его малой дружины. И юноша надеялся, что её появление довело младшего брата до бешенства.

— Теперь буду внимателен, — Сармат улыбнулся, но тут же недобро сверкнул глазами. — И, обещаю, перестану дразнить Рагне. Скоро опять уеду, братец, ведь меня ждёт очаровательная Криница.

Хьялма смотрел, не мигая. Он никогда не говорил так много и горячо, как Сармат, но его присутствие — спокойное лицо и ждущие ледяные глаза — многим развязывало языки.

— Избы, скотные дворы и мухи над глушью, — Сармат почти плюнул и, запрокинув голову назад, рассмеялся. — Спасибо, отец, удружил.

— Не рассказывай мне о Кринице, — Хьялма сплёл пальцы. — Я сам княжил там, когда

был моложе. Упражнялся. Учился.

Сармат тут же стал серьезнее, но на губах не угасла усмешка. Хьялма было побледнел, но сумел сдвинуть кашель в горле и, погладив переносицу, продолжил:

— Так зачем тебе земли, Сармат?

Тот удивленно приподнял бровь.

— Править.

— Нет, — Хьялма покачал головой. — Играться. — Улыбка Сармата напомнила оскал, а на скулах выступили пятна. — Что ты дашь людям, которые присягнут тебе?

— Славу. Золото. Величие. — Каждое слово — лезвие, обернутое в шёлк.

— А им нужны спокойные дороги и пашни, ломящиеся от хлеба. Разве ты этого не знаешь? Люди хотят, чтобы их дочери не надевали вдовьи платки, а сыновья вырастали и умирали седыми. Ты сулишь народу войну, Сармат, и не для того, чтобы восславить его или защитить. Ты мечтаешь о битвах в честь единственного божества — тебя самого.

Усмешка Сармата была мёртвая.

— Править размеренно и мудро — не по тебе, — Хьялма медленно отпил из чарки. — Скучно и тяжело, а разве ты когда-либо себя перекраивал? Ты честолюбив, и невидимый княжеский венец жжет тебе лоб, но послушай. Послы и зерно, строительство и торговля — неужели ты вправду жаждешь такой доли?

Сармат хрустнул шеей — одна из кос, звякнув золотым зажимом о зажим, свесилась, почти коснувшись стола. Словно не расслышав вопроса, ответил:

— Но ты жаждешь.

— Я — да, — Хьялма сделал жест рукой и обхватил подбородок пальцами. — А ты — не я. Взгляни на Ярхо: он не князь, а воин, притом великий. И Ярхо ли не знает, что мой путь ему ни по душе и ни по плечу? Так же, как мне — его.

— Я честолюбив, — напомнил Сармат. — И невидимый княжеский венец жжёт мне лоб.

— Да, — согласился Хьялма. — Поэтому пока оставайся в Кринице. А как разберёшься с её укладом и своими желаниями, как почувствуешь, что этот княжеский терем для тебя слишком тесен, приходи ко мне.

Хьялма был последним человеком, у которого Сармат вздумал бы что-то просить. Его не привлекали осколки чужих владений. Иное дело — Халлегат и все Князьи горы, распростёршиеся от северных фьордов до кровавого Гурата. Сармат с грустью взглянул на карминное вино в чарке и на гроздь рябины, лежащие на блюде, к которому не прикасался никто из них. Надо было найти мать и успокоить — она, наверное, страшно перепугалась, когда Хьялма вернулся раньше срока.

— Сармат, — тон брата стал ещё холоднее. Кольцо его княжеского перстня блеснуло багровым в серебре. — Ты буен, но неглуп. Захочешь ли стать мне врагом?

Их знамя, вино и рябина, старинный перстень. Всё — красное, красное, красное.

— Ну полно, братец, — улыбнулся мягче, чем прежде. Оба клыка ещё были на месте. — Видят боги, я люблю тебя.

Хьялма медленно подался вперёд — в его зрачках блекнул свет лампад.

— Да сохраняют меня эти боги от твоей любви.

Красное, красное, красное.

Хьялма был последним человеком, у которого Сармат вздумал бы что-то просить.

— Пожалуйс-ста. — Кровь пузырилась в горле, толчками выливалась изо рта. — Молю, Хьялма, пожалуйс-ста.

На месте выбитого зуба зияла брешь.

У исполинских Криницких ворот, деревянных, с вырезанными конницами и степными чудовищами — отголосок бывшего величия — завершилась первая вежа восстания Сармата. Рати Хьялмы и двух его братьев загнали мятежника в город, и Криница не выдержала долгой осады. А в единственном поединке с Хьялмой Сармат проиграл. И позже вся мощь дракона, хранившего несметные сокровища в недрах горы, не смогла вычеркнуть память об этом.

Скрюченные окровавленные пальцы цеплялись за ноги Хьялмы.

— Пожалуйс-ста, пожалуйс-ста. Поц-щади.

Сармат стоял на коленях, и на его грязных щеках остывали дорожки слёз. Спутанные рдяно-рыжие волосы, рана в боку и беспомощно переломанная тукерская сабля. Вскинув голову, Сармат смотрел в лицо брату — и он запомнил то зрелище на всю жизнь. Глаза — синие и ледяные, чудовищные. В них, словно в буре, заходились ненависть и презрение.

Княжеские полотнища рвались в небо. Щерились распахнутые Криницкие ворота, поля задыхались в дыме от подождённых стрел.

— Пожалуйс-ста.

Об этом же молила мать. Об этом, говорили люди, просил и ослеплённый Ингол, умирая от голода в подземельях крепости Сармата.

— Смерть от меча — лёгкая смерть, — дышал медленно, чтобы не проснулся кашель. — Ты её недостоин.

Сколько раз он жалел об этом позже — не перечесть.

Хьялма грубо отпихнул Сармата ногой, а тот, зарыдав, зарылся пальцами в чёрную землю, и хлопья сажи медленно опускались на его спину, будто снег в княжеском саду.

===== Хмелевый князь V =====

Последняя часть пути началась дурно: утром Та Ёхо не оказалось в шатре женщин. Позже Совьон нашла её в прилеске у реки и вынесла к каравану — айха цеплялась за её шею и волочила босые ноги по земле. Лицо Та Ёхо было залито потом, а бедро — распорото до мяса.

— Зверь, — коротко объяснила Совьон, пока бесчувственную девушку укладывали в повозку к драконьей невесте. — Кто знает, что за твари водятся в этих лесах.

Тойву, нахмурившись, спросил, видела ли Совьон чьи-то следы. Нет, покачала головой женщина: видимо, зверь шёл берегом и речная вода смыла всё к рассвету. Бесплезно его искать — глубинно-синие глаза воительницы остановились на Оркки Лисе. Совьон смотрела на мужчину дольше, чем следовало, и Лутый, топчась у телег и глядя на блестящие в траве капли крови Та Ёхо, чувствовал, как язык прилипал к гортани.

Можно уже было сложить два и два.

Тойву говорил, что теперь не стоит бродить в одиночку, — остальные молчали. Деревья качались над дорогой, и птицы пели невесело — что за сила толкнула Та Ёхо идти ночью в прилесок в одной рубахе? Что за когти или зубы её покалечили? Почему лицо у Оркки Лиса стало, словно у покойника, мертвенно-восковое? Его глаза помутнели, а руки тряслись так, что не могли удержать поводья. Но больше Тойву ничего не сказал. И ничего не сказала Совьон — значит, никому не следовало задавать вопросов.

И отряд продолжил путь, двигаясь на юго-восток по Плато Предателя. Травы становились всё гуще, и ветра гуляли над равнинами — впервые дохнуло теплом. Слоистый

уступ плато напоминал поросший срез оникса, внизу бежала полноводная река. У горизонта поднимались настоящие леса — густые, непроходимые.

— Никогда не слышал, чтобы на Плато Предателя обитали кровожадные звери, — сейчас Лутый был единственным, кто мог развеселить угрюмый отряд. Он ли не знал, что Та Ёхо ранило не животное? — Кто угодно, но не они.

— Разбойники, — выплюнул Корноухий, откидывая за шею чуть вьющуюся жидковато-каштановую прядь. Мужчина хлопнул коня по боку, добавив: — И мереки.

— Кто? — переспросили. Но тихо, хотя и заинтересованно — слова не долетали до головы отряда, где ехал Тойву со своими ближайшими соратниками.

— Это не ко мне, — Корноухий провёл языком по зубам, — это к Лутому. Мереки — его маленькие слепки.

— Полно врать, — юноша улыбнулся, пристраиваясь к последней телеге. Он обвёл глазами лица молодых воинов, удостоверившись, что его слушал даже Скали, прячущий лицо в тёмном капюшоне, — все люди Оркки Лиса, до сих пор державшегося обособленно. Оркки замыкал караван, и Лутый не смел тревожить его одиночество.

Мереки, говорил Лутый, это злые духи, обитающие в южных топях у подножия Костяного хребта. Юркие пакостники — настигая отряд, мереки стреножили лошадей, рвали палатки и крали вещи, стремясь рассорить путешественников между собой.

— Они приходят душными ночами и никогда не нападают в открытую, — Лутый коротко втянул воздух через нос. — Мереки оставляют за собой вереницу мелких неприятностей, но порой их нашествие обращается страшным горем.

Они сеяли ругань и смуту — воины не одного отряда, схлестнувшись, поубивали друг друга после стараний мерек. Недобрые шутки сбивали караваны с пути и увлекали людей в трясины.

— А выглядят они как крошечные человекоподобные создания, и лица у них крупные, с безгубыми ртами и острыми зубами, оплетёнными тиной. Мереки часто опутывают себя травами с брусникой и клюквой — редкий глаз сможет их увидеть.

— Но твой-то сможет?

Лутый усмехнулся.

— Узнаем.

И всё же парни приободрились. Маленькие плуты — не неизвестный зверь из прилеска, распоровший Та Ёхо бедро. Даже если они действительно живут на болотах, с ними умелые воины справятся.

— Эй, Лутый, — Гъял подал голос, и Безмолвный кивал в такт его словам. — Ты, похоже, знаешь про леса на плато лучше нас. Расскажи ещё.

Да, юноша слышал многое. Но отшутился и не стал больше ничего говорить — об этом не баяли собиратели историй, а предупреждал Оркки Лис. Черногород находился достаточно далеко от Плато Предателя, чтобы для отряда разбойники, ютившиеся в чащобах, казались неотёсанными и безликими. Они — не ровня княжеским доверенным. Тойву мудро решил, что не стоит тревожить воинов понапрасну — чем ближе к Матерь-горе, тем всем страшнее. А от Лутого Оркки Лис не утаил о Шык-бете — разбойничьем атамане, лютовавшем на плато пару лет назад.

Шык-бет был родом из маленького южного племени, живущего в землях, отошедших колываньскому князю. Отказавшись платить дань, Шык-бет собрал своих людей и ушёл в набеги к плато, но ему повезло больше остальных — его шайку не настиг огонь Сармата-

змея, которому Колывань принесла откуп взамен на защиту от распоясавшегося разбойничьего народа. Никто не превосходил Шык-бета в дикостях. У его хижин стояли колья с нанизанными человеческими головами, обмазанными сосновой смолой. В лохматых чёрных косах Шык-бета стучали косточки, вынутые из отрубленных пальцев, и ни один торговый караван не мог пройти мимо его людей — всех резали.

Говорили, позже кто-то не то вздёрнул его на дереве, не то утопил в болоте. Дело прошлое — но, не желая рисковать, Тойву, пусть и не сомневающийся в отваге и силе черномородских воинов, решил вести свой отряд путём, пролежавшим как можно дальше от мест, где зверствовал Шык-бет. Мало того, что те разбойники были лихи и бессердечны — они слыли хитрецами, расставлявшими сотни ловушек.

Зато за лесами на плато покажется Мать-гора.

...Солнце, прозрачно-жёлтое, поднялось в зенит над дорогой. Та Ёхо не стало лучше: у неё начались жар и бред — на привалах возле айхи суетились женщины, и больше всех — Совьон, но толку выходило немного. Оррки Лис всё мертвел и мертвел с каждым часом, а Лутый впервые не знал, что сказать и как утешить. Тем более, наставник избегал его общества.

Лутый даже хотел поговорить со Скали, но о чём? «Ты оказался прав, и девушка, которую я считал своей приятельницей, бродила под ущербной луной в теле лосихи». Юноша сплюнул на траву и потёр единственный глаз.

Он наблюдал за Совьон у повозки драконьей невесты так долго, что отмечал малейшие изменения. В первый день ноября воительница обернула правое запястье чёрной тряпицей — если бы Лутый знал меньше, то решил бы, что и её поцарапал неведомый зверь. Её ворон летел над лесами, а потом и вовсе исчез и не показывался до вечера. А на ночь караван остановился на шёлковой траве у дряхлых сосен — говорили, за холмом — рукой подать — растекалось глубокое озеро. Лутого снова поставили в дозор, и именно к озеру юноша решил сходить, когда растущая луна разгорелась с полной силой. Но прежде — прежде он сидел у шатра женщин, желая услышать голос Та Ёхо и боясь, что с минуты на минуту сообщат о её смерти.

«Зачем, ну зачем ты увёл Оррки так далеко в прилесок?»

Ему следовало остаться у сторожевых огней, а не спускаться по холму — если Тойву узнает, то Лутому придётся худо. Но он больше не мог выслушивать разговоры других дозорных о звере-душегубе, и потому дышал сладким озёрным воздухом. Ночь пошла на излом, по чёрной глади тёк лунный свет. Спустя четверть часа Лутый рискнул подобраться ещё ближе — бархатные воды колыхалось у самых его ступней: юноша снял сапоги.

За стрекотом сверчков и далёких костров он не сразу понял, что был не один. Ужалила мысль: кто-то пошёл топиться. Либо Скали, либо Оррки Лис — Лутому пришлось ползти вдоль камышей, шелестящих на слабом ветру. Уже приготовившись выскочить из зарослей, Лутый сощурился и рассмотрел лежащую на коряге одежду. И фигуру, стоявшую к нему спиной — вода лизала пояс, — крупную, но не мужскую.

Лутый не чувствовал себя мальчишкой, который подглядывал за обнажённой женщиной. Скорее, он стал нежеланным свидетелем тайного обряда. В лунном свете кожа Совьон казалась белой, как звёздное молоко, а полурасплетённая коса — чернее крыльев ворона. На какой-то безумный миг Лутому привиделось, что спину и руки женщины проела угольная озёрная вода — такого удивили расплывшиеся по телу Совьон пятна. Они были разных форм и размеров, будто смоляные кляксы, и расползались повсюду — по шее,

обычно скрытой воротом рубахи, пересекали бок, чернили поясицу и, по-видимому, перебегали на грудь. Когда Совьон потянулась к своему плечу, Лутый заметил и пятно на правом запястье. Более блеклое, чем остальные, — сегодня женщина прятала его за тряпицей.

Всё, на что хватило юношу, — прижав сапоги к животу, тихо убраться прочь.

Новое утро не сулило ему ничего хорошего. Лодыжки сдавила свинцовая тяжесть, а в горле было кисло — Оркки Лис думал, что выглядел сейчас не лучше безумца Скали на Недремлющем перевале. Тоже шёл, шатаясь, и сторонился разговоров. Отряд только просыпался, но Оркки повезло, и он отыскал Совьон у одной из дрыхлых сосен. Глаза женщины ещё были опухшими ото сна, но смотрела она по-прежнему спокойно и вдумчиво.

Оркки стиснул её локоть пальцами и открыл рот, но вместо слов вырвался лишь сиплый свист.

— Отпусти меня, Лис, — Совьон нахмурилась, и Оркки подчинился. — Что тебе нужно?

Тот рассеянно оглянулся, но к соснам никто не шёл.

— Спаси её, — зашипел. — Я не знаю, кто ты, не знаю, откуда ты пришла, но проси у меня что хочешь и спаси Та Ёхо.

В старых ветвях глухо каркнул ворон.

— А все говорили о твоей рассудительности, Оркки Лис, — Совьон покачала головой. — Та Ёхо — моя подруга, и мне ничего от тебя не нужно. Я не могу её вылечить.

— Почему?

— Не умею. У меня нет таких сил.

— Почему? — упрямо повторил он. — Тойву говорил, ты избавила его от кашля. Рана Та Ёхо не должна стать смертельной.

Совьон вздохнула и приблизилась к его уху.

— Не должна, — согласилась, — но станет.

Оркки Лис отшатнулся, словно она его ударила. А Совьон посмотрела за горизонт, и глаза её были стеклянными.

— Клянусь, я сделала всё, что могла. Но если я и вижу чуть дальше, чем другие, то знаю: мне не суждено помочь Та Ёхо.

Лицо Оркки исказилось. Мужчина покачнулся и упал бы, если бы Совьон не придержала его за плечо.

— Тогда кому суждено? — он взревел от отчаяния — некоторые воины оглянулись. — Жертвы, проклятия, ритуальные песни и подношения — что может спасти её, Совьон?

Женщина уже не отвечала и собралась уходить — но вдруг взглянула на Оркки так, будто впервые его увидела.

— Песни, — сухо повторила она, словно пробуя, как это слово шуршит на языке.

...Пока палатки грузили в телеги, драконья невеста сидела у озера. Её полные белые ноги по щиколотку были в воде — девушка болтала ими, а её рабыня устраивалась рядом на расстеленном шерстяном покрывале. На груди Рацлавы лежали две косицы — несколько волосков запуталось в нефритовых бусах. Её длинные узорные рукава Хавтора уложила на подстилку — чтобы не запачкать сырой землёй. Совьон с неудовольствием заметила, что неподалёку крутился прихвостень Оркки Лиса с приятелями, но останавливаться не стала.

— Здравствуй, — Рацлава вскинула белое лицо, когда услышала её шаги. И попыталась

улыбнуться.

Совьон встала сбоку и наклонилась, почти касаясь подбородком её макушки.

— Ответь мне, драконья невеста. Я знаю, что певцы камня умеют не только разрушать, но и строить. Подчиняя волю, и ранить душу, и лечить её. Но способны ли они исцелять тело?

Рацлава отвернулась и пусто взглянула на плещущееся утреннее озеро.

— Моя наставница умела. Её песня могла крошить кость, а могла и срастить её заново.

— Она научила тебя этому?

Рацлава рассмеялась и подняла пальцы в незаживающих порезах — рукав платья соскользнул с покрывала.

— Я всему учусь сама.

Ты не хуже меня знаешь, что я самозванка.

— Та Ёхо умирает, — тихо проговорила Совьон. — Если вылечишь её, я верну тебе свирель насовсем.

Ноздри Рацлавы расширились, как у шакала, почуявшего кровь. Ей хотелось играть, так хотелось — но одновременно её лицо стало растерянным.

— Я никогда не пробовала раньше. Не уверена, что смогу.

Совьон поняла, что девушка уже думала об этом. Но пересилил страх неудачи — что, если Та Ёхо погибнет, а её свирель опять прикажут сломать?

— Значит, попробуешь теперь, — спокойно произнесла Совьон и, сжав ладонь Рацлавы, осторожно подняла девушку на ноги. Всколыхнулась ткань её рукавов — длинных-длинных, как у колдуний из сказок. — Ну же, идём.

От предвкушения у Рацлавы защекотало в горле.

===== Топор со стола V =====

В этот раз ночь была звёздная. Боги растянули мерцающее кружево над бурлящим северным морем: волны, тёмно-синие с зеленоватым, выбрасывали вверх столпы пены. Бархатные языки накатывали на скалу, нерушимую и огромную, легко подбрасывали корабль чужаков — Пхубу до последнего надеялась, что его отнесёт к каменным грядам и расколется на части. Но не сбылось. Лишь трепетали складки спущенных парусов, и вода, шипя и пузырясь, разливалась по палубе. А скала, в которую вращал Длинный дом, возвышалась над беспокойным морем — грозная и одинокая твердыня. Казалось, мир вокруг рушился, и клокотал, и кипел. В чёрном небе сияли звёзды, норовя сорваться в пучину — прямо в объятия шершаво-солёного шторма.

Деревянная часть Длинного дома скрипела, как снасти старого драккара; в каменных залах гуляло эхо. Пхубу шла по одному из коридоров, придерживая сальную свечу — из окон лился серебряный свет. Женщина уже скинула тяжёлые меха, оставшись в ночном платье, и вынула костяные заколки, распустив волосы. Она была боса, но, казалось, не чувствовала холода. То и дело Пхубу поглядывала в окна: какая была страшная ночь, какая тревожная и яркая. Сегодня звёзды непременно сорвутся в море — и, остыв, превратятся в жемчуг.

Когда-то Тхигме приносил жемчуга — он дарил их не Пхубу, а женщинам, что были до неё. Перламутровые бусины, тысячелетиями лежавшие на холодном дне. Пхубу их не любила. Она считала, что в жемчужных нитях отпечатались судьбы других хозяек Длинного дома: некоторые из них оставались с Тхигме до своей старости, а некоторые уставали и возвращались в родное племя — господин никого не держал. Но неизменно находились новые девушки, желающие помочь ему, и жить с ним, и ждать, когда он снова вернётся в

человеческое тело и схоронит драконью кожу за скалой. Пхубу знала, что в конце концов лица всех хозяек Длинного дома слились для Тхигме в одно — он перестал запоминать их, чтобы не привязываться. Время для него текло совсем иначе, чем для смертных женщин.

Об этом Пхубу предупреждала старая дочь шамана — та, что подарила ей гребень с вырезанным крылатым змеем. Много лет назад она тоже ушла из племени вслед за Тхигме, но вернулась раньше, чем её голова успела поседеть.

«Ты, как и я, задумала большую глупость, — говорила она Пхубу. — Тебе никогда не узнать его любви. Годы ожидания и леденящая пустота — вот что ждёт тебя, девочка, и это тяжёлая ноша».

В восемнадцать зим племя не считало её девочкой. Пхубу сама решала, в чьём доме ей оставаться, кому готовить пищу и с кем делить постель, и она заботилась о Тхигме не для того, чтобы заслужить его любовь. Господин никогда не говорил об этом, но ему было непросто жить в одиночестве — кто натопит комнаты, и сошьёт одежду для человеческого тела, и поможет залатать драконье крыло, лопнувшее в буране? Кто соберёт травы за грядой и приготовит отвар, способный сдержать кровавый кашель? Тринадцать лет Пхубу помогала Тхигме. Ждала его, когда он улетал, — терпеливо, безропотно — и была счастлива. День за днём она могла облегчать существование мужчины, которого любила. Боги позволили ей смотреть на него, касаться его — и если спустя годы Тхигме не вспомнит ни её лицо, ни имя, так тому и быть.

Но сейчас Пхубу шла по коридорам — древесина тревожно скрипела. В небе пылали звёзды, и мелко трепетал огонёк сальной свечи. Пхубу чувствовала, что эта ночь — последняя. Если Тхигме захотел уехать, кто сумел бы ему отказать? Осанка господина, его вкрадчивый голос и строгий и мудрый взгляд. Не имело значения, был предводитель чужаков умен или глуп, — Тхигме, конечно, смог убедить его, и поэтому уплывал завтра утром.

Пхубу знала, что так суждено. Но её душило чувство вины: она привела незнакомцев, и по лицу главного из них — юноши с буграми чудовищных ожогов — Тхигме прочёл, что Молунцзе проснулся. Ненависть Пхубу была не слабее её любви — казалось, она была готова убить не только больного чужака, но и самого Молунцзе, притаившегося в недрах одной из южных гор. Хоть бы Тхигме не уезжал, хоть бы остался здесь, и пусть все княжества плавятся под огнём его брата. Лишь бы посреди бурлящего моря стояла нерушимая скала и звёздное кружево огибало крышу Длинного дома. Но скрепя сердце Пхубу понимала: нельзя. И если кто-то и способен одолеть Молунцзе, то это Тхигме.

Свободной от свечи рукой Пхубу утёрла выступившие злые слёзы. Раньше, тысячелетия назад, каждый из племени айхов был оборотнем — жаль, что сейчас люди измельчали и дар вскипал в немногих. Если бы Пхубу могла, она бы отказалась от человеческого обличья. Она стала бы птицей, чтобы вечно лететь за Тхигме. Чтобы ютиться в его ногах, когда он будет спать, и не смыкать глаз-бусин, проверяя, не подойдёт ли к нему враг. Пхубу бы отреклась от своей живой души, превратившись в верный кинжал или политый кровью щербатый щит, который бы держала рука Тхигме. Если бы только позволили, если бы только ей позволили — но нет.

Когда Пхубу зашла в комнату, её глаза были сухи.

Господин, конечно, не спал. Он стоял в мягком синеватом мраке — у потолка постукивали обереги, шелестели тесьмы и травы, отгоняющие дурные сны. Пхубу оставила свечу у порога и шагнула к Тхигме — трещали доски, рокот отбивался о камень стен.

Женщина почти уткнулась носом в его спину, сдерживая в горле не то рык, не то плач.

— Зря ты отказалась, — тихо сказал Тхигме, оборачиваясь. — Твоим братьям следовало забрать тебя в племя.

Вчера он предложил это впервые, и Пхубу обожгло. Она помнила братьев юными и крепкими, но и их сил не хватило бы, чтобы увезти её отсюда. Нет, Пхубу останется здесь и будет сторожить Длинный дом, пока морские ветра не выбьют борозды морщин на её коже. Пока солёные брызги волн не выжгут ей глаза, смотрящие на юг, и пока чёрная краска не вытечет из волос, оставив снежную белизну.

Неужели Тхигме ждал другого?

Любил ли тебя кто-то так же, как я?

Её пальцы вцепились ему в плечи — Пхубу не могла произнести ни слова. Только смотрела, как в рассеянном свете блестели седые пряди Тхигме. Снаружи шипел шторм — лютуя, он надеялся сбить их скалу; в комнате же подрагивали амулеты, и на сквозняке почти уютно шелестели покрывала на ложе. Пхубу даже не хотела ничего говорить: всё было бессмысленно. Лишь вытянулась и поцеловала мужчину в висок, сплетая его пальцы со своими.

Тхигме медленно отстранился, но посмотрел на Пхубу так, будто впервые увидел именно её. Не призрак женщин, занимавших её место раньше. Не свою молодую княгиню, которую вместе с их сыном сжёг Молунцзе. Пхубу хотела родить господину сына, но если бы она могла иметь детей, Тхигме никогда бы не позволил ей жить с ним.

Его молодой жене, говорили, до сих пор принадлежало его сердце, и человеческое, и драконье. Всё, что делала Пхубу, было ради Тхигме, а не ради его признаний. И она бы уступила его женщине, с которой он был бы счастлив. Но это не мешало ей до дрожи не любить мёртвую княгиню.

Конечно, Пхубу совсем её не напоминала. Во всех историях княгиня Тхигме слыла доброй и кроткой, и люди тянулись к ней, словно на свет. Нежная, светлая, мудрая — баяли, она не была так хороша лицом, как многие юные девы, но её глаза и волосы — точь-в-точь мёд, собранный солнечным летом. Пхубу же — дочь племени, и порой в её чертах проступало нечто звериное. Руки, огрубевшие от работы, алые нити в пучке смоляных волос, костяной кинжал и тёмная кровь, которую Пхубу была готова пустить другому, если бы пришлось защищать то, чем она дорожила.

Тхигме высвободил пальцы и, с трудом разогнув их — костяшки казались синими, — убрал прядь, упавшую Пхубу на лицо. Потом наклонился и дотронулся сухими губами до лба женщины.

Пхубу думала, что в этих простых движениях было больше нежности, чем когда-либо.

Хортим Горбович смог уснуть только на самом рассвете, и ему приснился дракон. Крупнее, чем Сармат, — а в своё время Сармат казался Хортиму огромным. Этот дракон был молочно-бел, и крылья его — исполинские, кипенные, местами разодранные — трепыхались на неощутимом во сне ветру. Иногда, когда расходились пластинки чешуи на лапах и шее, у хребта и на брюхе, у нижней челюсти, между ними проступали алые нити. Словно трещины или незаживающие ссадины. В какой-то момент Хортим понял, что находится на запорошенном утёсе, нависающим над голубым морем, и тело дракона закрывает ему белёсое солнце.

Раздался утробный рёв. Чудовище, прижав морду к земле и изогнув спину, сорвалось с

места — лязгнув, когти оставили на снежном полотне глубокие следы. Из-под его крыльев на Хортима дохнуло холодом: в ветряном потоке летели липкие комья и ледяная крошка.

...Наутро княжич, как и вся его дружина, чувствовал себя помятым и до смерти уставшим. Сморщенный парус уныло хлопал над палубой. В затихшем море пузырились мутные сизо-зелёные воды. Радовало одно: они наконец-то уплывают на юг — вместе со вставшим на ноги Инжукой. Правда, юноша ещё был ослабленным, со впавшими щеками и натянутой на скулах кожей.

Но Хортим оказался не в силах совладать с Вигге. С едва знакомым, кашляющим кровью Вигге — на каждое слово княжича охотник бросал другое, тяжеловесное и чёткое. Но, благо, его болезнь действительно была незаразна, иначе бы непременно погубила Пхубу.

Когда корабль уходил, женщина не вышла за порог. Не провожала, и славно — стоящий у борта Вигге выглядел сосредоточенным, но не обиженным, а Хортиму не хотелось больше пересекаться с Пхубу. Их последняя встреча закончилась нехорошо, и юноша не знал, как своим видом и видом своих людей не причинить хозяйке больше боли.

Тогда Хортим забирал Инжуку из Длинного дома. И когда обрадованные Арха и Латы, чуть не задушив тукера в объятиях, выволокли его из комнаты, Хортим остался наедине с Пхубу. Женщина, стиснув губы, собирала в чашу рассыпанные по столу амулеты и выплёскивала недопитые отвары в большой чан. На её лице отражались такие тоска и решительное отчаяние, что Хортим повёл плечами, силясь смахнуть с себя ощущение чужой скорби.

— Спасибо, — сказал он тихо, даже не ожидая, что Пхубу ответит. Отчеканил слова, надеясь сделать их понятными: — Ты очень помогла.

Её глаза — две кляксы дёгтя. Смотреть в них — всё равно что в бездонный колодец человеческой боли и ненависти. Наверное, поэтому Хортим не выдержал и решил её утешить — очень зря.

— Не убивайся. Вигге скоро вернётся.

Что-то из его слов женщина действительно поняла, и позже княжич пожалел об этом. Пхубу подняла голову и вгрызлась в Хортима взглядом.

— Вернётся? — переспросила она, сжимая чашу так, что пальцы побелели. Из горла Пхубу вновь потекли булькающие звуки — язык айхов: она будто задавала вопросы.

Чужак говорит, что господин приедет назад?

А потом — потом речь стала яростной и жуткой, похожей на проклятия. Пхубу отшвырнула чашу, и костяные обереги разметались у её ног; она переступила через них. Подходила к Хортиму медленно, широко раздувая ноздри — как зверь, желающий вцепиться в добычу. Княжич даже отступил назад — ему совсем не хотелось применять силу и хватать рассерженную хозяйку за руки. Но Пхубу остановилась в паре шагов от него, гортанно рассмеявшись.

— Он не вернётся, — смех мешался с криком. Пхубу согнулась пополам, и воздух рвано вылетал из её рта. — Не вернётся.

...До последнего Хортиму мерещилось, что за тёмными окнами Длинного дома мелькает её фигура. Пхубу напоминала духа, прикованного к заброшенному жилищу. Княжич посмотрел на Вигге — тот сидел на вёслах и даже не оборачивался, чтобы взглянуть, как в утренней дымке таяла скала, бывшая ему обителью много лет. Он смотрел на горизонт из-под седых бровей, и сейчас его лицо как никогда казалось молодым. И если он и подавал голос, то только чтобы спросить у гребцов об изменившихся южных княжествах.

А ещё Вигге кашлял. И тогда ему приходилось держать весло лишь одной рукой — вторая прижимала ко рту измаранный кровью платок.

— Погляди на него, — фыркнул Фасольд Хортиму на ухо. Но даже это сделал беззлобно: так был счастлив, что корабль наконец-то снялся с места. — Недолго он протянет.

С редких, наполовину ушедших под воду каменных гряд в небо срывались чайки — они кричали пронзительно и часто. Налегая на собственное весло, Хортим вскинул голову к светлому небу, подернутому, будто паром, тонкой и словно бы заиндевевшей хрустящей поволокой. Ветер сменился на попутный и легко раздувал парус. Вырезанная на корабельном носу голова чудовища, ныряя с большой волны, лакала плещущую воду деревянным языком. Брызги летели к подвешенным на бортах щитам.

Хортим оглянулся: Вигге смотрел перед собой глазами, похожими на выцветшие древние льдины. Он простой отшельник, в который раз сказал себе юноша, и им всего лишь нужно довести его до Девятиозёрного города.

Ближе к вечеру старый кормчий попросил у Вигге помощи — тот повёл их корабль под низкими гроздьями звёзд. Ветра стихли, и сливовое море, расползаясь с шорохом, покорно пропускало их вперёд. В ту ночь Хортиму снова приснился белый дракон с рваными крыльями и кожей, посеревшей от времени у хребта, — змей раскрывал гигантскую пасть, и из его горла текло пламя, вдающееся в густую морозную вышину.

===== Песня перевала IX =====

Стежок, стежок, другой — стянуть края раны, сшить воедино порванные жилы. Свирель казалась Рацлаве тонкой, будто игла, и как никогда острой. По пальцам разметалась россыпь точек — следы от невесомых уколов. Сейчас Рацлава не ткала полотно, а, пропуская крепкую нить, разбрасывала по нему очертания узоров. Вот незнакомые небесные огни — далёкие, горячие, зо-ло-тые (язык толкнулся о небо) — закручивались в созвездия над их шатром. В эту ночь для Рацлавы не существовало ничего, кроме шатра, разбитого на равнине рядом с лесом. Ничего, кроме Та Ёхо, чья голова лежала на её коленях, и Хавторы, гибко свернувшейся под шерстяным покрывалом. Кроме музыки, льющейся из её свирели, и Совьон. Насыщенный воздух — густые запахи хвои и брусники — обтекал шатёр, и тёплый ветер гулял между деревьев, раздувал сторожевые костры. Рацлаве хотелось, чтобы это мгновение застыло в её памяти — ставка каравана на пути к Сармату-змею и её песня, свивающаяся кольцами, будто пряжа. Ночь, пахнувшая ягодами, лесом и вязкой кровью Та Ёхо, меха постелей и тягучая ворожба.

Совьон не спала — сидела за спиной Рацлавы, вытянув одну ногу и согнув другую, упершись босой ступнёй в пол. Плечи её были расслаблены, ворот рубахи — растянута, а рукава — закатаны до локтей. Обнажались чёрные родимые пятна: смоляные кляксы на предплечьях, у ключиц и лодыжек. Совьон выглядела человеком, наконец-то получившим возможность отдохнуть от долгого пути — Рацлава не знала этого, о чём сильно жалела. Девушка мечтала рассмотреть её лицо — дотронуться кончиками пальцев так, как она дотрагивалась до лица Ингара. Тогда бы она увидела прямой нос и широкие брови с выемкой шрама, очертания губ и щёк. Косу, заплетённую от середины, — сейчас волосы выбивались, и пряди лезли за шею.

Рацлава чувствовала, как воительница наблюдала за ней, пытающейся спасти Та Ёхо. Срастить вспоротые мышцы, залатать разорванные сосуды. Играть рядом с Совьон было легче — Рацлава лечила Та Ёхо всего несколько дней, но уже чувствовала себя уверенно и

спокойно. Она почти позабыла про боль. Позабыла, что раньше только вырывала чужие нити, — вплетать оказалось сложнее. Приходилось медленно пропускать нить через распущенное шитьё, стягивать, прокалывать, держать, чтобы не расползлось. И песня — до чего выходила чудесная песня! Она появлялась виток за витком, позвякивала зо-ло-ты-ми колокольцами, падающими на ложе из мягкого мха.

Рацлава была счастлива. Ей снова позволили дышать, видеть, творить истории — от горячей радости щемило в груди.

Прошедшая буря повалила деревья. Одна из лопнувших осин, обнажив сухое нутро, обмакнула скрюченные ветви в прозрачную реку; вода пузырилась и лизала размякшие берега. Вдоль по течению, хромя, шёл раненый зверь — под сильными лапами мялись трава и почва. У зверя был красивый мех — густой, бархатный, тёплый. Точёные мышцы перекачивались под кожей, кровь сочилась из рваной раны на животе, и крупные рдяные бусины срывались в лунки следов.

Многим певцам камня звуки крошащихся башен и рвущихся глоток были милее шёпота ржи и щелчка вправленных суставов. Кельхе же собирала всё — она лечила и убивала, когда того требовала задуманная ею песня. В её музыке мешались горечь отчаяния, и соль слёз, и острота желаний — Кельхе была великой певуньей. И если она и решала исцелить чью-то рану, то делала это так искусно, что не оставалось даже шрама.

На бедре у Та Ёхо вздувался уродливый рубец — Рацлава осторожно касалась его в перерывах между игрой на свирели. В первые дни шов постоянно расходился и кровоточил — трав Совьон хватало лишь то, чтобы выгнать гной и подарить Та Ёхо глубокий сон. Даже сейчас пласты кожи наслаивались неохотно, и Рацлаве стоило большого труда держать их вместе: о красоте девушка даже не вспоминала.

— Ты долго играешь, драконья невеста. Разве ты не устала? — Совьон полулежала на локтях. Выбившаяся чёрная прядь волос перечертила синий полумесяц на скуле.

Ладони Рацлавы — сплошь в кровоточащих точках от сотен невидимых игл. В первый день, едва дорвавшись до свирели, девушка сшивала звуки до того жадно, что чудом не проколола себе сухожилия.

— Нет, — ответила она, прерывая музыку и выпрямляя спину. Рукав нательной рубахи соскользнул с её полного молочного плеча: Рацлава обернулась к Совьон, стараясь не потревожить Та Ёхо, спавшую на её коленях. — Я могу играть всю ночь.

Всю эту славную, зо-ло-тую ночь, несущую запахи трав в потоках южного ветра.

— Не стоит, — голос и спокойный, и стальной. — Побереги силы на завтра. Ложись.

Перечить Совьон было бессмысленно — воительница, мягко поднявшись, переступила босыми ногами через шкуры и опустилась рядом с Та Ёхо. Бегло ощупала пальцами плотный шов, сплавленный силами Рацлавы. Девушка знала, что сама Совьон спала очень чутко и что глупо было бы пытаться играть после того, как она заснёт. В последнее время женщина особенно следила за её музыкой: отныне Рацлаве запрещалось ткать из живого — не считая большой айхи. Воительница по-звериному вслушивалась в её песни, готовясь почуять неладное, и поэтому, когда днями караван переваливался по Плато Предателя, Рацлава плела свои истории из хвои и брусники, из стука колёс и пробовала подчинить себе воду или огонь.

— Завтра я начну ткать из железа, — зевнув, доверилась она Совьон. Подтянула ноги под рубаху, перекинула за шею косы и завернулась в меха рядом с задремавшей Хавторой. — Но это будет непросто.

— Железо, — протянула Совьон, укрывая сопящую Та Ёхо на её ложе. — Какие сказки ты сможешь вытянуть из него?

— Множество, — устроившись на подушке, Рацлава подпёрла щеку кулаком. — О кинжалах, которые крадут у путешественников хитрые мереки...

— Прихвостень Орки Лиса и до тебя добрался?

— ...о мече славного воина, который в узловатых пальцах сжимает старая вельха. Все знают, что если вельха коснётся оружия, то следующий бой его хозяина станет последним.

Совьон не ответила: Рацлава слышала, что она тушила единственную восковую свечу, освещавшую ей шатёр.

— Если я научусь ткать из железа, то смогу сплести битвы. Разошью полотна поединками и заговорами в княжеских теремах.

— Спи, драконья невеста, — девушке показалось, что Совьон ненадолго, но улыбнулась. Раздался шорох — она легла в постель.

— И, быть может, я сыграю тебе, — ладони ныли. Но Рацлава собиралась ещё до сна смазать их маслом зверобоя из подаренного Совьон маленького пузырька. Теперь она повсюду носила его с собой. — Какую историю ты захочешь?

— О вельхе, — проговорила воительница. — И о мече.

Тёплый ветер осторожно лизнул полог шатра.

Годы, проведённые в походах, отучили Совьон от крепкого сна. И тем странна была эта ночь: воительница не слышала ни единого звука, застыв на шкурах, словно мёртвая. Просыпалась она тяжело, будто выплывала со дна глубокого озера. И мир вокруг был мутным и вязким, и в голове глухо и мерно стучал молот.

Годы, проведённые в походах, приучили Совьон всегда хранить кинжал под подушкой. Она сжала рукоять и рванулась с постели, но покачнувшись и втянула липкий воздух — закашлялась. Зрение рассеивалось: вот шатёр, сквозь щели которого сочился свежий утренний свет. Вот спящие женщины — свернувшаяся под одеялами старуха рабыня, тихо посапывающая Та Ёхо. Рацлава дремала рядом с ними, положив под голову белую руку. На какой-то безумный миг Совьон показалась, что это музыка певуни камня погрузила её в чудовищно глубокий сон. Но нет — Рацлава не имела над ней власти.

Всё было не так, не так. Кинжал неправильно лежал в руке, звуки с запозданием текли в уши, и предметы перед глазами плясали и дробились. На нетвёрдых ногах Совьон приблизилась к выходу и, резко отдёрнув пыльный полог, вынырнула под небо.

Первое, что она увидела, — своего ворона. Каркая, связанная птица каталась у её ступней, тщетно пытаясь сорвать путы и забиться в шатёр. Лагерь заволок туман, но не такой, как на Недремлющем перевале. Этот туман был белым-белым и густым, словно кисель. Ноздреватым, тяжёлым — он стелился по земле, будто пуховое облако. Ворон надеялся докричаться до хозяйки. Пахло топью и смертью, птичьи крылья были перевязаны длинной болотной травой.

Когда Совьон взрезала путы, то увидела, что у кинжала в её пальцах рукоять красная, выточенная в форме скалящегося медведя. Чужая рукоять. И оружие чужое — вопль заклокотал в гортани, да вырваться ему было не суждено. Пошатываясь, Совьон шла, и туман расплзался перед ней, обнажая чёрную землю с примятой травой. Совьон шла — босая, с косой, заплетённой только у самого кончика, в неподпоясанной рубахе и штанах, задранных до щиколоток. Рукава были небрежно и неровно закатаны, а рубаха открывала ключицы, но

сейчас женщина и не думала о том, что кто-то из каравана увидит её родимые пятна и что это вызовет кривотолки.

Воины в палатках спали мёртвым сном — никого не разбудило забрезжившее утро. Сторожевых Совьон нашла у потушенного костра: шалаш обгорелых веток, сквозь которые струился дым. Один сторожевой лежал, завалившись набок, и кровь у его перерезанного горла успела потемнеть. Голова второго лопнула от удара, замарав закопчённые, окольцовывавшие кострище камни.

Третий, с разорванным ухом, распластался на склоне, уходившем к реке, — бросился на собственный меч.

Совьон вложила пальцы в рот и громко, залихватски, протяжно засвистела.

Так отряд узнал, что ночью в лагерь наведались мереки — лукавые духи топей. Их владения начинались в лесу, у которого остановился черногородский караван. Мереки натворили много мелких бед — связали ворона Совьон и остригли гривы нескольким коням (к одноглазому Жениху подойти так не решились), в пару палаток запустили крыс и ужей, решили поменять местами оружие воинов и пустить болотный мох по колёсам телег, но главное — посеяли раздор между тремя сторожевыми. В конце концов один из них, Корноухий, рассвирепев, убил двух других, но не смог уйти далеко: безумие одолело его.

Их положили в рыхлую землю у реки. Тойву смотрел, как зернистая почва укрывала окоченевшие тела, — наравне с другими предводитель рыл своим воинам могилу и сам засыпал её. А когда выпрямился, стал страшен: рыжие косы змеились по запачканным чёрным плечам, и руки были в земле до локтей. Взгляд Тойву дрожал от отчаяния и бессильной злобы — даже Оркки Лис не решался ничего говорить. Над рекой плыли опшётки голубеющего тумана.

— Предводитель, — произнесла Совьон, когда сторожевых похоронили. Женщина выждала: люди отряда направились собирать палатки и сниматься с места, и никто из оставшихся рядом — ни Тойву, ни Оркки, ни Лутый, утирающий заляпанный почвой лоб, — не узнал её голоса.

Тойву взглянул на Совьон и, переменившись в лице, как-то беззащитно, рассеянно кивнул. Из-за пояса вытянул кривой кинжал.

— Это твой, — сказал он. — Его вложили в мои ножны.

А потом забрал из пальцев женщины свой, с медвежьей головой на красной рукояти. Лутый, стоя за спиной у Оркки Лиса, промакивая краем рубахи вспотевшее лицо, вскинул голову и на мгновение ужаснулся: он никогда не видел Совьон такой мертвенно-бледной. Такой напуганной, с бескровными губами и глазами, в уголках которых накупела слеза. И уже когда Оркки увёл его к одной из телег, когда солнце засияло в полную силу, он вспомнил начало октября и подножие Недремлющего перевала. В тот день берёзы утопали в медовом и алом, а Лутый и его друзья — вместе с ещё живым Корноухим и здоровой Та Ёхо — метали ножи в одно из деревьев на предгорье. Кажется, Лутый предложил Совьон присоединиться к ним. Кажется, женщина ответила ему нечто странное.

Но что?

Взлетев в седло, Лутый потрепал жеребца по искромсанной гриве и, гарцуя, сощурил глаз и подставил щёки под жёлтые лучи.

Совьон бросила, что её нож не для игр, и юноша предложил ей свой.

Заскрипели колёса повозок, с которых наскоро счистили мох. Лутый перехватил поводья и попытался найти взглядом Тойву.

Я не притрагиваюсь к чужому оружию. Вот что сказала Совьон в тот день, но Лутый не придавал этому значения: у всех свои обеты. Но сейчас, когда обернулся и посмотрел на воительницу, державшуюся у телеги драконьей невесты, понял: у Совьон есть обеты, которые нельзя нарушить.

===== Хмелевый князь VI =====

Их встретил дремучий южный лес. Дорога текла между мощных деревьев, и свет едва брезжил сквозь бархатную листву: кроны сплетались в малахитовый купол. Караван полз по узким тропам и пересекал опушки, заросшие ароматной травой. Перебирался через ручьи и можжевельниковые заросли.

— Отпусти меня, Тойву. — Совьон по-прежнему на него не смотрела, лишь прямо сидела в седле. — Отпусти, я вернусь к закату. С повозками вы передвигаетесь медленно, а мой конь быстрее любого из ваших. Я успею вас догнать.

Совьон говорила так тихо, что никто, кроме Тойву, не мог бы её услышать. Но её «отпусти-отпусти-отпусти меня» царапало предводителю слух — она просила, будто он удерживал её силой. Будто он был ей нежеланным мужем, запирающим в неродном доме, и словно бы что-то звало Совьон, мучило, нещадно вырывало из кольца его рук.

— Что случилось? — спрашивал Тойву, едва разлепляя уголки губ, и звуки не шли из горла женщины. Она направляла непривычно тревожный взгляд в сторону горизонта, перечерченного листвой и хвоей.

— Не спрашивай. Лишь отпусти. И не посылай со мной никого из отряда.

Не было над Совьон никакой власти. Никогда не было, хотя воительница и позволяла думать иначе. Что ей предводитель отряда, что князь и что сами боги? Тойву ей даже не муж. И никогда бы им не стал, и не сумел бы удержать Совьон рядом с собой, с караваном, с драконьей невестой.

— Отпусти, — женщина наконец-то повернула голову, пригибаясь под особо низкой веткой. И глаза у неё были — голубика в переливающейся малахитовой листве. Полумесяц расплавился на скуле аспидным серпом. Чёрные волосы блестели, словно крылья, которые её ворон раскидывал над густым южным лесом.

Тойву любил свою жену. Любил сильнее, чем мог бы любить кого-нибудь другого, и он хотел вернуться к ней — красивой и нежной, с пышными бёдрами и светлыми косами, пахнувшими яблоком и некошеным лугом. Он желал обнять её и подхватить на руки их сына, русого и курносого, как мать. Если бы боги дали Тойву несколько жизней, ни одну бы из них он не провёл рядом с Совьон. Но в народе говорили, что у воинов — особая смерть, и лицо у неё красивое. Тойву знал, что у его смерти были бы глаза Совьон — ягоды голубики, лопающиеся под копытами боевого коня.

Когда отряд переезжал могучие, выползающие из-под земли корни дубов, морщины на лбу Тойву разгладились. Мужчина устало махнул рукой: поезжай. Ты вольна делать всё, что пожелаешь. Хочешь — возвращайся, хочешь — нет, и пусть лютые ветра поют тебе колыбельные на перекрестье длинных дорог.

— Я вернусь к закату, — твёрдо сказала Совьон.

Она была свободным человеком, но, сколько Тойву знал её, исполняла всё, что обещала. И она клялась на своём мече защищать драконью невесту до тех пор, пока та не окажется в чертогах Сармата. И пока караван не достиг Матерь-горы, конечно, Совьон будет рядом. А потом... Тойву нравилось думать, что он встретится с Совьон ещё раз, когда их путешествие закончится. Когда воины вернутся в Черногород и попытаются забыть о перевалах, о

болотах, о бельмяноглазой девушке с колдовской свирелью, на месте которой могла бы быть их сестра или дочь.

Может, однажды Совьон придёт в дом Тойву. Появится на его пороге, ведя под уздцы огромного коня, — иссиня-чёрная, статная, чуть усталая с дороги. И Тойву будет говорить с Совьон как с соратницей, и они вспомнят всё, что случилось в этом походе. Его жена усадит гостью за большой семейный стол, на скамью из красного дерева, и подаст напитки и пищу, хотя взглянет совсем не так, как смотрела бы на других боевых товарищей мужа. С лёгкой ревностью. Она примет Совьон радушно, но настороженно, потому что увидит в ней не воина, а красивую женщину. Высокую, крепкую, с глазами как бездонные колодцы. Долго же потом Тойву придётся обнимать милую и убеждать, что Совьон — всего лишь одна из воителей в его отряде, не больше и не меньше. И он не любит ни этой её чудовищной красоты, ни её тёмных тайн. Но ничего, у Тойву чудесная жена. Она поймёт.

Совьон сядет у его очага и под вечер наконец-то улыбнётся краями сухих губ. И, Тойву знал это, в его доме она будет казаться чужой. Чужой среди этих яблоневых садов и бескрайних пашен, среди столов из красного дерева, деревенских собраний и семейных историй, среди игрушек, вырезанных Тойву для сына. Совьон — это северные леса и скалы, бесконечные дороги и синие воды глубоких рек.

Поэтому-то она никогда к нему и не придёт.

Никто не решился спросить, почему уезжала Совьон. Сам Тойву не был настроен что-то рассказывать. Она обещала вернуться к закату — и что теперь говорить? Правда это или нет, слова уже ни чем не помогут. Но — мужчина ловил взгляды, устремлённые в спину Совьон, — воины отряда подумали, что она сбегает. По-крысиному бросает их в преддверии чего-то страшного. И хотя Тойву не позволял себе таких мыслей — Совьон не давала повода усомниться в своей храбрости, — он понимал, что всё это было затеяно неспроста.

Совьон остановилась всего лишь на мгновение — у края небольшой опушки, гарцуя перед влажной древесной тьмой. Обернулась, смахнула короткую смоляную прядь со лба, посмотрела на отдалившийся караван. И у Тойву почти защемило сердце. Предводителю показалось, что он видит Совьон в последний раз.

Жених мчался так быстро, что комья почвы летели из-под его копыт. Ветки хлестали коня по вороным бокам, листва путалась в волосах Совьон — но всадница неслась сквозь лес, не чувствуя под собой земли. Деревья прижимались друг к другу всё теснее, и непроглядная зелёная чаща облепляла со всех сторон. Запах диких ягод и горьких трав, глухие крики ворона, хлопающего над головой, и восстающие дубы-исполины, увенчанные изумрудными кронами, будто княжескими венцами. Чем дальше ехала Совьон, тем горше и тяжелее становился вокруг воздух. Жених нёс её к сердцу дремучего леса — прямо к его хозяйке.

Совьон выросла в северных дубравах и лучше, чем кто-нибудь другой, находила дорогу в непроглядной чаще. Она умела распутывать узлы малозаметных троп и знала, как выйти к человеческому жилищу. Но женщина понимала: даже самый искусный следопыт и самый опытный странник не сможет отыскать путь к хозяйке леса, если та сама этого не захочет. Перед Женихом разбегались юркие лисы, сурки прятались в норы, и белки скрывались в листве. Перескочив через бурелом, конь остановился: тревожно забил копытами, выпуская из ноздрей пар. Даже он, огромный и лютый, не решался подойти ближе. Дорога вывела Совьон к хижине Моркки Виелмо — ведьмы-вельхи, хранительницы здешних мест.

Совьон не стала мучить Жениха и, оставив его у трёх лип, одна пошла за частокол. Её ворон беспокойно кружил в небе над кособокой хижиной, боясь опускаться ниже верхушек деревьев. К дому Совьон пробиралась крадучись, словно на охоте; пальцы легли на рукоять меча, но что могла стать против колдовства Моркки Виелмо, младшей вельхи древнейшего ведьминского рода? Хижина её поросла мхом, а у двери, постукивая, висели костяные амулеты, путавшиеся в вязанках сушёных цветов и ягод.

— Я слышу топот коня, громкий, словно гром. Гр-ра, гр-ра, гр-а, кто же пожаловал ко мне?

Не мог такой голос принадлежать смертной женщине. Насмешливо-пронзительный, глубокий, вкрадчивый, просачивающийся сквозь щели древнего дома.

— Я слышу лязг стали, острой, словно зубцы гор. Я слышу журчание крови, чёрной, словно вороново крыло. Кто, кто, кто же пожаловал ко мне?

Совьон стояла у порога ни жива ни мертва. Отодвинув обереги и багряные листья, нанизанные на нити, она прикоснулась пальцами к шершавой двери.

— Уж не ты ли это... — Сердце пропустило удар. Ворон испуганно закаркал в вышине. — Уж не ты ли это, Совайо Йоре?

У вельх всегда двойные имена. Так легче запутать людей и духов.

Скрип — это Совьон распахнула дверь. Треск — это отозвались сухие доски под её сапогом. Ей, чересчур высокой, пришлось наклониться, чтобы не задеть головой верхнюю балку. Так захочешь-не захочешь, а согнёшь перед хозяйкой спину.

Смех брызнул ей в лицо. Недобрый смех, жуткий.

— Ах, Совайо Йоре. Здравствуй, Совайо Йоре, посмевшая прийти ко мне после того, что натворила.

Давно никто не называл Совьон так. И каждый звук в её имени — нож, вспарывающий старую рану.

Моркка Виелмо не вышла к ней навстречу, и Совьон пришлось пройти вглубь хижины. Обитель лесной колдуньи: стол, заставленный сосудами из разноцветного стекла, охапки приготовленных для снадобий трав и засушенных плодов. Украшения, котлы, птичьи черепки и лисьи лапки, подвешенные на тонких жгутах и медленно поворачивающиеся под потолком. Запахи влажного меха и чернозёма, древесных смол и ломких цветочных лепестков.

Вельха Моркка Виелмо стояла в окружении пышных душистых вязанок и амулетов. Среднего роста, не толстая и не худощавая, с морщинами, перечертившими её лицо, но не сделавшими его сморщенным, словно гнилая слива, — Князьи горы знали куда более старых ведьм. У Моркки были полностью седые волосы, лохматившиеся на голове и от середины заплетённые в две косицы, перетянутые кожаными алыми и коричневыми тесьмами. Платье, расшитое зубчатыми кольцами узоров, жилистые напряжённые руки — будто когти орла, готового вцепиться в горло.

Она была сильна. Сильнее обычных ведьм — как и все её сёстры. И достаточно молода по меркам вельх: не зная её, Совьон могла бы дать Моркке Виелмо пятьдесят восемь или пятьдесят девять лет. Но, конечно, та жила на свете гораздо, гораздо дольше.

— Ну что же ты молчишь, Совайо Йоре? Может, в битвах тебе вырвали язык?

— Не вырвали, — ответила Совьон. И тут же почувствовала во рту вкус крови.

Моркка выдохнула, ощерившись.

— Так зачем же ты пришла ко мне?

Рот наполнился кровью, и Совьон пришлось, откашлявшись, вытереть губы рукавом.

— За помощью.

Когда Моркка Виелмо засмеялась, птичьи черепа и звериные кости закрутились быстрее, зашуршали вплетённые в вязанки ленты. Ведьма небрежно одёрнула подол и, замолчав так же резко, как и расхохоталась, шагнула к Совьон.

— Хочешь историю, нежеланная гостя?

Воительница не хотела, но Моркка Виелмо, перебросив косицы за спину, развернулась и отошла к резному мутноватому окну.

— Я никогда не знала ведьмы могущественнее, чем самая старшая моя сестра — первая из нашего рода. Кейриик Хайре — скажи, тебе знакомо это имя? Возможно, ты слышала его прежде?

Лицо Совьон стало белее молока.

— Наступило время, когда Кейриик Хайре начала подыскивать себе преемницу. Ты ведь знаешь, что бывает с вельхой, не успевшей передать свои знания молодой ведьме? Когда к вельхе приходит смерть, непередаваемая сила мучит, губит, выворачивает наизнанку. Потому что это великая сила, страшная, и она должна передаваться из рук в руки, из сердца в сердце. Знания самой старшей из моих сестёр были могущественнее наших. И хозяйства у неё были обширнее — скалы и леса севера. И вот однажды, особенно лютой и снежной зимой, Кейриик Хайре нашла в своих владениях младенца, девочку. Мать отнесла её умирать в лес, и, завернув в тряпье, бросила в сугробы. Знаешь, почему?

Казалось, больше в Совьон не осталось жизни. Только сковавший мышцы безграничный холод.

— Потому что всё тело девочки было в чёрных родимых пятнах. Люди в деревне решили, что она проклята и принесёт им только несчастье. Поэтому они сказали матери оставить дочь в лесу, и та согласилась. А Кейриик Хайре нашла девочку, и спасла, и воспитала, словно собственное дитя. Год за годом передавала ей свои знания и силу — так чего тебе не хватало, Совайо Йоре?

Моркка вскинула подбородок, обнажив клыки.

— Она оставила на твоей коже знак, чтобы согнать пятна с лица и чтобы все духи её хозяйств принимали тебя за свою. Она рассказала тебе, как разгадывать прошлое и как видеть будущее, как возвращать любовь и сеять ненависть, как читать по звёздам и повелевать колдовскими тварями. И чем ты отплатила ей? Сбежала, даже не позволив доучить тебя до конца. Стоило оно того, Совайо Йоре? Чтобы ходить, неприкаянной, между смертными и вельхами, знать слишком много для них и слишком мало для нас. Каково это — быть обхитрённой даже жалкими мереками, слабейшими существами южных топей?

Из-за мерек погибли трое воинов из каравана. Совьон проснулась раньше других, но всё равно не сумела никого спасти: Моркке Виелмо доносили обо всём, что случалось в её владениях.

— А знаешь, что хуже прочего, Совайо Йоре? Та часть колдовства, которую моя сестра успела вложить в тебя, сильна. Сильна до такой степени, что чужие смерти сыплются с твоих рук.

— Я знаю, — проговорила Совьон, пытаясь вернуть дрожащему голосу былую твёрдость. — Поэтому и пришла. Если вельха коснётся чужого оружия, следующий бой его хозяина станет последним.

— Верно, — произнесла Моркка Виелмо, шурясь, будто кошка на свету, а Совьон

стиснула зубы. — Так что?

— Мереки обхитрили меня, — проглотила ком в горле, — и я обрекла воина на смерть, дотронувшись до его кинжала.

— Ах, Совайо Йоре. Глупая, недоученная, неосторожная Совайо Йоре...

Совьон сжала пальцы в кулак.

— Называй меня, как пожелаешь, Моркка Виелмо. Ругай, проклинай, уродуй. Я предала свою наставницу, но нет смысла объяснять тебе, почему. Я не ищу прощения, потому что такое не прощают. Я лишь прошу милосердия к человеку, который не заслужил быть обречённым. Его зовут Тойву, и он предводитель черногородского каравана — спаси его, Моркка Виелмо, и я сделаю всё, что ты захочешь.

Вэльха медленно шагнула к ней. Долго смотрела снизу вверх дымчато-зелёными глазами, а потом почти нежно заправила за ухо Совьон выскочившую короткую прядь.

— Ах, Совайо Йоре. Та сила, что сейчас течёт в тебе, — сила моей старшей сестры. Она ограничена, но глубока. И ты предрекаешь смерть так, как предрекала бы она. Мои благословения не сильнее твоих проклятий.

Совьон отшатнулась, почернев лицом.

— И даже если бы я захотела помочь тебе, — продолжала Моркка, — я бы всё равно не смогла.

— Но ты бы не захотела.

Моркка Виелмо мягко засмеялась, дотронувшись до одной из подвешенных вязанок. На ладони ей посыпались сухие цветочные лепестки.

— Я живу в топях на юге, но знаю всё, что происходит с моими сёстрами. Скорее всего, ты теперь редко бываешь в родных краях. И, возможно, чьи-то языки донесли тебе, что Кейриик Хайре умерла, но вряд ли кто-то решился рассказать, как именно. А она умирала чудовищно, Совайо Йоре. Да, она передала тебе часть знаний, но и оставшегося могущества было достаточно, чтобы причинить такую муку, какой моя сестра не заслужила. Конечно, она не смогла отыскать другую преемницу — редко где встретишь девочку, способную принять столько колдовских умений, сколько смогла бы принять ты. Боги свели вас вместе в зимнем лесу, но ты разорвала эту нить. Знаешь, Совайо Йоре, черногородский воин будет не первым человеком, которого ты обрекла на жуткую смерть.

Кейриик Хайре умирала долго, очень долго. Непереданная сила тянула душу к износившемуся телу. Страшно, страшно, страшно умирала Кейриик Хайре — ты ведь помнишь, как далеко от её хижины была ближайшая деревня? Крики Кейриик Хайре слышали даже там. На вторую неделю к её дому рискнули подобраться самые отчаянные из мужчин. Кто-то даже решился разобрать крышу — говорят, если ведьма при смерти, нужно разобрать крышу, так душе будет легче упорхнуть ввысь... Ах, что это, Совайо Йоре?

Моркка взмахнула ладонями, и сморщенные лепестки, кружась, начали опускаться на пол. Шагнув сквозь них, ведьма приблизилась к Совьон и коснулась её щеки пальцем.

— Мокро, — заметила вэльха. — Но слёзы уже ни чем не помогут моей сестре. И тебе не помогут, потому что ты не станешь передавать свои колдовские знания и умрёшь так же, как она. Как ведьма.

— Нет, — тихо возразила Совьон. — Я умру как воин.

Моркка Виелмо улыбнулась:

— Вряд ли.

Её нога в башмачке наступила на засушенные лепестки. Раздался хруст.

— А хочешь, я расскажу тебе, как умрёт предводитель черногородского каравана? Да, убьёшь его ты, но чьими руками?

Совьон молчала, хмуро вытирая глаза тыльной стороной ладони, но Моркка продолжала.

— Пару лет назад в этих лесах свирепствовал один разбойничий атаман, гроза всех торговых караванов. Сколько голов срубил, чтобы наколоть на копья перед своим логовом, — не сосчитать. Помнишь, как его имя?

Воительница застыла.

— Его звали Шык-бет, и его утопили в здешних болотах два года назад.

— Какая же ты глупая, Совайо Йоре! Кому суждено быть зарезанным, не утонет. Много ли богатств в черногородском караване? Смогут ли Шык-бет и его разбойники не позариться на них?

Видя, как напряглась Совьон, как глаза её помутнели от ужаса, Моркка Виелмо подцепила пальцами свои седые косы, перебросив на грудь.

— Этой ночью разбойничий атаман убьёт предводителя каравана и многих его людей. Заберёт всё, что охранял черногородский отряд — золото, серебро, камни. И девушку, которую везут в одной из повозок.

Больше Совьон не слушала. Только развернулась на каблуках, пересекла сени и, толкнув дверь плечом, вылетела из хижины Моркки Виелмо. И услышала, что в спину ей несутся хохот ведьмы. Совьон провела в доме вёльхи не больше получаса — ей бы хватило времени вернуться к каравану ещё до заката, как и обещала. И тогда она бы сумела предупредить отряд о грозном разбойничьем атамане Шык-бете и его ловушках.

Но у горизонта клубилось нежное розовое марево рассвета.

===== Хмелевый князь VII =====

Колёса с хрустом переезжали веточки, щедро рассыпанные по тропе. Еловые лапы касались крыши повозки и царапались в оконце, оставляя на занавеске смоляные следы. Над лесом горел жёлтый растущий месяц, заволоченный сероватым ночным туманом.

— Почему ты не спишь, драконья невеста? — Лутый ехал вровень с телегой Рацлавы и, зевая, раздвигал мешающиеся ветви свободной от поводеёв рукой. — Я бы на твоём месте давно спал.

Но караван не мог разбить лагерь здесь, среди сплошных деревьев, — для ночлега нужна была хотя бы небольшая, но поляна. Так объяснил Лутый. Рацлава не решалась сильно выглядывать из окна: хвоя могла разодрать ей лицо, поэтому девушка разговаривала, осторожно прижимаясь виском к краю рамы.

— Где Совьон? — спросила в который раз. — Она ещё не вернулась?

Тойву не удалось избежать расспросов. Несколько часов назад он дал понять Оркки Лису, что ждёт Совьон к закату, но не пояснил, куда женщина уехала и зачем.

— Уже стемнело?

— Стемнело, — нехотя ответил Лутый, пригибаясь под особенно низкой еловой лапой. Юноша высматривал предводителя во главе каравана. Совьон не вернулась вовремя, и Тойву, хотя и старался выглядеть невозмутимым, был... разочарован? Обеспокоен? Обижен? Оркки Лис сказал, что и то, и другое, и третье.

— С ней что-то случилось, — проговорила Рацлава, сжимая в кулаке занавеску. Лунный свет отразился на яхонте её серебряного кольца. — Возможно, Совьон заблудилась.

— Заблудилась? Совьон? — Лутый сдержанно хмыкнул. — Сомневаюсь.

— Может, она придет завтра?

Были вещи, о которых Лутый предпочитал молчать. О рабском ошейнике, который ждал его в конце пути, о разбойниках, зверствовавших на Плато Предателя пару лет тому назад, и о тоне, каким Оркки Лис говорил об их атамане ещё в Черногороде. Также Лутому не хотелось объяснять, что если Совьон не вернулась к назначенному сроку, то, скорее всего, она не вернётся уже никогда.

— Она ведь не могла просто нас бросить, — заметила Рацлава.

Похоже, могла.

Петляя, караван полз сквозь глубинный лес. Огни факелов постреливали в воздухе, и ветерок раздувал искры. Света не хватало, и, даже сощурившись, Лутый очень плохо видел. Расплывались бесконечные очертания деревьев и горных массивов, насупившихся всадников и густых зарослей. Всё — тёмное и молчаливое. Из звуков юноша различал лишь треск и цокот, скрип кожаных сёдел и шелест пышных крон. Пение цикад и далёкое бульканье жаб: какое счастье, что отряд не переправлялся через топи.

Рацлава, осознав, что Лутый больше ничего не сможет ей рассказать, отодвинулась от оконца и сползла на подушки. Напротив неё, завернувшись в шерстяное покрывало, дремала Хавтора. Та Ёхо спала рядом — айха чувствовала себя гораздо лучше, хотя до сих пор была невероятно слаба. Рацлава стекла поближе к ней, так, что голова Та Ёхо оказалась на уровне её локтя. Недавно Хавтора повесила под потолком связку стеклянных бус: рабыня верила, что это отгоняет дурные сны. Сейчас Рацлава полулежала на подушках, упершись взглядом в пустоту, и слушала, как мерно постукивали бусины и как караван переваливался по лесным тропам. Звяк-звяк, скрип-скрип, треск-треск.

Бусины покачивались над её головой. Отряд тянулся сквозь дремучую чащу, будто змей, и глазами его было пламя факелов, а чешуёй — боевые кольчуги. Ночной ветерок шевелил волоски у лица Рацлавы, принося с собой прохладу и запахи земли и смол; девушка уже почти провалилась в сон, когда во главе каравана страшно заржали кони. Повозка неустойчиво колыхнулась — и замерла.

— Что случилось? — Рацлава резко поднялась и прильнула к окну. Не отвечая, Лутый жадно всмотрелся вдаль. — Почему мы остановились?

Тогда раздался звук десятков спущенных тетив. И весь лес утонул в огне.

И ходило её горе у подножия гор, вдоль дремучего южного леса. Ходило её горе, чёрное-чёрное, будто густой дым от тлеющих колёс и тел. И сама она — это горе, сгорбленная и перепачканная в земле, простоволосая, исцарапанная тугими ветками. Рубаха Совьон была мокра от росы и пота, а на бледном лице не осталось ни красоты, ни спокойствия. Она вскинула голову и жадно втянула воздух сухими губами. Закашлялась, вцепилась в горло пальцами и рухнула на колени. Жених бродил около — взмыленный, одичавший. Ворон Совьон кружил вместе со своими братьями над местом схватки: закрученные кольца смоляных перьев и голодных клювов.

Она опоздала. Солнце ползло к зениту, а тела павших успели заоченеть. Моркка Виелмо была гораздо сильнее Совьон, и ей не составило труда изменить ход времени в своей хижине. Обмануть гостью, заколдовать, одурачить. Совьон медленно подняла глаза в паутинке лопнувших сосудов. Небо было сизо-голубым, набрякшим. К дождю.

Битва началась в чаще, но позже выхлестнулась на поляну. Совьон видела деревья с обломанными ветвями и обгоревшей корой: в какую бы ловушку разбойники ни ловили

караван, они поджигали лес. Охваченные пламенем стрелы, сети, копыя — где-то островки ночных кострищ до сих пор выплёвывали искры. Недалеко от Совьон дотлевала одна из повозок, развороченная и расколота топорами; воительница поняла, что в ней везли провизию и богатства.

Когда Совьон попыталась подняться, то случайно дотронулась до ладони ближайшего к ней мертвеца. Их было много здесь, трупов. Переломанных туловищ, рук и ног в травинках и засохшей крови. Повсюду — порванная одежда и рассечённые кольчуги, комья алого чернозёма, зола и пепел. А ещё — десятки застывших лиц, бледных, грязных, опухших. Кого-то из павших Совьон узнавала легко: эти люди ехали с ней в караване, отдыхали на привалах и разговаривали у костров. Некоторые лица были ей незнакомы и принадлежали разбойникам: отряд боролся до последнего. Оставшиеся же битва измолочила в неразличимое месиво.

И когда Совьон коснулась холодных пальцев мертвеца, то почувствовала запах кипящей ночи, крови и жжёной кожи. Увидела мутноватую фигуру головореза на фоне росчерков пламени и дымных всполохов. Совьон смотрела, как разбойник перерубил шею Безмолвному, одному из воинов Оркки Лиса, но стоило отдёрнуть руку — и видение исчезло.

Поднявшись, женщина медленно потёрла глаза. У её ног лежало безголовое тело. Горький и страшный смех забулькал в гортани: Совьон, не сумевшая ни предсказать, ни помочь, ни защитить, обречена собирать осколки чужих смертей. Зачем ей эти видения? Они бессмысленны и ничтожны. Короткие мгновения прошлого, которые уже ничего не могут исправить. Совьон было достаточно чужих боли, смерти и ввевшегося в кости страха. Достаточно ветра, раздувавшего хлопья седого пепла: они опускались на обожжённую землю, будто снег. Оседали на её лицо, волосы, на чужие измаранные руки и вспоротые грязно-багровые животы. Совьон было достаточно кричащих воронов, выпотрошенных повозок и собственной вины.

Но если ей нужно увидеть, как погибли её соратники, она будет смотреть.

Совьон шла по остывающему полю битвы. Чтобы представить некоторые смерти, ей даже не приходилось дотрагиваться до тел: достаточно было просто пройти мимо. Видения всплывали где-то за зрачками — густые, тяжёлые, спёртые. Совьон смотрела на это место поздним утром: седые хлопья пепла и суетливые птицы, обломки копий и наконечники, вогнанные в плоть. Вторая повозка, перевернутая, задавившая гнедого коня, — животному переломило позвоночник. Сейчас конь медленно умирал, и Совьон избавила его от мучений. Горячая лошадиная кровь толчками полилась из пробитого сосуда на шею.

И одновременно женщина видела события прошлой ночи. Слышала лязг мечей и топоров, проклятия, тошнотворный хруст. Отблески огня плясали на кольчугах; пламя ползло по траве, лизало кору деревьев, перебиралось на спины воинов каравана. Как первому из отряда распорол горло, как второй испуганно трепыхнулся, пронзённый стрелой в грудь. Третьего повалили, но с трудом, и снесли ему голову. Как одного из разбойников бросили в занятый им же костёр, как второму пробили живот — хотя захватчиков погибло меньше, чем черногородских воинов.

Совьон растёрла по скуле золу и вскинула лицо к безбрежному небу с вихрами дождевых туч.

Тойву лежал на спине. Рыжие волосы, которые он не успел заплести в косы до боя, слегка шевелил ветер — в них терялись комки почвы и обрывки травы, некоторые пряди

были обуглены. Тойву смотрел наверх серо-голубыми глазами, светлыми, как родниковая вода, и в них отражались вороны. В мягкой бороде засохли кровавые сгустки, но пробитая грудь до сих пор переливалась влажно-тёмным. С костяшек окоченевших пальцев, всё так же сжимавших топор, сошла кожа.

Совьон тихо опустилась рядом. Она увидела Тойву в битве прошлой ночью — могучего, рычащего, разглядела, как разбойники падали под его ударами. Как на него, чтобы опутать и связать, накидывали подождённую сеть. Огонь тёк по спине, кожа лопалась и горела, но Тойву словно не чувствовал боли. Великий воин, думала Совьон, один из самых искусных, кого она знала и кому она без разочарования проиграла бы снова. Тойву не должен был погибнуть так.

В этом видении Совьон впервые сумела рассмотреть Шык-бета. Разбойничьего атамана, которого в княжествах считали мёртвым: лохматые чёрные косы с вплетёнными в них косточками, крупное лицо и широкие плечи, сощуренные тёмные глаза. Видимо, он был хитёр и ловок, раз смог так долго скрываться в болотах. Видимо, он был силен, раз сумел убить Тойву — но Совьон ли не знала, что помогло ему в этом бое? Не удача и не ратное искусство, а колдовство вельхи. И колдовство вельхи раскроило Тойву грудь — предводитель бился до тех пор, пока его мышцы не застыли, а жилы не лопнули, и только тогда рухнул наземь.

Шык-бет поставил ногу ему на горло, но Тойву уже не шевелился. Почему же ты не забрал его голову, разбойничий атаман? На кольях у логова Шык-бета было множество таких трофеев, снятых с плеч его сильнейших противников. Возможно, это — единственная милость, которую разбойник был способен оказать тому, кто ни в чём ему не уступал.

Совьон осторожно поднесла пальцы к глазам Тойву. Она закрыла их, и на веках мужчины остались две полосы из сажи, — словно погребальные узоры. Вороны летали низко, шумно хлопая крыльями; ветер по-прежнему раздувал ещё тёплую седую золу.

Плачьте, горы. Плачьте.

Третья повозка косо стояла у самой чащи, наполовину запутавшись в зарослях. Кружевная занавеска была разодранной, в рдяных подтёках; одно из колёс слетело. Совьон приблизилась, неслышно переступая через ломкие ветки. И увидела тонкую смуглую руку, вытянутую вперёд. По жёлтой коже вились узоры красноватых татуировок: за повозкой Совьон нашла мёртвую тукерскую рабыню. На разбитом затылке Хавторы запеклась кровь, а латунный ошейник чуть-чуть сполз, обнажив кусочек старой мозоли. Рабыня лежала боком на шафранном покрывале, будто до сих пор пыталась укутаться, и его свободные края слегка трепыхались. Удивительно, что разбойники не забрали и его. Не придали ценности. К щеке Хавторы прилипла земля с пёрышками смоченной травы, глаза помутнели.

Совьон коснулась её жёстких волос, скрученных в два пучка на разбитом затылке.

— Не трогай её, бель гсар ади! — шипела она, грубо вытащенная из повозки одним из разбойников. — Это невеста Сарамата-змея.

Шык-бет, массивный и чёрный, насмешливо смотрел на Хавтору сверху вниз и вёл по усам костяшкой пальца.

— И ты, юлду шат чира, не посмеешь дотронуться до неё.

— У твоего Сарамата, — хрипло сказал Шык-бет, — невест как грязи. А в моей берлоге одиноко.

Хавтору скрутили разбойники, и вырваться было бессмысленно. Она поняла это и, поведя худыми плечами, шикнула, будто рассерженная кошка:

— Не трогай ширь а Сарамат, разбойник. Девушка слепа и больна. Она в горячке.

В глазах рабыни плескалась расплавленная латунь.

— В горячке? — осклабился Шык-бет, когда Рацлаву выволокли к нему, держа за ворот. — Ну да ничего, — он шагнул к ней, скривив губы. И хохотнул, хватая её за горло. — Я и сам — горячий.

Совьон с размаху ударила кулаком по повозке.

Тучи наконец-то лопнули в вышине, и на землю хлынул дождь.

Бушевала настоящая гроза. Небо заволокло чернотой, поэтому мерещилось, что наступил глубокий вечер, хотя в поле или на чистом взгорье ещё стоял свежий день. Узкие лесные тропы размыло, и грязь хлюпала под ногами Лутого. Кроны деревьев намокли и отяжелели, став тёмно-зелёными. Поскользнувшись, юноша слетел в овраг чуть ли не кубарем — здесь, стараясь защититься от дождевых потоков под растянутыми плащами и хвойными прослойками, обосновались те немногие, кому удалось выжить.

Лутый боялся кричать, боялся свистеть. Позвал, лишь когда нырнул под отрез ткани, подцепленный на крючья корней. Самодельный шатёр, для скрытности измазанный землёй и листьями.

— Оркки Лис!

Лутый стоял в дозоре: не отыщут ли разбойники их след? Их, выживших, было всего шестеро, и некоторых тяжело ранило. Второе нападение бы непременно оказалось смертельным.

Оркки сидел в глубине их логова рядом с полуживой Та Ёхо и, услышав голос Лутого, поднял глаза. Юноше до сих пор было трудно привыкнуть к лицу наставника: в поединке ему сломали нос. Теперь он стал опухшим, разбитым, скошенным набок. С кровью, запёкшейся на образовавшейся горбинке. Но Лутый понимал, что тяжелее всего было привыкнуть к нему самому.

В битве он потерял повязку. Лутый тщательно оберегал левую часть своего лица от любопытных взглядов и, не случись этой ночью столько горя, юноша был бы смущён и растерян. Но нет — теперь он не чувствовал ничего, когда чужие взгляды гуляли по уродливым рубцам на его щеке и виске, по изжелто-русой брови, рассечённой несколько раз. Раньше только Оркки видел его пустую, заросшую кожей глазную ямку, а теперь стало ясно каждому: Лутый не просто потерял глаз, ему его нещадно выхлестали.

Ну и пусть.

— Оркки Лис, — задыхаясь, прошептал Лутый. — Там Совьон.

...Из оружия у Оркки осталась лишь пара боевых топориков. И первый из них он, выбравшись из оврага, метнул в Совьон: женщина едва успела увернуться. Лезвие со свистом вонзилось в осину там, где только что была её голова.

— Да что ты делаешь, Лис?

— Что я делаю, — выплюнул он вместе с осколком крошащегося зуба, — что я делаю? Я собираюсь тебя убить.

И Оркки перехватил второй топорик. Совьон, сузив глаза, неохотно потянулась к ножнам.

— Перестань, Лис.

— Батенька! — Лутый шёл за наставником, поскользываясь, пытаясь локтем закрыться от проливного дождя. Сейчас было неуместно соблюдать всю ту же нерушимую тишину. —

Батенька, остынь.

Взгляд у обернувшегося Оррки был такой, будто сейчас он мог зарубить и Лутого. Одним пальцем руки, сжимающей топорик, он вытер стекающую из носа кровь. И снова посмотрел на Совьон.

— Тебе не кажется это странным? — шипяще спросил он. — Едва ты уезжаешь, на нас нападают. Где же ты была, Совьон? Не ты ли вывела к нам Шык-бета?

Дождь вымочил его пшеничные волосы, очертил каждую морщинку на страшном лице. Никто не видел Оррки в таком состоянии: он скрипел зубами, норовя вцепиться Совьон в горло.

— Сказать, что это подозрительно, — в его глазах рокотала звериная ненависть, — не сказать ничего.

— Батенька!

— Не подходи, — ощерился Оррки, всплескивая перед Лутым свободной рукой. — Послушай меня и отойди подальше.

Зашевелились оставшиеся выжившие. Когда из оврага, чтобы взглянуть на происходящее, попыталась выбраться Та Ёхо, Лутый закусил губу. Отбиваясь, она получила ещё одну рану — зря айха сейчас решила ползти. И тем более ей не стоило подавать голос.

— Сов Ён! — плача, позвала она. — Сов Ён прийти?

Если Оррки Лис боялся, что сгоряча мог причинить вред Лутому, Та Ёхо не сумела бы спасти даже его к ней привязанность. Про других и говорить нечего.

— Я спрашиваю ещё раз, — медленно и сухо проговорил Оррки. — Где же ты была?

— Это уже не имеет никакого значения, — ответила Совьон, не убирая пальцы от рукояти меча. — Вы издаёте слишком много шума. Да, разбойники далеко, но мало ли...

— Да ну? — он усмехнулся. — Не притворяйся, что беспокоишься. Тойву, — здесь улыбка превратилась в судорогу, — давал тебе чересчур много свободы. Зачем ты пришла?

— Помочь.

Оррки расхохотался, а Лутый растерянно замер за его плечом. Стоит ли отталкивать?

— Какая же ты тварь, Совьон. И если не я доверял тебе, то доверял Тойву.

— Послушай, Лис, — Совьон утёрла дождевую воду с лица. Если придётся сражаться, будет неудобно. — Я понимаю, что ты убит горем. Но, клянусь, я не приманивала разбойников.

Оррки сошёл с места и начал ходить вправо и влево, туда и обратно, будто рыскающий волк. Древко топорика он сжимал так, что на ладони взбухли вены.

— Докажи.

Совьон убрала липкие волосы со лба.

— Если бы я желала вам зла, то не пришла бы сейчас. Потому что дела хуже некуда, Лис, и ты это понимаешь.

— Ты много темнишь, — оскалился Оррки. — Исчезаешь перед нападением и появляешься, когда тела моих друзей уже всюю клюют вороны. Я не знаю, что тебе нужно, но ты и этого не получишь. Потому что я тебя убью.

Лутый понимал, что Оррки едва ли бы убил Совьон даже в лучшее время. А сейчас он и вовсе был устал и взбешён.

— Тебе мало смертей, Лис?

Но Оррки её не дослушал — рванулся вперёд. Лутый бросился на него, таща вниз за рубаху, прижимая к булькающей земле.

— Отпусти, мальчишка, — зарычал Оркки. — Хуже будет.

Не будет. Совьон права: хуже уже некуда. Отряд убили, караван разграбили. Рацлаву уволок Шык-бет — всё, это конец их похода.

Оркки грубо отпихнул Лутого и, весь измаранный в грязи, попытался встать. В овраге Та Ёхо тихонько и скрипуче звала Совьон.

— Я ездила не к Шык-бету, а к местной вельхе, — уронила воительница. — Хотела узнать, чем завершится наш поход. Она рассказала мне, но было поздно.

— К вельхе, — захохотал Оркки Лис. — Думаешь, кто-то тебе поверит?

Даже Лутый, отплёвывающийся от земли, набившейся в рот, признавал, что это глупая ложь.

— Только дурак добровольно поедет к вельхе. А ты не дура, Совьон. Ты предательница.

Он, страшно и безумно смеющийся, приблизился к ней и замахнулся, но Совьон успела задержать его запястье.

— И наказывать тебя надо как предательницу, — Оркки тяжело дышал. Глаза наливались кровью. — Вывернуть руки на дыбе и срезать кожу по кусочкам.

— Ты обязательно поступишь со мной так, Лис, — резко сказала Совьон. — Но не раньше, чем я заберу драконью невесту у Шык-бета.

Она шагнула назад, и Оркки потерял равновесие. Но напасть во второй раз не успел: за его спиной громко хмыкнули.

Скали выбрался из оврага и, покачиваясь, отряхнул грязные ладони. Через его лицо шёл порез с чёрной засохшей кровью. Её не смывал даже дождь.

— Кого ты собралась забирать, воронья женщина? — спросил он, медленно наступая в лужи. — Гляди: прошли почти сутки. За это время Шык-бет мог дважды убить драконью невесту, трижды изнасиловать и перепродать с сокровищами каравана.

Совьон не посчитала нужным ему ответить. Лишь отошла к осине и посмотрела на Оркки Лиса.

— Кажется, сейчас это ты должен быть предводителем похода, — проговорила она, вытирая глаза рукавом. — Так что тебе решать, посчитать его проваленным или ещё побороться.

Оркки дико посмотрел на Совьон, на топорик в осине, на Скали. Сплюнул под ноги и, нетвёрдо развернувшись, пошёл к оврагу. Хотя все и без слов поняли, что это значило.

Пожалуй, Лутый, выжимающий рубаху, смахивающий с волос землю, не понимал, насколько им вправду стоит доверять Совьон. Но от того, что она вернулась, всё же было немного легче.

===== Песня перевала X =====

Совьон мяла в руках ягоды голубики и лепестки отцветшей живокости. Мешала их с дождевой водой, сидя под натянутым плащом, — и хотя женщину пустили в самодельный шатёр выживших, это не значило, что ей стали доверять. Оркки Лис, опираясь локтями о колени, смотрел ей в спину неживым взглядом и то и дело утирал пальцем струйку крови, бегущую из сломанного носа. Он терзался сомнениями, и Совьон не могла его винить. Для отряда она уехала неожиданно, а вернулась слишком поздно — кто бы не стал её подозревать? Оркки не прогнал Совьон, не попытался напасть на неё снова — и на том спасибо. Лутый казался более расположенным к ней, но из всех только Та Ёхо не допускала мысли о предательстве женщины.

Барабанил дождь, шелестели деревья, и плащ проседал под собирающейся водой.

Большим пальцем Совьон давила ягоды и лепестки, сложенные в левую ладонь, как в чашу; на коже оставался сок. В вышине прокатывался гром. Совьон почти видела жёлтые змеи молний, расчерчивающие посмурневший лес.

Тяжёлый взгляд Оркки Лиса давил на её затылок. Совьон думала, что если он не догадался раньше, то должен был догадаться сейчас — она сидела на коленях, чёрная и простоволосая, вслушивающаяся в грозу. Прикрыв глаза, Совьон окунула указательный палец в пузырящуюся краску и медленно провела им по переносице, оставляя первый синий след.

Кости-кости, громы-громы, вороны крылья и венцы намокших крон: Совьон — не Кейриик Хайре, и она не могла навлечь горе на головы всех разбойников. Хотя старалась.

Каким бы ни был лес дремучим, а человек — хитрым, нет убежища, которое никто бы не сумел отыскать. Разбойники расположились в топах к северо-западу отсюда — эту новость принёс Лутый. Возможно, он и Оркки Лис смогли бы придумать бескровный способ одурочить ватажников и украсть у них богатства и драконью невесту, но времени не было.

Сырость болот и бесконечный шум дождя, льющегося, будто из кувшина Сестры гор. Да, разбойников не могло быть слишком много — Шык-бет не сумел бы удержать под собой большой отряд, избегая распрей и ссор. Да, часть из них убили черногородские воины, но... Выживших шестеро, Совьон седьмая, из них — наполовину обездвиженная Та Ёхо и сгорающий от лихорадки Гуннар, один из братьев по оружию Тойву. Скали, который, как знала Совьон, был болен и плох. Оркки Лис и его люди Лутый и Гьял — кудрявый и кроваво-рыжий, со старым шрамом через заросшее щетиной горло, словно когда-то ему захотели вырвать голосовые связки. Выживших так мало, и не все из них были искусны в бою — поэтому Совьон и призывала колдовство Кейриик Хайре на все лады.

Палец медленно полз по её лицу. Боевая раскраска синела на щеках, висках и подбородке, оттеняла бледную кожу и вьёвшийся в неё полумесяц. Выжившие решили, что разбойников надо отвлечь: этим займутся Лутый, Скали и Та Ёхо — теперь никого из них нельзя было беречь. И когда они посеют среди лагеря смуту, когда увлекут за собой часть ватаги, оставшимся придётся встретиться с разбойниками лицом к лицу, меч на меч. Даже Гуннару, жизни в котором хватало лишь на десяток вдохов. Но, как и Тойву, им владело желание бороться до последнего. И если они одолеют первых сторожевых, за драконьей невестой пойдёт одна Совьон — для других Рацлава представляла гораздо меньшую ценность, чем дары.

Совьон начала заплетать косу пальцами, измазанными в синей краске. Женщина повернула лицо, надеясь найти место, где растянутый плащ не пропускал дождевую воду — узоры должны были засохнуть. Оркки Лис смотрел на профиль Совьон, и его неживые глаза темнели. Просочившиеся капли текли по волосам мужчины, скатывались на плечи.

— Страшно? — спросил он сухо.

Синие кончики пальцев Совьон плясали между чёрных прядей. И гром грохотал над оврагом, гроза раскатывалась от края до края густого леса: ты ведь всё понял, Лис. Сейчас — понял. Ты куда прозорливее своего прихвостня, даже если когда-то казалось иначе.

Совьон красила лицо не как воин, а как ведьма. Закончив косу, она обхватила ладонями шею, и сок голубики и живокости потёк за ворот.

— Мне не до страха, Лис, — проговорила тихо. — Как и тебе.

— Как и мне, — кивнул он и костяшкой пальца ещё раз вытер кровь под носом.

Больше говорить было не о чем. Они вели за собой людей в логово Шык-бета — на верную смерть, но Оркки не мог отступить и признать поход сорванным. Это бы опорочило

честь Тойву и всех тех, кто погиб, защищая караван. Подумав, мужчина погладил бородку, пшеничную с багровыми жилками.

— Если ты и вправду была у вёльхи, — спрашивал неохотно, лениво, — что она сказала? Чем всё закончится? — Из ноздри снова побежала кровь. — А, впрочем, молчи. Не хочу знать.

— Я не дослушала, — призналась Совьон, отнимая ладони от шеи. — Но...

Какая же ты глупая, Совайо Йоре!

— Я знаю, как умрёт Шык-бет.

Кому суждено быть зарезанным, не утонет.

— Его зарежут.

Оррки Лис криво улыбнулся и потёр пальцем уголок рта.

— Неприятно, если это сделают его подельники через десять лет.

— Неприятно, — согласилась Совьон.

Снаружи послышались хлюпающие шаги — это вернулись исследовавшие лес Лутый и Гьял. Когда Совьон поднялась и, пригибаясь, чтобы не задеть полог, прошла вперёд, Оррки схватил её за запястье.

— Если знаешь, как умрут они, — понизил голос до шёпота, — то не говори. Особенно им.

Они — это, конечно, оставшиеся выжившие. Та Ёхо, ворочавшаяся в глубине самодельного шатра — Совьон заставила её уснуть — и Гуннар, которому сил не прибавлял даже сон. Скали, ушедший куда-то в дождь, Гьял и, особенно, Лутый — юношей Оррки дорожил намного сильнее, чем Та Ёхо. Он страшно метался, едва не убив айху; но если бы сегодня случайно ранил Лутого, то поседел бы с горя.

— Не беспокойся, Лис, — Совьон нерезко, но твёрдо высвободила руку. — Даже если узнаю, не скажу.

Оррки напряжённо смотрел на её лицо, исчерченное подсыхающими узорами. Затем отвернулся и больше не сказал ни слова.

Суеверный Оррки Лис, как никто другой, знал: синий — цвет Сирпы, богини зимы и долгих дорог. Цвет судьбы и смерти.

Дождь закончился, и лес стал малахитовым. Свеже-зелёным, с узорами тяжёлых капель на густой листве. Невыносимо пахло болотом: стоило Лутому сделать полный вдох, как грудь наполнило ощущение гнилой сырости. Топь пузырилась у его ног, и мшистые тропы не внушали доверия. Перед каждым шагом Лутый простукивал землю обломанным копьём Гуннара — выходило неплохо, но от страха юноша обливался потом, и рубаха липла к спине и груди. Лутый вытер рукавом покрасневший веснушчатый лоб и вскинул голову. Солнце клонилось к закату, разливая по лесу медовое золото. Тёпло-оранжевый свет сочился сквозь малахитовые заросли — это было красиво настолько, что хотелось плакать.

Он несколько часов ходил по окрестным болотам. Использовал от природы острый и цепкий ум: запоминал развилки троп и расположение ненадёжных мхов. Но что мог Лутый против разбойников, которые жили в топях много лет и знали их, как свои пять пальцев? К тому же, к закату юноша едва волочил ноги от усталости. А следовало собраться и выжать из себя последние силы: сегодня Лутому ещё предстояло бежать, что есть мочи.

— Та Ёхо, — он оглянулся. — Останешься здесь.

И указал на высокую сосну, окутанную дымкой шелестящей травы, — худо-бедно, но

можно было спрятаться. Лутый не сумел найти лучшей позиции для лучника.

Та Ёхо шла сразу за ним — перед Скали. В битве ей обожгло и разворотило и без того повреждённую ногу, поэтому ковыляла айха, подтягивая её за стёганую штанину. Смуглое лицо Та Ёхо тоже блестело от пота, жидковатые чёрные волосы прядками текли по взмыленной шее. Кривоzubая улыбка превратилась в застывшую гримасу боли, а глаза заволокло мутноватой плёнкой.

— Хорошо, — хрипло сказала она.

Лутый, постукивая перед собой копьём, — хотя в этом не было нужды, он помнил, что вокруг сосны земля была крепкой, — помог ей подойти. Поддержал, когда Та Ёхо едва не рухнула в заросли вместо того, чтобы сесть, — юноша переживал, сможет ли она подняться для выстрела, когда услышит звуки погони.

Лутый опустил на корточки перед айхой.

— Эй, — она попыталась улыбнуться и слабо ударила его кулаком в плечо. — В конце всё быть славно, Хийо. Ты заманить разбойников в ловушку. Я стрелять. Мы убить их всех, ты слышать?

Про Скали, беспокойно топтавшегося неподалёку, ничего не сказала.

Почему это Та Ёхо успокаивала Лутого, а не наоборот? У него, даже выбившегося из сил, всё равно будет надежда убежать и спастись. У Та Ёхо — нет. Даже Совьон не сумела облегчить её боль: смотреть на ногу айхи, обожжённую, обёрнутую тряпицей, насквозь пропитавшейся кровью, было ничуть не легче, чем глядеть в обезображенное лицо Лутого. Если с юношей что-то случится, Скали едва ли захочет взять удар на себя и выручить Та Ёхо, которую рано или поздно найдут.

— Обязательно, — тихо ответил Лутый, и в улыбке его щека, испещрённая рубцами, некрасиво сморщилась. — Всё будет славно. Однажды.

Та Ёхо собирала стрелы, по неосторожности высыпавшиеся из колчана на бёдра; зубчатые, широкие, вырезанные из кости — такие наконечники легко распарывали плоть. Лутому хотелось спросить, почему у айхи не водилось оружия из железа — случайно ли? Не поэтому ли стальная стрела Оркки Лиса причинила столько вреда ей в обличии лосихи? Но времени не было: к логову разбойников следовало подойти, пока не стемнело. Юноша втянул воздух. Он о стольком ещё не поговорил с Та Ёхо. Не узнал многих её тайн, и тайн её племени, и тайн целого мира — и ничего не узнает, если погибнет сегодня, в этих болотах.

Жить хотелось нестерпимо. Обманывать Сармата-змея, пировать в Волчьей Вольни, рассказывать истории перед дружинами в Медвежьем логоге... Лутый стиснул рукой колено и с усилием поднялся.

— Будь начеку, ладно?

— Хорошо, — Та Ёхо склонила голову. — Беречь себя, Хийо. — Почти рассмеялась. — Пожалуйста.

А он даже не извинился за то, что привёл к ней Оркки Лиса.

За спиной фыркнул Скали. Когда Лутый обернулся, лицо у того было желчное. Но юноша сделал вид, что ничего не заметил и, перехватив копьё, позвал:

— Идём.

...Становище разбойников — несколько прилипших друг к другу простых домишек. От любопытных глаз их закрывал дремучий лес, от врагов рьяно защищало болото: топь лизала скрипучие деревянные настилы, возле которых качался привязанный к жерди плот. Из отверстий в крышах вылетали комочки дыма. На колья, воткнутые в островки влажной

земли, были нанизаны человеческие головы. Где-то серели одни черепа, а где-то чернели смутно знакомые лица, обмазанные смолой.

— Твари, — не размыкая губ, выдавил Скали.

Они с Лутым подобрались с подветренной стороны так близко, как могли: пластом лежали за корягой, в оперении редких болотных трав. Топи не внушали доверия и, казалось, стоило воинам чуть сдвинуться в сторону — сразу бы увязли в грязной жиже.

— Ты знаешь, что нам досталась самая неблагодарная доля?

— Тихо, — шикнул Лутый, прижимаясь носом к локтю и буравя взглядом становище. Они со Скали должны были привлечь внимание и увести за собой в болота нескольких разбойников — но до этого стоило убить хотя бы одного.

В тёмно-медовом закатном свете логово Шык-бета смотрелось величественно и жутко. Головы на кольях скалились провалами страшных ртов — солнечные лучи выделяли каждую воинскую косу, каждый сгусток смолы. Страх заклокотал в гортани: когда ватажники заметят Лутого и Скали, то бросятся в погоню. И если черногородцев не погубят их стрелы, то убьёт болото — ах, глупый мальчишка Лутый, ну что тебе твоя хитрость, что твои юркость и обломанное копьё. Ничто уже не спасёт. Сам пропадёшь, и Скали за собой потащишь, и Та Ёхо: Лутый должен был привести разбойников к сосне, за которой она пряталась. Но разве сможет раненая айха точно бить в цель?

— Не удивлюсь, — едко шептал Скали, — если ваша Совьон — любовница Шык-бета. И теперь атаману даже не нужно нас искать. Мы сами к нему пришли. Раз — ножом, два — стрелой, и словно и не было никогда карава...

Лутый стёк с коряги и схватил Скали за шкуру. Рванул, перевернул на спину, взял за грудки.

— Да что ты несёшь? — захрипел юноша. — Трус ты, Скали, и язык у тебя гнилой. Никто тебя не держит. Уходи.

Лутый навис над ним — а Скали смотрел снизу вверх, долго смотрел, и его вечно угрюмое лицо посветлело. Но потом он словно спохватился и, пожевав слова, выплюнул:

— Ну и рожа у тебя, конечно.

— На свою посмотри, — буркнул Лутый и, отпихнув его, вернулся на прежнее место. Снова приходилось ждать: из домишек никто не выходил. — Не особо-то краше.

Скали, потеряв шею, перевернулся на живот и тоже подполз к коряге.

— Чего застыл? Иди давай. И без тебя справимся, — Лутый больше на него не глядел — лишь на логово Шык-бета. — Бегай-бегай от смерти и ищи себе сытной жизни.

— Что мне бегать? — Скали вскинул бровь. — Всё равно сдохну ещё до зимы.

Зачем же ты тогда ядом прыскал, хотел спросить Лутый, но понял: Скали настолько привык к своей злобе, что разучился говорить иначе.

— А так хотя бы...

— Хотя бы что? — вклинился Лутый.

— Не твоего ума дело, вот что, — огрызнулся тот и замолчал.

Лутый переживал, что разбойники и носа не покажут из своего логова до самой ночи — благо, ошибся. Не успело закатиться солнце, как из крайнего домика вышли трое: громкоголосые, рослые, одетые в лёгкие меха и кожу. Пошли, может, за снадью, может, проведать награбленное — Лутый не знал.

— Эй, — позвал он Скали. — Давай.

Отсылая приятеля, юноша бравировал — убить разбойника получилось бы только из

лука, а Лутый отвратительно стрелял. Ему очень хотелось запомнить последние мгновения покоя: шорох вязкой воды в болоте, переговоры разбойников и далёкий крик лесных птиц. В листве — солнечный свет, ставший более насыщенным, густо-оранжевым: он окрашивал охрой становище и отрубленные головы перед ним.

Скали обращался с луком хуже Та Ёхо, но всё же так, как пристало искусному воину. Его учили бить в цель, сидя в седле и лёжа в засаде, поэтому мужчина наложил стрелу на тетиву, приподнял и, пропустив оперение между пальцев, натянул до самой щеки, измазанной зёрнами грязи. Лутому казалось, что он слышал, как ухало сердце Скали, — громко и неровно.

Стрела взвилась и с чавкающим звуком вошла в живот одного из разбойников. Тот покачнувшись, выпростал руку и издал гортанный крик.

Тогда поднялась страшная суматоха.

Лутый вскочил на ноги, вытягивая Скали за рубаху, и бросился к лесу. Юноша едва успевал опускать копьё на землю перед собой: приходилось вспоминать, куда было безопасно ставить ногу, но голова горела, и жар стучал в ушах. Вслед черногородцам неслись проклятия, а, когда мужчины достигли кромки леса и обогнули пару тонких осин, раздались и звуки погони.

Мешались цвета: зелёный и закатно-медовый. Из-за духоты, окутавшей лес после дождя, спёрло дыхание — Лутый, продвигаясь по хлюпающим мхам, с трудом глотал воздух. Скали прерывисто хрипел за его спиной. У лица крутились болотные мошки, пот заливал единственный глаз, и мышцы вело болью.

Надо увести погоню подальше — бухало в висках, но разбойники неумолимо настигали. Лутый устал, так чудовищно устал, а Скали был болен и дышал на ладан. Копьё, входя в бурые лужи, скользило в руках Лутого — чудом не выронив его, юноша оглянулся. За черногородцами снарядились пятеро ватажников. Много, очень много: раздавят их и не поморщатся. И принесут Шык-бету их головы, если останется, что приносить.

Разбойники приблизились на расстояние выстрела, и Лутый это заметил. Чтобы не дать им прицелиться, он принялся петлять, будто заяц, увлекая за собой Скали вглубь леса, — деревья запестрели быстрее, мошки закружили яростнее, и копьё во взмокших ладонях заходило ходуном... И Лутый ошибся. Свернул не туда, споткнулся на одном из нетвёрдых шагов. Его колени подкосились — юноша соскользнул в трясику.

Над головой засвистели стрелы. И Лутый, хотя всегда знал, что, угодив в болото, не нужно поддаваться страху, забился в ужасе. Вязкая вода поглотила его по грудь, через миг — затянула по шею. Рот тут же забило грязной жижей.

Кто-то рванул копьё из его ослабевших рук. Схватил за изжелта-русые, заляпанные волосы.

Каких усилий Скали стоило вытянуть Лутого из топи — неизвестно. Только одна из пущенных разбойниками стрел ударила его в спину, и мужчина качнулся, навалился на распластанного Лутого. Не успел юноша оттереть лицо от грязи, как на него брызнуло смешанной со слюной кровью Скали.

— Сучьи дети, — выдохнул мужчина, беспомощно разевая рот. А Лутый пришёл в себя быстро: понял, что Скали ранило не так глубоко, как могло бы. Перелез через приятеля, обломал стрелу, не вынимая наконечника, и взвалил Скали на плечи. Потом — поставил на ноги.

Может, осознание того, что это — конец, прибавило черногородцам последних

горячечных сил. Им почти удалось оторваться снова, но вторая из стрел, настигших цель, прошила плечо Лутого насквозь. От слепящей боли юноша рухнул на мхи.

Преследователи знали болота гораздо лучше беглецов и решили разделиться, после — окружить. Едва Лутый поднял голову, как один из ватажников, опережая остальных, вылетел к ним из-за камышовых зарослей, и в руках у него был длинный кривой кинжал. Лутый лежал на животе, беспомощный, обезумевший от усталости и тщетно силившийся подняться, и его и разбойника разделяло всего несколько шагов.

Скали было не лучше. Скали шатало, будто пьяного, и обломок стрелы торчал у него в поясице, и из изодранного рта текла тёмная кровь. По пути мужчина растерял все стрелы, выронил лук, но поднялся и, качаясь, прошёл вдоль Лутого. Одним безумным, отчаянным прыжком он оказался возле ватажника с кинжалом и, совершенно безоружный, кинулся зверем. Кинжал пропорол Скали брюхо, но мужчина впился в разбойника мертвенной хваткой и, оттолкнувшись от надёжной тропы, бросился с преследователем в топь.

Это для того, чтобы я мог уйти, отвлечённо подумал Лутый. Для того, чтобы довёл погоню до Та Ёхо, — он, растирая мутный красный глаз, встал на ноги и залихватски засвистел. И Лутый бежал снова, бежал долго, уже без копья или палки, ведомый одной только острой памятью. А Скали тянул за собой разбойника и бился с ним в вязкой жиже, словно рыба. Трясина сомкнулась над его лицом, и Скали вытолкнул из горла остатки воздуха, уходя на дно, и южное болото поглотило двух людей. Только пузырьки последних выдохов ватажника лопались на воде.

Когда показалась сосна Та Ёхо, пара преследователей погибла сразу. Одному стрела с зубчатым костяным наконечником пропахала горло, второму — прорезала грудь. Третьему лишь обожгло бок: разбойник завалился, и Лутый тут же оказался рядом. Выбил оружие из рук, но тот, рыкнув, вывернул юноше ладонь и подмял под собой, норовя задушить. Стрела в плече черногородца обломилась, и боль потекла калёным железом.

Лутого душили много раз. Пальцами и удавками — всегда убегал. Лишь один раз не убежал, но тогда мальчишке выхлестали глаз, а не пригрозили виселицей. Значит, он спасётся и сейчас. Зубы Лутого сомкнулись на запястье ватажника — преследователь был сильнее, но Лутый, даже смертельно уставший, отчаяннее и ловче. Чем яростнее разбойник водил рукой, тем глубже Лутый прокусывал плоть. Прежде чем ему бы свернули шею, юноша дрыгнул ногой и на ощупь вцепился ватажнику в лицо, желая ногтями выцарапать глаз. Лутый знал, что этого люди боялись страшно.

Едва хватка разбойника ослабла, Лутый выскользнул угрём. Его пытались поймать, но тщетно: вывернулся, утёк из-под локтя, и преследователь, приготовившийся раздробить его голову, потерял равновесие. Лутый спихнул его, стоявшего на коленях, за пределы надёжного островка — в болото, и отпрыгнул, когда его захотели схватить за рубаху. В руках разбойника остался лишь клоч грязной треснувшей ткани.

Последний из преследователей оказался проворнее остальных: он почти убрался от сосны, и Та Ёхо пришлось известить на него не меньше пяти стрел. Но наконец айха пробила ватажнику подвздошный сосуд, и мужчина начал истекать кровью: ярко-алая, она толчками выливалась на мхи, и вместе с ней из разбойника выходила жизнь.

Лутый вскинул лицо и устало опустил на колени. Небо вспыхнуло последним закатным светом — самым ослепительно-красивым, тягуче-медовым. В воздухе пахло сыростью, железом и древесиной. И жить хотелось, ужасно хотелось жить, и сердце сжималось одновременно от тоски и бешеной радости. Лутый уткнулся лбом в ладони. Его

плечи задрожали: юноша зарыдал.

Рацлава думала, что ей ещё рано умирать: она только начала прясть из железа и только поверила в силу своих историй. Сколько ещё не спето, не выучено и не преодолено. Девушка не хотела отдавать себя на потеху разбойникам, но ей говорили, что она не была красива, — Шык-бет не станет беречь её, словно сокровище, и под утро отдаст своей ватаге. Рацлаву заполнял страх и холод: она сидела на ложе разбойничьего атамана, одетая лишь в тонкую нательную рубаху, и рукава сползали с её полных плеч. Издалека веяло ночью и болотом. Совсем близко раздавались неспешные тяжёлые шаги.

Шык-бет поддел её подбородок пальцем.

— И куда же тебя, бельмяноглазую, — спросил насмешливо, — в невесты Сармату-змею? Неужели не нашли девки получше?

Он говорил складно, но чувствовалось: княжий язык ему не родной. Рацлава не знала, огорчаться ли ей тому, что она не видит Шык-бета, — разбойничий атаман выглядел грозно. Рослый, крепкий, бородатый, с лохматыми чёрными косами, в которые вплетал толстые нити и вываренные косточки. Его серо-зелёные, будто топи, глаза щурились из-под кустистых бровей. Широкое запястье оплетали кожаные тесьмы, расшитые узорами маленького южного племени — того, что почти подчистую выжег Сармат.

— Видать, не нашли, — его рука провела по одной из её косиц. Задержалась на плече, соскользнула на спину.

Рацлава не изменилась в лице, но её пальцы в лоскутках вспорхнули к шее и сжали шнурок.

— Меня отправили к Сармату-змею не просто так, — сказала она негромко.

— Да ну? — усмехнулся Шык-бет, оттягивая рукав девушки и поглаживая большим пальцем линию правой ключицы, с каждым движением опускаясь ниже. — И что же ты умеешь?

Девушка покрывалась гусиной кожей, но когда разбойничий атаман задал ей вопрос, подняла лицо. Отблеск сальных свечей утонул в мареве её белым.

— Говорят, я славно играю на свирели. Хочешь послушать?

Загорелые пальцы Шык-бета мяли её молочно-белое плечо, перебираясь к локтю.

— На свирели? — он ухмыльнулся в бороду, но убрал руку и шумно опустился рядом. — Валяй.

Рацлава глубоко сидела на его ложе, и подол рубахи едва прикрывал её округлые колени. Девушка хотела бы одёрнуть его, но понимала — это бессмысленно. Шык-бет всё равно возьмёт от неё всё, что пожелает, но не раньше, чем Рацлава выткет свою историю. Может, самую последнюю — помнится, она обещала Совьон песню о ведьме и мече. Девушка обязана сыграть её хотя бы сейчас.

Она вытягивала первый звук, когда Шык-бет достал нож из-за кушака. И принялся крутить его между пальцев — не то скучающе, не то угрожающе.

Разбойничий атаман состоял из крепких струн: такого человека не разжалобить, не очаровать. Рацлава бы ещё могла оставить ему на поругание своё человеческое тело, запрятав душу под перья какой-нибудь птицы, — пока не стала. Она всё равно почувствует боль и стыд, когда вернётся. И поэтому песня, начатая Рацлавой, сидевшей на ложе разбойничьего атамана, была песней железа — девушка медленно отслаивала нити ножа Шык-бета.

В её разгорающейся музыке были отголоски сотен битв. Их языки тонко шептали, переплетаясь друг с другом, будто гребни огня. И за пеленой страха Рацлава не чувствовала боли — пей, свирель, пей её всю, на рассвете от Рацлавы и так ничего не останется. В истории девушки была ведьма с шёлковыми волосами и сильными руками: она пророчила страшный бой. И её предсказаниям вторили лязг мечей, грохот кольчуг и топот стальных сапог.

Рацлава выдувала страшную сказку о междоусобной войне и кровной мести, о разбойничьем нападении и тайном заговоре. Шык-бет слушал, опустив голову, и нож плясал в его пальцах, словно юная невольница на пиру: быстро и невесомо. Музыка собиралась плотным облаком, и в ней смешивались запахи ночного леса и прошедшего дождя, лагеря, разбитого в чаще. Роились звуки: удары, воинственные кличи, грохот щитов... Чем больше Рацлава тянула нити из ножа Шык-бета, тем явственнее их различала. Где-то кипел бой. Неужели разбойничий атаман не слышал этого? Или песня Рацлавы оглушила его?

По девичьей руке пробежала густая капля крови — до самого локтя, но Рацлава не обратила внимания. Пей, свирель, пей, сколько потребуется. Ах, было в лесу становище, и бурлили под ним болота, и клубились вокруг него стоны людей и звон оружия...

— Довольно, — сказал Шык-бет. — Ты играешь слишком долго.

Чтобы Рацлава закончила, ему бы пришлось отрывать свирель от её набухших губ. Девушка яростно рванула следующую нить железа, и нож Шык-бета дрогнул, оцарапав атаману ладонь.

Мужчина удивился. Сколько правил этим лезвием, сколько крутил рукоять, даже не глядя на умелые пальцы, — нож ни разу не ранил своего хозяина. Ах, разбойничий атаман, знаешь: полз как-то по перевалам один караван, и северные ведьмы предсказывали ему долгий и опасный путь. Кольчужное кружево, хитрые ловушки и пророчества горше диких ягод — где теперь воины каравана, Шык-бет? Их души — в клювах голубок, их тела — в пепле, и лишь их головы — на кольях.

Рацлава не могла спутать: рядом сражались люди. Она чувствовала их, думала о них, и... Пусть льётся её песня, бесконечная, долгая, как и эта ночь, проведённая в лагере на разбойничьих болотах.

— Я сказал — довольно, — рявкнул Шык-бет, вытирая ладонь о штанину. Атаман, упершись локтями в колени, наклонился и пристально взглянул на гладкое лезвие.

Верный нож взвился, и Шык-бет напоролся на него горлом.

Нити лопнули, и полотно раскрошилось, словно и не было никогда. Нож Шык-бета со звоном упал на пол. Разбойничий атаман забулькал, засипел — и, взметнувшись, завалился набок. Кровь его хлынула на ложе, на колени Рацлавы, на её исподнюю рубаху.

Песня испуганно застыла. По комнате пролетел сквозняк и затушил почти все сальные свечи.

Рацлава отпустила свирель и поднесла окровавленные ладони к незрячим глазам. Она даже не успела осознать, что сумела сотворить её музыка, — лицо девушки впервые искажил ужас. Зачем она сделала это? Ей всё равно некуда бежать. Она слепа, и вокруг — болота. Как измучают её разбойники за смерть своего атамана? Не так ли, что первоначальная доля покажется сладкой? Ведь звуки боя — это, конечно, буйства спешащей сюда ватаги.

Голова ещё подёргивающегося Шык-бет лежала у её колен — наполовину атаман сполз наземь. Рацлава прижала ладони к щекам и потом, безвольно опустив, вскинула лицо к потолку. Она сидела так долго — тело успело затечь. И грохот и проклятия за дверями

становились всё различимее.

Значит, не быть Рацлаве женой Сармата-змея. И умирать ей гораздо раньше летнего солнцеворота — главное, чтобы об этом не узнал Ингар. Бедный Ингар, он не вынесет, если ему расскажут, что разбойники растащили его любимую сестру на кусочки.

...Дверь вынесли сильным плечом. Рацлава сидела, не шелохнувшись, пусто глядя наверх. Нельзя было понять, где её кровь, а где — Шык-бета: в рдяных подтёках были её руки и ложе атамана. Пятна расплывались на животе и на подоле, на груди, где свирель касалась одежды. На молочно-белых щеках остались багряные разводы, стекающие до шеи. Услышав шаги, Рацлава повернула к вошедшему лицо — мертвенно-спокойное, будто мраморное, и кровь на её коже напоминала боевую раскраску.

Совьон, опуская обнажённый меч, переводила взгляд с распластанного Шык-бета на драконью невесту и от удивления не могла вымолвить ни слова.

===== Зов крови VIII =====

Кригга медленно переступала босыми ногами по холодному камню. В её косе терялись зёрна винно-розового турмалина и гроздь слюды, прозрачной, будто слеза. Подол мягкого песочного платья, расшитого золотой нитью, клубился ниже лодыжек. Девушка, едва дыша, касалась пальцами шероховатых стен и боязливо шла вперёд. Мать-гора вывела Криггу в залу — исполинскую, напоминавшую чашу, выложенную базальтом с наполовину истёртыми картинами древних сказаний. И над залой плескалось небо.

Девушка впервые за несколько месяцев увидела солнечный свет. Глаза резануло болью, но Кригга не прикрыла лицо. Лишь утёрла брызнувшие слёзы. Она хотела видеть это пылающее жаром солнце, с расплавленной желтизной которого не сравнились бы все янтари, цитрины и сердолики чертогов Сармата. Она хотела вечно стоять и, запрокинув голову, смотреть на это бескрайнее небо, голубее которого не было ни топазов и ни сапфиров. Не было у Сармата и кружева, способного превзойти весёлые барашки облаков. Легкие, нежные, кипенные, они плыли над Криггой — девушка улыбалась и плакала одновременно, и в её зрачках отражалась бездонная вышина.

Криггу разрывало чувство щемящего восторга. Не выдержав, драконья жена закружилась по зале, смеясь и простирая к небу руки: уже и не верила, что однажды его увидит. Кригга танцевала долго — до тех пор, пока её грудь не опалило. Ноги отяжелели, и девушке пришлось сесть, утирая с щёк пот и слёзы. Радости было столько, будто её выпустили на волю. Кригга прижималась спиной к стене и, шевеля босыми ступнями, подставляла под солнце лицо — веснушчатое, с громоздким подбородком и светлыми ресницами, но такое счастливое.

А потом ветер сменился, и с неба дохнуло теплом. Кригга услышала звук — не то утробный рокот, не то громкий шелест. Ликование исчезло: девушка вскочила и вытянулась, как струна, желая, чтобы её лопатки продавили неровный базальт залы.

Над исполинской чашей кружил дракон. Кригга смотрела на него снизу вверх и видела распахивающиеся кожистые крылья и пару лап, чешуйчатое брюхо и взметающийся хвост. Туловище Сармата перекрыло солнце, и на лицо Кригги легла тень.

Девушка облизнула пересохшие губы. Первой её мыслью было бежать, бежать изо всех сил, но Кригга понимала: не убежит. А если даже и доберётся до двери, вряд ли её выпустит Мать-гора. Сармат изогнул шею и повёл крыльями, устремляясь вниз; гребни на его спине блеснули кроваво-алым. И от этого света глаза полоснуло болезненное. Кригга прижималась к стене так сильно, что хрустели кости, — боялась, что её заденет дракон. Но нет — в зале

хватало места. И Сармат, выпуская из ноздрей бесцветный пар, тяжело, с царапающим звуком опустился на камень когтистыми задними лапами. Передних у него не было, и девушке показалось, что дракон должен был непременно завалиться и рухнуть, подмяв под себя голову. Вместо этого он выпростал крылья, прижимаясь к полу брюхом. Из его горла вырвался рёв, и вокруг Сармата поднялись клубы мелкой базальтовой крошки.

Кригга старалась не дышать и не поддаваться страху. Она уже видела его такого — медного, огромного, могучего. Сармат не убил её тогда, не убьёт и сейчас — ведь не убьёт, верно? Кригга думала, что она провела в одиночестве чудовищно много времени, не встречаясь ни с Маликой Горбовной, ни с Сарматом в теле человека. Но едва ли уже наступило лето.

У дракона были янтарные глаза. У мужчины, который взял Криггу в жёны, — лишь янтарные прожилки в тёмном гагате. Сармат, неспешно сворачиваясь кольцом, ложился в середине залы и смотрел на девушку, склоняя морду. Кригга задышала чаще и глубже — грудь её заклокотала. Не бояться не получалось. На вдохе алые пластины Сармата расходились, и между ними пробегали медовые нити. На выдохе из его ноздрей снова вылетали струйки пара.

Гребнистый хвост со скрежетом опустился на пол: Кригга не удержалась и вздрогнула. Может, она была далеко не самой смелой из женщин, но между ней и драконом, уничтожившим древний Гурат-град и одни боги ведают, сколько ещё городов, — расстояние в дюжину локтей. Если бы Сармат захотел, то дохнул бы на Криггу пламенем. И занялось бы её расшитое песочное платье, запылала бы длинная коса, и расплзлась бы кожа, обнажая чернеющую плоть...

Сармат ударил хвостом второй раз и, изгибаясь, опустил голову на пол. Будто домашняя кошка — пронеслась мысль. Кригге понадобилось время, чтобы догадаться: дракон бил хвостом не угрожающе, а нетерпеливо. И почти игриво — так чего же он ждал? Собрав всю волю, девушка оттолкнулась от стены — и на первом шаге неизящно покачнулась, едва не упав. Идти к Сармату было ещё страшнее, чем просто стоять. За первым шагом был следующий, и ещё один, и ещё — наконец Кригга приблизилась к дракону. Осторожно обошла его морду и оказалась сразу у бока. Затаив дыхание, медленно подняла руку и коснулась алых чешуй. Твёрдые. Горячие. Тут же между пластинами пробежала янтарная прожилка шире прочих, дохнуло жаром, и Кригга боязливо отдёрнула пальцы.

Сармат смотрел на неё, повернув шею. И в его глотке захлопал звук, напоминавший смех.

Кригга выдохнула, распрямила плечи и поправила закатившийся рукав. Она не чувствовала веселья — кто из них двоих жил на свете больше тысячи лет, а кто — всего шестнадцать? Кригге, возможно, полагалось быть безрассудной и летяще-любопытной, но её ещё в детстве считали сдержанным ребёнком. Бабка и вовсе говорила, что она вырастет мудрой женщиной.

Нет. Не вырастет.

К гребням на спине Сармата была накрепко, с двух сторон привязана петля — только руки каменных дев-марл могли сделать это. Ладони Кригги стали липкими, а к горлу подкатила тошнота.

— Не нужно, — выдавила она, надеясь, что Сармат-дракон понимает человеческую речь. И призналась: — Я боюсь.

Сармат не грозно, но отчётливо зарычал, сгибая ноги. Его спина опустилась ниже.

— Пожалуйста, — тихо повторила девушка, — не нужно.

Дракон снова ударил хвостом. Казалось, из-под шипов полетели искры. Кригга проглотила ком, наспех вытерла о платье вспотевшие ладони и взялась за один из наростов на медном боку. Взбиралась она медленно, то и дело соскальзывая, и думала, что вот-вот Сармат выйдет из себя и сбросит её, такую неуклюжую. Лицо Кригги покраснелось, а едва вьющиеся короткие прядочки, выбившиеся из косы, намокли. Когда бёдра девушки коснулись спины Сармата, она некстати вспомнила, что под ней — тот, кто проводил с ней ночи, даже если в другом теле. И от этого хотелось провалиться сквозь землю, одёрнув задирающуюся юбку до самых пят.

Наконец Кригга вдела себя в петлю и затянула у талии толстую верёвку. Оставалось надеяться, что узлы, завязанные марлами на гребнях Сармата, были достаточно прочными.

— Всё, — глухо сказала она.

Сармат под ней шевельнулся, вздыбился, оттолкнулся лапами — Кригга не упала. Но сидеть на драконьей спине было неудобно: жёстко и немного скользко, и девушка не знала, как удержится в небе. Она и верхом на коне ездил дурно. Сармат поднялся, вскинул морду и расправил крылья — их, даже в полном размахе, не сжимала базальтовая зала. Кригга что есть мочи вцепилась в гребни Сармата и побелела.

Дракон попятился назад, выпуская горячий воздух, а затем резко подался вперёд — и, ударив когтями по полу, взлетел. Кригга боялась тратить силы на крик. Лишь прильнула к спине Сармата и, не успев зажмуриться, увидела краем глаза, как мешались краски.

Было страшно оттого, как под девушкой сокращались драконьи мышцы и как извивался его хребет. Как за ней, сидевшей почти на холке, двигались огромные крылья. Ветер свистел в ушах, дул в лицо; тёплая чешуя кололась, и руки Кригги в мгновение становились влажными. Узлы уже не казались и мало-мальски надёжными: когда Сармат взлетал по вертикали, верёвка опасно натянулась. Кригга вцепилась в наросты на спине так сильно, что её пальцы посинели.

Она сумела оглядеться не раньше, чем Сармат набрал высоту и распрямился, — осматривалась рывками, чтобы не сорваться вниз. Возможно, если бы верёвка оборвалась, Сармат бы поймал девушку лапами, но рисковать не хотелось.

Под Криггой ползли желтовато-зелёные поля и вихрастые леса: деревья казались игрушечными, будто в той музыкальной шкатулке, которую драконьей жене принесли марлы. По небосводу катилось златоглавое солнце — ближе, чем когда-либо. По земле разбегались паутины дорог, и ниже брюха Сармата летали птицы, не рискуя подобраться к рокочущему чудовищу. Ветер дул так сильно, словно хотел содрать с Кригги лицо; особенно — когда дракон делал полукруг, разворачиваясь.

Девушка увидела Мать-гору. Удивительно статную, гигантскую, обособившуюся от остального горного хребта — свет красил её вершину в медь. У подножия растекались рукава голубых рек. Сармат летел, его грудь раздувалась, а крылья разгоняли воздух: Кригга сумела рассмотреть кусочек пыльно-соломенной Пустоши и слои перевалов за Мать-горой. В них прятались богатые деревни камнерезов: самоцветно-роскошные, малахитовые и корундовые. Они тоже казались игрушечными — какие маленькие, какие беспомощные.

В дремучих лесах ходили медведи и олени, пустельги и соколы кружились над Пустошью. Неизменно текла жизнь деревень камнерезов — крошечные люди выходили из вырезанных из минералов домов, несли воду и корзины с осколками горных пород. Из кузниц валил дым, по дворам бегали босоногие дети, и длиннокосые девушки кормили коров

и кур. К этому времени Кригга почти забыла, что ей было неудобно и страшно, что в ветряных потоках она дышала с трудом и что чешуя Сармата истёрла ей бёдра до крови.

Как хороша эта жизнь, хороши эти поля и дубравы, степи и деревни, люди которых постепенно привыкли к дракону, — похоже, он пролетал над ними часто. Весь блеск чертогов Сармата мерк перед такой красотой, думала Кригга, прижимаясь к его спине. Отпустил бы он её, отпустил бы на волю — ну что ему неказистая дочь гончара? Перед ним в этих землях любая девица стелилась, каждая была краше солнышка. Это их, а не Криггу, следовало рядить в самоцветы и шёлк.

У горизонта переливалось Перламутровое море — девушка и не думала, что оно лежало так близко к Матерь-горе. Про бескрайние солёные воды, взбивающие пену, рассказывали странники, забредшие в Вошту, но Кригга не чаяла увидеть их сама. Сармат направился к морю, плавно опускаясь до тех пор, пока холодные брызги не коснулись его брюха. Ветер доносил их даже до кожистых крыльев и ног Кригги. С шелестом перекатывались волны, кричали чайки.

Кригга увидела отражение Сармата на водной глади. Дракон, планируя в воздухе, отбрасывал длинную тень на кудри перламутровой пены, и в море дрожала его освещённая солнцем алая чешуя. Под Криггой шевелилась толща лазурной воды — близко-близко, маняще...

Не растянуть ли ей петлю на талии? Не соскользнуть ли в пучину? Кригга плавала не очень хорошо и не выжила бы в открытом море. Но тогда бы девушке не пришлось возвращаться в чертоги Матерь-горы. Променять ли ей княжеское, усыпанное самоцветами ложе Сармата на морское дно? Уснуть ли на постели из водорослей, увенчанной кораллами, о которых говорили странники, чтобы пёстрые рыбы резвились над её лицом? Тогда в Кригге больше не будет страха. Ей не придётся трепетать перед летним солнцеворотом. Наступит покой.

Кригга уткнулась в наросты на драконьей спине. Не было у неё такого права. Она обязана смиренно нести свою ношу до конца — что, если Сармат разозлится и потребует другую девушку из их деревни?

Море текло под драконом — бескрайнее, голубое, пенное. В его водах играли солнечные лучи. Ударив крыльями по воздуху, Сармат издал протяжный рёв и рванулся в небо.

Эта палата, освещённая неверным светом лампад, янтарно-гагатова, была посвящена матери Сармата. Малика Горбовна касалась выпуклого изображения на одной из стен — рыжеволосая красавица княгиня, любившая украшения и буйного третьего сына, проклятая по велению своего первенца, князя Хьялмы из Халлегата. Не было у Сармата жены, способной понять княгиню лучше, чем Малика Горбовна. И в той, и в другой бежала кровь старого княжеского рода. И ту, и другую насильно лишили семьи. И едва ли кто-то, кроме её сыновей, провёл наедине с Матерь-горой больше времени, чем Малика. Молодая женщина чувствовала: сейчас, спустя несколько лун, ей удавалось угадывать, куда ведёт та или иная самоцветная дверь, как свернуть в нужный коридор. Конечно, даже спустя десять лет Матерь-гора не открыла бы Малике путь на волю. Но теперь княжна научилась не сбиваться с пути — это радовало.

Картины на стенах показывали, как княгиню Ингерду выдавали за нежеланного жениха — того, кто был старше её в три раза и кому она спустя годы родила пятерых сыновей.

Малика невольно вспоминала и собственную свадьбу, кроваво-шёлковую, убранную золотом, гранатом и киноварью. Марлы вели её к Сармату-змею, богатую и красивую, с полными руками, расписанными ритуальными узорами. Кажется, ей рисовали знаки даже на гордом лице — Малика помнила плохо. Было душно, пряно и беспокойно. Вокруг неё пели, брэнчали серьгами и браслетами, расстилали перед ней дорогие ткани. А потом княжна увидела Сармата, которому больше всего на свете хотела вцепиться в горло.

Обязательно вцепится, но не сейчас. Время, проведённое в одиночестве в чужих чертогах, научило Малику терпению. Снова вспомнился Хортим, который наверняка бы гордился ею — жаль, что брат не ведал этого.

— Вот уж не думал, жёнушка, что встречу тебя здесь.

Малика неспешно отвернулась от стены и провела взглядом по мягкому тёмному ковру, по длинному пиршественному столу, уставленному золотыми чашами и пустыми блюдами. Чертог, посвящённой княгине Ингерде, был таким же, как и этот стол: узким, но длинным. Сармат стоял у дверей — точь-в-точь как в тот день, когда Малику только готовили к их свадьбе.

— Очередное полнолуние? — спросила она, слегка кривя губы.

— О да.

— И какой сейчас месяц? — княжна медленно прошла к одному из тяжёлых стульев.

— Ноябрь, — беспечно ответил Сармат, двигаясь к ней навстречу. — Скоро зима.

Малика дёрнула плечом, отбрасывая за спину незаплетённые волосы — густые, вьющиеся, медовые, в которых позвякивали золотые украшения. Малика не желала их надевать, но марлы были настойчивы. И платье ей выбрали они — тоже тёпло-янтарное, с расшитым рядом пуговиц и зауженными у запястий рукавами.

Она взяла со столешницы золотой кубок, в который каменные слуги сувары недавно налили вино.

— Что-то ты не рада встрече, душа моя, — вздохнул Сармат, останавливаясь напротив.

— А должна?

— Я извинился за то, что сделал с Гуратом, — напомнил он, и Малика вскинула чёрные брови.

— О, — протянула, усмехаясь. — Извинился.

— Ну, полно, жёнушка, — мужчина склонил голову, а Малика глотнула вино. — Если захочешь, я построю тебе сотню таких городов, и всё равно новый Гурат будет лучше каждого из них.

— Построй, — княжна качнула плечами, — но какой тебе в этом прок? Всё равно скоро вновь станешь вдовцом.

Сармат обошёл стол и, постукивая костяшками по спинкам стульев, замер перед ней.

— Я же сказал, что ты не умрёшь.

— Ты вообще много говоришь, но что из этого правда? — большой палец Малики очертил кубок.

— Не всё, — признался Сармат, похлопывая себя по бёдрам. — Но — взгляни. Будешь мне княгиней, Малика Горбовна, лучшей и богатейшей из княгинь. У твоего рода много врагов, страшных, кровных, и в моих силах оставить от них лишь пепел. Семья хана, убившего твоего старшего брата...

Малика поперхнулась.

— Ты слишком много знаешь для того, кто круглый год сторожит сокровища в своей

горе.

— ...неверные кмети, замышлявшие заговоры против твоего отца. Другие князья — есть ли кто-то достаточно могущественный, чтобы вы с ним не ладили?

Есть. Мстивой Войлич из северной твердыни.

— У моей княгини не будет врагов, — прошептал Сармат. Малика откашлялась и отставила кубок, который тут же взял её муж: — Твоё здоровье, жёнушка.

И выпил.

— Гладко стелешь, Сармат-змей, — медленно проговорила Малика, — только спать жёстко.

Но ему и самому надоело хвалиться — вспомнил, что ночь не настолько длинная, чтобы тратить её на одни разговоры.

— Есть то, с чем даже ты не поспоришь, — выдохнул он, делая шаг. — Никто, кроме меня, тебе не ровня — ни по роду, ни по богатству и ни по величию. Может, лишь князь из Волчьей Воьны, ну да что о нём говорить? Кажется, он враг тебе?

Сармат тоже был её врагом, и Малика ненавидела его гораздо сильнее Войлича.

— Знаешь, Малика Горбовна, — говорил он, подтягивая её к себе за локоть, — у тебя не худший муж.

Медовый свет лампад дрогнул, бросая жалобные отблески на картины из жизни княгини Ингерды. Малика почувствовала горячее дыхание на своей шее.

— Бедный, бедный Сармат, — жарко вытолкнула она, запрокидывая голову. — Что же ты будешь делать, когда переведутся люди, готовые тебе верить?

Сармат усмехнулся ей в ключицы.

===== Топор со стола VI =====

Фасольд сидел на сундуке и угрюмо перебрасывал топор из одной руки в другую. Когда воевода был в дурном настроении, к нему старались не подходить — дороже бы вышло, хотя Хортим Горбович не понимал, что успело рассердить Фасольда. День стоял удивительно погожий: голубело безоблачное небо и ласково светило прозрачное солнце. Волны послушно лизали щиты солёными языками. Ветер сменился на попутный, и гребцы наконец-то получили недолгий отдых. Боевой драккар княжича ладно шёл по морю в сторону Девятиозёрного города — оставалась лишь пара дней пути. Скоро бы показалась земля, обещавшая дружине приют и пищу, а пока вдали лишь смутно серели массивы гор.

— Гляжу, твой воевода опять невесел, а, Хортим Горбович? — Арха подскочил к господину, стоящему на носу корабля, и хлопнул по плечу.

— Тихо ты, — отозвался княжич и неспешно оглянулся. Фасольд сидел там же, где и прежде, перекидывал топор и неприветливо смотрел не то на Вигге, разговаривающего с кормчим, не то на затерявшегося среди гребцов Инжуку — благо, тот уже крепко стоял на ногах, полностью оправившись от болезни. — Не буди лиха.

— Слушаюсь, — Арха, криво улыбнувшись, проследил за взглядом Хортима и вдохнул полной грудью. — Как думаешь, славно ли нас примет озёрный князь?

Князем Чуеслава Вышатича, сына кожемяки, назвало вече. Рассказывали, что он был немногим, лет на пять, старше Хортима и что люди любили его за весёлый нрав и справедливую руку.

— Лучше, чем приняли в Волчьей Воьны. — Хортим надеялся, что в маленьком портовом городе всё будет спокойнее и проще. Без старых врагов его отца и буйного Фасольда, пытавшегося уязвить Мстивоя Войлича. — Представляешь, как удивится Чуеслав?

— О да, — хохотнул Арха. — Готов поспорить, ты окажешься первым Горбовичем, посетившим его дворы. Многие Чуеслава-то и за князя не считают. Безродный, говорят, пёс.

— Люди много что говорят, — отозвался Хортим. — А ты не повторяй.

— Больно надо, княжич, — Арха блаженно прикрыл глаза, вслушиваясь, как ветер гуляет в хлопающих парусах. — Чуеслав мирно сидит в своём городе и правит мудро. Из кожи вон не лезет, к дочерям Мстивоя не сватается.

— У Мстивоя нет дочерей. Только сыновья.

Хортим задумчиво потёр костяшки заплывших ожогами пальцев и сощурился. Вигге отошёл от кормчего и теперь стоял у борта, всматриваясь вдаль. Потoki солёного воздуха шевелили его седые волосы. Словно почувствовав взгляд, Вигге повернулся — и встретился с княжичем глазами. И что за страшные у него были глаза — цепкие, бездонные, старческие на совсем ещё не старом лице. Вигге медленно развернулся, намереваясь подойти к Хортиму, — в последние дни они разговаривали часто. Отшельник оказался приятным собеседником: умным и сдержанным, но всё равно что-то в его облике неизменно тревожило Хортима. А Вигге тем временем начал сливаться с обычными воинами из дружины — переоделся в одежду, похожую на их, повесил меч на пояс и срезал чересчур длинные ногти, поняв, что с ними неудобно на боевом корабле. Лишь по-прежнему кашлял кровью и по-прежнему не обращал на это внимания.

— Скажи честно, — как-то попросил его Хортим, — ты хочешь вернуться в княжества, чтобы найти себе лекаря? Их много в наших горах.

Тогда Вигге равнодушно пожал плечам и сказал, что уже ни один лекарь не в силах ему помочь.

Отшельник не слишком нравился дружине — особенно людям Фасольда и самому Фасольду, но Хортим бы удивился, если бы вышло иначе. Вигге знал, что воевода относится к нему с насмешливым презрением, но несколько не беспокоился. И даже сейчас остановился недалеко от него, угрюмого, сидевшего на сундуке и перебрасывающего топор.

— Давно хотел спросить тебя, Хортим Горбович, — спокойно начал Вигге, поглаживая треугольную бородку. — Разрешить?

Княжич сделал несколько шагов к нему навстречу и дружелюбно ответил:

— Разрешаю.

Арха двинулся следом, не то наслаждаясь безоблачным небом, не то настороженно вслушиваясь.

Вигге никогда не задавал вопросов из простого любопытства, и тем страннее показался этот.

— Есть ли у тебя братья, Хортим Горбович? — отшельник говорил негромко, но его голос перебивал хлопанье парусов, шелест моря и беззлобные перепалки дружины. Даже Фасольд вскинул разодранное и криво сросшееся ухо с серебряной серьгой.

Хортим нахмурился и кивком указал на несколько пустующих сундуков, предлагая Вигге сесть, и рядом с ним осторожно скользнул Арха. Наконец княжич ответил:

— Был старший брат, да погиб в бою. — Он поставил локти на колени и сплёл обожжённые пальцы. Потом по-птичьи склонил голову вбок — к собеседнику. — Осталась лишь сестра.

Может, зря они не выбрали место подальше от Фасольда? Хортиму никогда не претило быть осмотнительным, особенно, когда дело затрагивало Малику и влюблённого в неё воеводу.

— Зачем тебе?

Но Вигге будто не услышал.

— А что твоя сестра, Хортим Горбович? Она тебя старше? Влиятельнее? Много ли верных людей у неё и её мужа?

— Старше, — рассеянно отвечал тот. — Но на этом всё. У моей сестры нет ни друзей, ни мужа. И, если верить толкам, сейчас она в чертогах Сармата-змея.

— Ах, — Вигге слегка откинулся назад. — У Сармата. — Его губы протянули два слова и сломались в многозначительную усмешку. А затем выплюнули сгусток крови в выуженный из-за пояса платок.

В последнее время Вигге много спрашивал о драконе. Ему с упоением и насмешкой рассказывала вся дружина — есть же на свете кто-то, не знающий про жён Сармата, непомерную дань и летний солнцеворот.

— Что от тебя хочет этот странный человек, княжич? — весело спросил Арха, но его бледные глаза, из которых словно вытекла вся краска, внимательно поблескивали из-под бесцветных ресниц. — Есть ли ему дело до семьи моего господина?

Вигге даже не повернулся в его сторону.

— Тогда почему твои люди называют тебя княжичем?

Хортим вскинул брови и улыбнулся:

— А как же им следует меня называть?

Вигге смотрел на него долго и будто бы немного разочаровано — он не скрывал, что считает Хортима смышлённым юношей.

— Твой отец мёртв, — ровно сказал он. — У тебя больше нет брата. Твоя сестра в заточении и не сможет поднять бунт. Значит, ты должен быть князем Гурат-града. Поэтому я спрошу ещё раз, Хортим Горбович: почему твои люди называют тебя княжичем?

Тягучая речь и тяжёлый, ещё немного заплетающийся в подзабытых словах язык. Так мог говорить лишь человек, привыкший, чтобы ему внимали, а многие воины с корабля ещё относились к Вигге как к черни.

— Вот оно что, — Хортим выпрямился и вздохнул. — Тогда слушай. Я стану князем не раньше, чем мой лоб окропят миром в главном соборе Гурат-града, но до этого мне нужно заново отстроить свой город. — И придумать, как убить Сармата-дракона. — Что за правитель без земель? Мне не нужны громкие титулы.

— Тебе — нет, — ответил Вигге, и его холодные глаза стали похожи на змеиные. — А им, — он кивнул в сторону остальной дружины, — нужны.

— Я не понимаю тебя.

— Мир, — продолжал тот, кривясь, — соборы. Золото, киноварь, бархат. Колокола. Ломти земли. Думаешь, это сделает тебя князем?

Хортим задумчиво запустил одну руку в волосы, дёргая за чёрные пряди.

— Князей делает не мир, — тихо добавил Вигге и указал на Арху. — И даже не города. Князей делают люди, и, по счастью, они у тебя есть.

В повисшей тишине было слышно, как тяжело поднялся Фасольд с сундука напротив. И, убрав топор, засмеялся в усы.

— Много ты знаешь о князьях, отшельник, — воевода осклабился.

Это был первый раз, когда Вигге посмотрел на Фасольда внимательно — прямо и почти скучающе. На Фасольда, с которым, кроме Кивра Горбовича и его врага Мстивоя, никто бы не сумел сладить.

— Достаточно, — обронил Вигге и встал на ноги, будто его дело было сделано. И за ним словно лавина покати́лась с горы.

— А ведь твой одичавший охотник прав, Хортим Горбович, — прозвенел голос Архи. — Эй, Латы, поди сюда да толкай всех, кто меня не слышит.

Арха вспрыгнул на один из сундуков и остался стоять там, покачиваясь, бесцветный с краплениями алых ожогов и алой нитью в струнах короткой косы.

Соколя дюжина переняла его возбуждение быстро. Люди Фасольда держались спокойнее.

— Братия! — возвестил Арха на сундуке. — Отчего мы до сих пор величаем Хортима Горбовича княжичем? Ждём, пока кто-то вместо него назовётся гуратским князем?

— Нет больше Гурат-града, — напомнил Скурат, один из вояк Фасольда.

— Будет, — возразил Латы.

Море шипело вокруг, голубое и пенное. Ветер разгонял паруса, играл в густых бородах и корабельных снастях. Солнце расплылось над драккаром — огромное и золотое, как купола гуратских соборов.

— Не торопишься ли ты в князья, мальчик? — спросил Фасольд, но особенно перечить не стал. Арха, качаясь на сундуке в блеске света, жестикулируя, пересказывал воинам слова Вигге, который незаметно скрылся из виду. Хортим, щурясь на соборное солнце, думал, что всё происходящее — закрутившийся сон.

Арха говорил. Соколя дюжина кричала. Плескалось море, и люди Фасольда подставляли смягчившиеся лица под косые лучи.

Как же ты просчитал это, Вигге, думал Хортим. И догадался же, что Арха — его самый лютей и верный соратник из всех лютей и верных, что он ему ближе всех. Не Хортиму был нужен титул, а всей его уставшей, измотанной плаванием и неудачами дружине — дыхание новой надежды ненадолго бы оживило даже Фасольда.

Кто-то подхватил Хортима под руки, кто-то вытащил один из сундуков на середину палубы, а кормчий Ежи велел поднять на мачту флаг с вышитым соколом.

— Да что же вы, бешеные, удумали, — беззлобно рассмеялся Хортим, запрокидывая голову. Его усадили на сундук. — Божьего человека среди вас нет. И миро нет.

— Вино есть, — невпопад бросил Инжука, а Архе большего и не требовалось.

— Гарке, — завопил он дружиннику, — тащи!

На палубу выволокли едва ли не последний початый бочонок.

Раскрасневшийся Арха закатал рукава до локтей и упёрся ладонями в колени.

— Я тебя, Хортим Горбович, из-под сарматова огня яростнее всех вытаскивал. Мне тебя и на княжение венчать, — голос его взлетел до громкого хриплого крика. — Кто-то оспорить хочет?

Никто не захотел.

Вместо княжеского венца Хортиму нашли подбитую собо́лем шапку — уж не Фасольда ли? Воевода больше не искал ссоры, только стоял в стороне и пощипывал седой ус и, как говорили позже, даже улыбался.

Арха торжественно откупорил бочонок. В Соколей дюжине были воины знатного рода, такие, как Латы — сын вельможи, но матерью Архи была простая кухарка, и тот и знать не знал про таинства правителей Гурата. И говорил то, что лежало на сердце.

— Будешь нам князем, Хортим Горбович? — спросил Арха строго, перехватывая бочонок.

— Буду.

Хортиму на лицо хлынуло вино из пригоршни, хотя он ожидал лишь нескольких капель на лоб, и поэтому закашлялся.

— Будешь нам как отец родной? Будешь править нами мудро и справедливо?

На этот раз он уже задержал дыхание:

— Буду.

Драккар качался на волнах. Солнце освещало сокола на хлопающем парусе, и небо над Хортимом разбегалось от края до края — светлое, пронзительное. И было это небо древнее и спокойнее шумящей на палубе дружины: вмиг посерьезневшего Архи и Ежи, не отходившего от рулевого весла, Латы, Инжуки и многих людей, чьи лица выдубили суровые морские ветры... И небо это отдавало кислотой просочившихся в рот капель.

Кифу бы венчали на княжение правильно. Божий человек взял бы с него клятву, которую давали прежние правители. И пахло бы ладаном, миром и воском, и мир бы плясал в мерцании чарующих сводов гуратского собора. Но Хортим — не его брат, и его вокняжение — драккар и волны, горстка одичавших воинов и палуба, скользкая от вина.

— Будешь ли ты вести нас во что бы то ни стало, Хортим Горбович? Будешь ли ты заботиться о благополучии Гурат-града и всех тех, кто живёт на твоих землях?

— Буду, — выдохнул он, и Арха от избытка чувств выплеснул ему на волосы всё, что оставалось в бочонке. Залило лицо, шею, рубаху, доски под сундуком — но сейчас это не имело никакого значения.

Арха бросил себе под ноги бочонок, и тот раскололся. Хортим даже не протёр глаза рукавом и лишь почувствовал, как кто-то косо надел ему на голову чужую шапку с собольим мехом.

— Вот, — вытягивал осипший Арха, — наш государь.

Хортим поднялся, и под его сапогами захлюпали лужи. Палуба запрыгала быстрее — не рухнуть бы, не рухнуть, не... Голова кружилась от запаха соли и хмеля, но ноги стояли прочнее, чем когда-либо на корабле.

— Хортим из рода Горбовичей, князь Гурат-града, владыка Пустоши.

Хорошо, что из всех тукеров тебя слышал лишь Инжука, думал Хортим.

Тут же грянул оглушительный гром голосов, и к гуратскому князю подскочили люди, и они хлопали его по спине, мяти за плечи, жали ему руки. Шапка соскользнула с влажных волос, но никто этого не заметил. Хортим наконец-то смахнул вино с ресниц и увидел слившееся с танцующей водой небо, чьи-то ладони и шеи. Его поздравляли и заключали в медвежьи объятия, ему что-то кричали в уши — но, извернувшись, Хортиму удалось чудом высмотреть Вигге. Тот стоял неподалёку от ликующего Ежи и выглядел так, будто был совершенно ни при чём.

Девятиозёрный город, приземистый и деревянный, по-купчески шумный, действительно стоял на девяти небольших озёрах в пологом изломе гор. Дома его жители возводили на мостках, и у их крылец качались длинные узкие лодки, гружёные рыбой, пушниной и мелкой утварью. Узорные тарелки и пузатые корчаги, стеклянные бусы, костяные гребни, бочки и сапоги — пестрели базары, расположенные на негниющих липовых настилах. Шуршали рассекающие воду вёсла. Под ногами скрипела древесина, и кто-то громко спорил о цене.

Приближение драккара Хортима Горбовича вызвало переполох: боевые корабли к добру

не ходили. Даже если щиты на их бортах были повернуты впалой стороной. То ли дело торговые, которые десятками останавливались в Девятиозёрном городе. Ветер надувал парус с вышитым гербом — и страх жителей сменялся любопытством. На пристани продавцы выглядывали из-за своих лотков, а покупатели, все как один, бросали перебирать орехи и связки сушёных ягод. Рыбаки вставали в полный рост на качающихся лодках. Вести разлетелись быстро — приехал сюда не то враг, не то гонец, не то страшно родовитый князь.

Хортиму Горбовичу понравился Девятиозёрный город. Не восхитил, конечно, так, как Волчья Волянь, но по-своему очаровал. Эти мостки и эта перекатывающаяся под ними вода с налипшим сверху туманом, купцы в меховых шапках и их краснощёкие дочери в пушистых шубах, лодчники и громкоголосые зазывалы в дублёной коже... Повсюду — звон и шелест, стук и многоголосие разговоров. Кувшины с мёдом, ножи, ленты для девичьих кос и рассыпанный янтарь. Дышалось здесь легче, чем в грозной Воляни. И хотелось рассматривать дома и рынки, подставляя под солнце усталое улыбающееся лицо.

Встречал дружину сам Чуеслав Вышатич и горстка его соратников. Озёрный князь был крепок и черноволос. Широкоплечий, с открытым лицом — выступающий лоб, прямой нос, серьёзный, но вместе с тем добродушный взгляд. Одевался Чуеслав просто, не богаче местных торговцев: на рубаху накидывал дублёнку, не застёгивая, не носил ни колец, ни браслетов — лишь кожаные тесьмы в косах.

— Глазам своим не верю, — и весело, и осторожно проговорил Чуеслав, когда Хортим ступил на пристань. — Неужели и вправду Горбович?

Спутать было сложно. Хортим был устал, худ и изуродован Сарматом, Чуеслав — здоров и полон сил. Но едва они оказались рядом, любой бы ответил, кто из них сын кожемяки, а кто — гуратского владыки. Хортим всегда разговаривал вежливо и приветливо, но как он держал себя, как шагал, как заставлял себя слушать, ненароком вскидывая породистый нос. Фасольд смотрел на него, сходя с корабля следом, — осанка, излом губ и бровей, голос. Хортим напоминал своего отца куда больше, чем привык думать.

— Вправду, — ответил нововенчаный князь, склоняя голову. — Я Хортим Горбович, а это мои люди. Мы пришли с миром, так не откажи нам в приюте.

— Добро, — улыбнулся Чуеслав. — Будьте моими гостями. Но вот уж кого я не ожидал увидеть в своём городе, так это человека твоего рода.

Неудивительно. Как рассказал позже сам Чуеслав Вышатич, даже мелкие окрестные князья избегали встреч с ним, а когда всё-таки приезжали — куда денешься, если озёрные порты процветают? — смотрели свысока. Чуеслав не обижался: сын кожемяки не был им ровней, да и не старался стать. Заботился лишь о процветании Девятиозёрного города и его жителей и не пытался взлететь выше, чем следовало.

Гордость и надменность Горбовичей — не чета мелким князьям — давно превратились в легенду. Но вот пришёл Хортим на драккаре, и говорил с Чуеславом спокойно и просто, и, когда тот привёл его и его соратников в свой дом, без усмешки называл князем. Но сам Хортим не видел в этом заслуги: он изгнанник, владыка без земель, а Чуеслав, несмотря на возраст, — мудрый и уважаемый правитель, которого признавали люди от мала до велика.

Дружинный дом Чуеслава Вышатича тоже был деревянным и крепким. Длинный и узкий, с резными ставнями и высеченной над дверями головой соболя — герб маленького, но преуспевающего Девятиозёрного города. Где-то Хортим углядел даже несколько плещущихся на ветру полотнищ с вышитым символом.

— Откуда путь держишь, Хортим Горбович? — спросил Чуеслав, приглашая за

поспешно, но по-озёрному пышно накрытый стол. И как-то виновато улыбнулся людям Хортима — не взыщите, мол, чем богаты. Он не знал, что такой приём, домашний, мирный, — лучшее, что могло с ними случиться.

— Из Волчьей Волыни. — Хортима усадили по правую руку от Чуеслава, и дружине его соратники озёрного князя предлагали сесть рядом.

— Из Волыни, — присвистнул Чуеслав, наливая гостю мёд. — Славный город. И батька у них там мощный.

Фасольд закашлялся.

Потёк пир, скромный и добротный. Никто не развлекал гостей песнями и танцами, как было у Мстивоя, но оживлённые разговоры ещё долго не смолкали под сводами дружинного дома. Хортим представил Чуеславу своих приближённых и не стал скрывать, что за дело привело его в Волчью Волынь и почему сейчас он, с оскудевшими запасами и без ратей за спиной, оказался в Девятиозёрном городе.

— Мои владения малы и не защищены от драконьего огня, — кивнул Чуеслав. — Но я могу дать тебе людей.

Сумели бы выстоять несколько его дружинников против Сармата? Едва ли, но за такую помощь, оказанную приезжему князю, с Чуеслава бы строго спросило вече, а семьи отправленных на смерть воинов очернили бы его имя.

— Я ценю это, — миролюбиво сказал Хортим, — но пусть твои люди остаются дома. Лучше не откажи дать нам в путь пищу и пресную воду.

Тот, конечно, не отказал.

В доме Чуеслава Вышатича напитки и блюда разносили слуги, но чашу Хортиму подавала девушка, одетая лучше слуг. Круглолицая, с тёмно-рыжей косой и расшитой перевязкой, в подпоясанном коричневом платье и с тяжёлыми бусами на груди.

— Сестра моя, — обронил Чуеслав.

— Княжна, значит, — серьёзно сказал Хортим, а девушка, смотрящая на него из-под коротких ресниц, зарделась и опустила голову, чтобы скрыть румянец.

Чуеслав засмеялся.

— Не заглядывайся на гостя, Рынка. Ступай, — и повернулся к собеседнику. — Вот зовёшь ты её княжной, Хортим Горбович, а мне что делать, если она нос начнёт задирать? Окрестным князьям предлагать? Они этого больше смерти боятся.

— А ты не предлагаешь?

— Больно надо, — фыркнул Чуеслав. — Мои соседи только и ждут от меня такого оскорбления. Но пусть не трясутся, мы своё место знаем. Невеста моя — дочь корабельщика, её отец вече собирал, чтобы меня князем назвать. Свадьба на весну назначена, приезжай.

Хортим был бы рад, но надеялся, что к весне уже вернётся на юг. И вновь обратится к правителям стонущих под Сарматом земель: что успел натворить дракон за прошедшее время? Не вынудил ли их озлобиться и ответить ударом на удар?

— А ты жениться не собираешься, Хортим Горбович?

— Будто мне и так проблем мало, — ответил тот. — Город поднимать нужно.

Слова, слова, слова... Хортим порядком от них устал: требовалось доказать делом.

— Это ты зря, — вдруг отозвался Чуеслав. — Твоё имя почётно, твой род велик, и любые правители охотно помогут тебе, если ты приедешь свататься, а не звать на войну.

В его словах чувствовалось разумное зерно — Хортим пообещал себе подумать, а тем временем Чуеслав Вышатич осушил ещё одну чарку и поверх неё с любопытством посмотрел

на Вигге. Отшельник сидел сбоку, говорил немного и всё больше слушал друзей озёрного князя.

— Дружинник, — приветливо обратился к нему Чуеслав, — не обессудь. Но я уже долго тебя разглядываю и всё никак не могу понять. Чьих ты будешь?

Вигге привычно вытер кровь в уголках губ.

— Я не дружинник, — ответил он мерно. — Я охотник с далёкого севера, и князь Хортим Горбович по доброте своей привёз меня в Девятиозёрный город.

— Охотник? — переспросил Чуеслав. — Вот уж не думал.

— Отчего же? — вклинился Фасольд и шумно поставил на стол чашу. Но воевода выглядел раздобревшим и не желал никого задеть. — Это Вигге из Длинного дома, и он много лет жил уединённо.

— Ты удивлён, озёрный князь, — заметил отшельник. — Почему?

— Видишь ли, Вигге, — Чуеслав подался вперёд, постукивая ногтем по тарелке. — Я вышел из народа и таких, как я, издалека могу различить. Ты ведь не из простых, верно?

— Да ну? — тот вскинул бровь.

— Ну посуди сам, — Чуеслав развёл руками и даже повернулся к Хортиму, будто призывая его в свидетели. — Как ты сидишь, Вигге, как ешь, как смотришь. Здесь так держит себя лишь гуратский князь, — он несильно хлопнул Хортима по плечу. — Не подумай, что я хочу обидеть тебя, Горбович! Ты говоришь со мной как друг, но кровь в твоих жилах — не вода в ручье.

Хортим и не подумал обижаться, но взглянул на Вигге прищурено. Сам бездумно сравнивал его то с отцом, то со Мстивоем, но ведь это — вздор.

— Вздор, — озвучил его мысли Фасольд. — Уж не пьян ли ты, Чуеслав Вышатич? А то мерещится тебе всякое.

Вигге казался совершенно невозмутимым, а Чуеслав засмеялся:

— Да нет же! Что я, родовитого от бесплеменного не отличу? — И привстал, обращаясь ко всем — к Фасольду, Архе, Инжуке, своим людям... — Ну вы взгляните, взгляните.

Насупившись, Хортим вытер губы рукавом.

— Не от Мстивога Войлича ли ты убежал на север? — предположил Чуеслав. — Говорят, было у него много братьев, да всех извёл и остался волынским князем. А, впрочем, похоже, я и вправду пьян... Не отвечай мне, Вигге, и прости меня.

Он опустил на место, а Вигге прикрыл бесцветные глаза и мягко улыбнулся:

— Прощаю. Пей, князь, и не будем об этом.

Только Хортиму больше пить не хотелось. Он задумчиво тёр обожжённые пальцы и чувствовал, как по позвоночнику стекал холод.

===== Хмелевый князь VIII =====

Прореха заполнялась рассветным сиянием — белое и нежно-розовое на тёмном полотне неба. Лесные травы под ногами пахли росой, ветер гулял в деревьях. Он был свеж, этот ветер, и нёс собой утреннюю прохладу: Рацлава, неловко переступая по хрустящим веточкам, куталась в шерстяной плащ Совьон. Воительница шла рядом, придерживая её за плечо. Кровь, наспех растёртая по щекам Рацлавы, засохла, и теперь её сумела бы смыть только вода; косы разлохматились, будто их трепало множество рук.

— Осторожнее, — гулко сказала Совьон: тропа перегибалась через тяжёлые узловатые корни, между которых вился ручей. И у истока — разбухшего от дождей озерца — возвышался Орчки Лис. Окровавленный, усталый, в неподпоясанной рубахе, он стоял по

щиколотку в прозрачной воде и локтем утирал пот с лица. Ветви нависали над ним, и на их острых пальцах млело рассветное марево.

— Совьон, — кивнул Оркки. В буреломе за его спиной зашевелились оставшиеся выжившие — мелькнула изжелто-русая голова Лутого. — Рад, что ты жива.

Но в его голосе не слышалось радости — лишь облегчение. Битва отделила их друг от друга: Оркки с Гъялом отправились возвращать приданое драконьей невесты. И им это удалось — в озере качался гружённый сундуками плот.

— Но Гуннар погиб.

— Знаю, — Оркки хрустнул шеей. Он видел, как пал последний из воинов Тойву — сражался неистово, несмотря на недавнюю рану, и умер достойно. — Что Шык-бет?

Совьон спускалась к ручью, осторожно проталкивая Рацлаву вперёд — кусочек тонкой нательной рубахи выглядывал из-под чёрного плаща.

— Мёртв.

— Ты убила его?

— Не я, — бросила коротко. — Драконья невеста.

Воительница не стала смотреть, как удивление затащило глаза Оркки; только, вдавив сапогами рыхлую землю, указала на плот.

— Это всё её приданое?

— Не всё, — почти живо отозвался Лутый, выбираясь из-за поваленных деревьев. Выглядел юноша отвратительно — опухший, мокрый, синюшный, с грубыми рубцами. — Там, — он кивнул за бурелом, — ещё свёртки с невестиными нарядами, тканями и соболиными шкурками. И её праздничный шатёр — походный разбойники сожгли. Как и наши палатки.

Совьон расправила плечи и медленно вдохнула:

— Стало быть, вернули.

— Стало быть, — криво улыбнулся Оркки, не сводя взгляда с драконьей невесты. — Что же ты сделала с ним, Рацлава Вельшевна? Как же ты убила Шык-бета? Подушкой задушила?

Рацлава не ответила, продолжая кутаться в чужой плащ. Но её пальцы сжали свирель под слоем чёрной шерсти.

— Оркки Лис, — Совьон укоризненно покачала головой, — я же сказала тебе, что Шык-бета зарежут. Удушение — не его смерть.

— А всё ли, что ты говоришь, сбывается?

Это был первый раз, когда Гъял обратился к Совьон — встопорщенный, точно воробей, сидящий на мшистом валуне у небольшого лесного озерца. Воительница и не знала о нём многого: лишь то, что мужчина был молод, кудряв и кроваво-рыж, что Лутый слыл его другом и что старый шрам тёк через его горло, заросшее медной щетиной.

— Помнится, ты говорила, что Скали умрёт от болезни, — Гъял прищурился. — Так нет — утоп в болоте.

Лутый потёр опухший, в брызгах веснушек нос и зарылся сапогом в траву.

— Пусть боги примут его мятежную душу, — ровно произнесла Совьон. — Но я сказала, что Скали не доживёт до зимы.

— Ты го...

— Он и не дожил.

— Но...

— Полно трепаться, Гъял, — Оркки махнул рукой, выходя из воды — раздался

мелодичный плеск. — Не заставляй сожалеть, что человек, оставивший тебе этот шрам, так и не вырвал связки из твоего горла.

Занимался рассвет — следовало торопиться. Может, в глубине леса ещё оставались ватажники, которых Шык-бет ранее послал на охоту или на разбой? Сейчас для отряда не было ничего страшнее таких встреч. Время утекало сквозь пальцы, будто песок: выжившие вернулись к месту гибели каравана. Утренняя дымка ползла над телами, клубилась над вывернутой землёй и лизала обугленные следы, оставшиеся после пожаров. Жадные вороны клевали добычу. С битвы прошло больше дня, а чей-то верный конь до сих пор бродил здесь, неприкаянный, и трогал бархатным носом ледяную руку хозяина.

Лутый и Гъял старались поставить на колёса самую целую из телег — для приданого. Оркки и Совьон складывали погребальный костёр. Полагалось почтить всех павших черногогородских воинов, но на это бы ушло непростительно много времени и сил. Из-за прошедших дождей ветки намокли, а земля разбухла. Пламя и вороны изуродовали многие лица: было решено разжечь всего один костёр, для предводителя.

Когда горизонт стал светел и туманно-сиз, Тойву перенесли на ложе из самого сухого хвороста, который только удалось найти. Лутый отыскал на месте побоища кресало, некогда принадлежавшее его друзьям, и поджёг кусок чужой рубахи, обернутый вокруг тяжёлого сука. Факел запылал, но под Тойву огонь расходился неохотно: пламя, едва расцветшее на влажных ветках, задувал ветер.

А потом повалил дым — рассеянный, стелющийся, горький. Он засочился сквозь ветви, будто кровь между пальцев, зажимающих смертельную рану. Воздух над Тойву задрожал от жара, и в хворосте заалели первые огненные языки.

Так лежал их предводитель на погребальном костре — статный, могучий, мёртвый. С рыжими волосами, почти нежно распутанными Совьон, и застывшими ладонями, которые Оркки скрестил ему на груди. Тойву сжимал топор, и в лезвии отражалось мерцание поднимающегося пламени. Ветер нёс дым в сторону леса — страшно слезились глаза. Рацлава, стоя у погребального костра вместе с остатками отряда, закрывала лицо плащом. Ей не хотелось плакать, но дым был таким горьким, вороны — такими шумными, и нагретый воздух лизал тонкую кожу... Предводитель каравана вёз её на погибель. Он приказал сломать её свирель — зачем Рацлаве скорбеть? Она куталась в шерсть и, покашливая от дыма, прижималась плечом к Совьон.

Хуже всего приходилось Оркки Лису. Он закусывал костяшку пальца, чтобы ни единый лишний звук не вырвался из его горла, и от напряжения на его шее выступали жилы. Осолопевшими глазами Оркки смотрел, как взметался костёр. Захватывал сапоги Тойву, облизывал бёдра, перебирался на волосы. Пламя затрещало сильнее, и тошнотворно запахло палёной плотью. Ветер подхватил тлеющие кусочки ткани и взбил хлопья золы.

Пусть спит его друг, и пусть спят его воины. Здесь, в дремучих лесах, на напоенной кровью поляне, где тянет болотом и югом. Пусть бури разметут то, что останется от Тойву, и пусть на следующую весну из него вырастет трава. Тойву теперь отомщён, Шык-бет и его разбойники убиты. Оркки лишь нужно закончить этот поход и рассказать вдове друга, как тот пал. И сыну — обязательно рассказать их сыну, каков был его отец.

Лутый стоял рядом с Оркки Лисом — расставив ноги, отведя руки за пояс. Опустив голову, но, казалось, помимо того, что скорбел, юноша ещё и пристально наблюдал за наставником. Вдруг он покачнётся и ему понадобится опора, но Оркки был крепок. Не падал, не кричал, не выл. Лишь царапал зубами кулак и влажно глядел то на погребальный

костёр, то на отряд вокруг. Что ему нахохлившийся Гъял, что Та Ёхо, опирающаяся на прочную палку — лицо Совьон, в растёкшейся боевой раскраске, в грязи и саже, будто вытесал камнерез. До того оно было застывшее и горестное. Расплетённые чёрные волосы стелились по ветру, словно траурное покрывало.

Что же ты не плачешь по нему, думал Оркки. Что же ты не льёшь слёз — Тойву бы огорчился, узнав об этом.

Огонь выел грудь предводителя, поглотил его руки; дым плескался в потоках воздуха, и над костром кружили чёрные птицы. Стоял страшный треск, и витал удушающий запах. Горы вдаль выглядели сизыми и стеклянными, солнце — матовым. Когда оно поднялось над горизонтом слишком высоко, а пламя прорвалось сквозь Тойву танцующим гребнем, Оркки сделал шаг назад и махнул рукой.

— Собирайтесь, — сказал он глухо. — Пора в дорогу.

И они продолжали свой путь. С одной повозкой и на тех конях, что не сбежали в леса. Поход завершился, и от этого у Лутого холодело в груди — они так долго ехали, так долго, а теперь на душе было тоскливо и пусто. В последнее время отряд почти не останавливался на привалы и почти не жёг огней. Воины спали на земле, завернувшись в плащи, и стреляли тёплую дичь, которую готовили на едином для всех костерке. Шли дни, и под копытами коней хрустели облетевшие листья цвета осеннего золота, смешанные с ещё зелёными. Ровное плато сменялось южным Змеиным взгорьем — царство Сармата-дракона. Леса становились реже и постепенно наливались мёдом и медью. Попадались обугленные вековые сосны и поляны, выжженные дотла; некоторые из них до сих пор были черны, а некоторые уже зарастали травой. Отряд, следуя указаниям черногогородского князя, осторожно объезжал встречные деревушки — маленькие, уютные, с узорчатыми ставнями и деревянными крылатыми змеями, вырезанными на крышах. Лутый разглядел это, однажды отправившись на разведку — похоже, так жители старались сыскать снисхождение Сармата.

Над головой чирикали птицы, а в кустах возилось мелкое юркое зверьё. Лутый поскрёб щёку, скрытую новой грубой повязкой, которая мало чем отличалась от прежней. Он прямо сидел в седле — телесные раны заживали, а о других думать не хотелось. Затягивались глубокие порезы и рывины, исчезали ожоги, и боль вытекала из костей и мышц. Даже Та Ёхо, не слезавшая со спины своей верной мохнатой лошадки, почти наступала на покалеченную ногу; нос Оркки Лиса перестал кровить, даром что навечно остался искривлённым.

Тяжеловато приходилось лишь драконьей невесте — теперь повозкой управлял Гъял, и в ней везли приданое. Совьон взяла Рацлаву к себе в седло, но та, похоже, совсем не привыкла ездить верхом и оттого была усталой и серой. Сейчас она носила свои самые простые дорожные платья с полосами вышивки на груди и животе. Заплетала две самые простые косицы, которые быстро лохматились на тёплом ветру. Какую же невесту мы отдадим Сармату, размышлял Лутый, пожёвывая во рту былинку. Измученную, с бёдрами, стёртыми до крови — хорош подарок.

Лутый ударил пятками в лошадиные бока. Конь, фыркая, погарцевал на хрустящей листве.

— Батенька! Вели посмотреть дорогу. — Впереди выросла неожиданно густой сосняк. Следовало проверить, пройдёт ли там повозка.

— Ну, — отозвался Оркки Лис, натягивая поводья, — ступай. — И Лутый метнулся в

деревья.

Здесь так чудесно пахло смолой и свежестью, мягкой травой и сладкими ягодами. Иголки путались в изжелто-русых волосах, но не кололи. Высились сосны — красивые, стройные, исполинские, будто из детских сказок. Лутый ехал меж ними, выискивая дорогу пошире. И вскоре он почувствовал, что та начала меняться. Одна тропа убегала вправо и, перетекая через медовые кусты, плавно клонилась вниз. Вторая вела к обрыву — здесь над далёкой низиной нависал огромный пласт земли и камня. Лутый осторожно поехал прямо и затаил дыхание у самой пропасти.

Вид очаровывал. Внизу — зелёная долина и гребни вихрастых деревьев. Широкие реки, голубые-голубые и ветвистые, будто жилы. Они текли к горам, огибавшим долину с противоположного края, и солнце бросало на всё жёлтые и красные блики, слепя Лутому глаз. У хребта одна из гор держалась обособленно — у её подножия реки сливались в единый исполинский поток. Свет окрашивал её вершину в осеннее золото, а вокруг порхали крохотные точки — птицы, собиравшиеся в неуёмные стаи.

Мать-гора.

Лутый задохнулся и обхватил пальцами горло, будто желал сорвать невидимые путы.

...Им понадобилось ещё несколько дней, чтобы спуститься на равнину и приблизиться к рекам подле Мать-горы. Здесь отряд остановился на последний в этом походе ночлег. Воины наконец-то разложили невестин шатёр из малахитового шёлка и развели жаркий оранжевый костёр — у логова Сармата-змея не нужно было бояться ни воров, ни разбойников. Только самого дракона. Весь отряд долго сидел у огня — дольше, чем обычно, и ночь успела разойтись. Ах, ну что это была за ночь — вроде та же густота чернильного неба и то же пение цикад, те же запахи дымка, отцветающих трав и жареного мяса, но ощущалось иначе.

Рацлава сидела рядом с воинами и играла на свирели. До смешного незатейливо, но её музыка отзывалась где-то под кожей. Она напоминала им о доме, о деревенских песнях и плясках у костра, о пшенице и яблоках, о матушкиных колыбельных и поцелуях в волосы, пахнувших ушедшим летом. «Зачем ты делаешь это, — думал Лутый, запрокинув голову — ему страшно хотелось запомнить и это небо, и эти звёзды, и эти отблески лагерного пламени. — Я-то пойду с тобой в недра Мать-горы, а этим людям нужно суметь жить дальше. Зачем ты рвёшь им сердца своей простой мелодией так, как не смогла бы измучить самой искусной трелью? Ах, Сарматова невеста, перестань — даже Совьон, спокойная, каменная Совьон, не уронившая ни слезы, когда хоронили Тойву, плачет, слушая тебя».

По щекам воительницы текла вода, которую она небрежно смахивала ладонью, но лицо оставалось по-прежнему невозмутимым. Та Ёхо рядом с ней покачивалась и будто бы норовила заскулить от боли, хотя едва ли её беспокоила нога. Орkki Лис бросал в костёр пожелтевшие травинки и, не мигая, смотрел, как они съеживались в огне. В подрагивающем воздухе летала мошкара.

— Сыграй своему жениху так же, — хриловато сказал он и кивнул куда-то в сторону, за потерянного Гъяла, не отводя взгляда от пламени, — и, может быть, он тебя отпустит.

— Не отпустит, — ответила Рацлава, отняв губы от свирели. Неспешно поправила расшитую по подолу юбку, подоткнутую под колени — завтра у неё будет другое платье, самое дорогое, самое нежное.

Стоило её песне развеяться, как Орkki поднялся на ноги и, отряхнув ладони от травы, похлопал Лутого по плечу.

— Пойдём-ка поговорим.

Они говорили вдаль от всех — костёр рассеянно дымил в ночи. Лутый сидел на сухом пне, постукивая носком сапога по шляпкам грибов, рассыпанных по земле. Орkki ходил перед ним — взад-вперёд, будто рыскающий зверь.

— Отдадим девушку, — голос его звучал сипло и непривычно тревожно, — направимся в Бычью падь. К Малгожате Марильевне, сестре нашего князя, хотя какая она нынче Марильевна, когда замужем за хозяином Бычьей пади... Говорят, муж у неё по струнке ходит... Князь сказал, Малгожата даст нам приют и пищу на обратный путь. Сейчас, думаю, даже охрану — нас ведь так мало...

— Знаю, батенька, — сонно сказал Лутый, вновь смотря на крошки звёзд. Какие же они были сегодня яркие и красивые.

— Из её владений я напишу в Черногород письмо, — Орkki резко остановился и заговорил серьёзнее прежнего. — Обо всём, что случилось.

— Пиши, батенька, — мягко согласился Лутый, слушая в пол-уха. Всё равно он тогда уже будет очередной вещью, отданной дракону — ходили сплетни, что Сармат не слишком нуждался в присланных слугах. Похоже, у него было довольно своих, и все рабы, отправленные ему вместе с невестами, являлись лишь символами трепета и глубокого уважения. А ещё это считалось одной из самых страшных казней, какую только придумали в Княжьих горах — Лутый так и скажет Сармату. Мол, черногородцы осудили его и обрекли на заточение в Матерь-горе. Если, конечно, Сармат действительно бывает человеком и Лутый увидит его за остаток этого года: коли рабы не слишком нужны дракону, зачем ему вообще встречаться с ними?

— Послушай, — Орkki опустил на корточки перед Лутым и несильно, с отеческой любовью потрепал его за ухо. — Я могу написать, что ты погиб или потерялся в битве. Тебе необязательно отправляться к Сармату. Уедешь, куда душа пожелает. Ты найдёшь себе другого князя или господина. И ты найдёшь себе невесту и новых лихих друзей. Если захочешь, вернёшься в Черногород спустя время — никто не обвинит, если скажешь, что разбойники сильно ранили тебя, а мы решили, что ты мёртв, и оставили твоё тело в лесу.

Лутый смотрел в напряжённое, почти умоляющее лицо Орkki Лиса. До чего ему, наверное, было тяжело — его друг пал, и его люди пали, а успех всего похода оказался под угрозой. Но Лутый ли не знал, что Орkki относился к нему, как к сыну, и его смерть пережил бы ещё тяжелее, чем гибель Тойву? До чего же было непривычно видеть его таким: Орkki Лис, хитрый и сдержанный, сидел перед ним, и глаза его светились лихорадочной надеждой, а рука цеплялась за его руку.

Как же было бы славно уехать. И жить-жить-жить — юлить и восхищать, разгадывать тайны мира и встречать удивительных людей. Видеть великие города и крохотные сёла, переплывать моря и переходить степи, спать в горах и на скамьях дружинных домов. Сделать так, чтобы рабский ошейник, сейчас завернутый в одно из расшитых полотен в повозке с приданым, никогда не стиснул его шею. Но Лутый ли не ловок, Лутый ли не находчив... Он будет плясать перед княжнами и любить жизнь до седых волос — и что потом? Кто, если не он, расскажет людям о драконе?

Долго ли ещё Сармату-змею сидеть в своей горе?

— Батенька, — Лутый подался вперёд и грустно улыбнулся. — Батенька, неси-ка ты мне тот латунный ошейник, что лежит в нашей повозке. И помоги мне его застегнуть — да так, чтобы его смог снять лишь умелый кузнец. А ключ выброси в реку.

Орки Лис отшатнулся, будто его ударили. Несколько мгновений пусто и испуганно смотрел, будто не верил, а потом лицо его исказилось.

— Сосунок, — шикнул он. — Дурья твоя голова, что же ты делаешь? Зачем себя хоронишь?

— Батенька, — миролюбиво, но вместе с этим и строго сказал Лутый. — Не нужно.

— Не нужно? — Орки взвился на ноги. — Чего тебе, дурню, не нужно? Жизни? Свободы?

От отчаяния и закипевшего в груди гнева он сплюнул и, ударив ногой оземь, взбил комочки почвы. Стиснул руки в кулаках так, что на коже остались следы от ногтей.

— Думаешь, что лучше других? Умнее, изворотливее? Не поможет тебе ничего, мальчишка, ничто тебя не спасёт. Дракон зазря пожжёт тебя, как и сотни людей до.

— Пожжёт, значит, так мне на роду написано, — пожал плечами Лутый, не вставая с пня. — Второй раз умирать не придётся.

Орки Лис посмотрел на него диким взглядом.

— Недоумок ты, — рыкнул он. — Ещё молоко на губах не обсохло, а всё туда же.

Лутый чувствовал, что Орки, даром что смолчал при черногородском князе, с трудом отпустит его в Матерь-гору. Это ведь он когда-то нашёл его, сироту с выхлестанным глазом, который только и умел, что воровать, обманывать и бродить по горным деревням. Но да что о прошлом...

— Батенька, — тихо протянул Лутый. — Не сердись на меня. Пусть отсохнет мой язык, если солгу сейчас, но я люблю тебя, и я благодарен тебе за всё, что ты сделал.

Орки по-пёсьи затряс головой.

— Никому ты не благодарен, — он сглотнул ком в горле и выпустил воздух через ноздри, — и ничего ты не понимаешь, мальчик, ничего.

Лутый наконец поднялся с места и, не слушая больше никаких слов, обхватил Орки жилистыми руками. А потом захлопал ладонью по его подрагивающей от рыданий спине.

Пальцы Совьон расплетали её негустые волосы. Ветер лизал стены шёлкового шатра — говорили, будто бы он был ма-ла-хи-то-вым, в цвет минерала, которого много в чертогах её жениха.

— Я была бы рада помочь тебе бежать, певунья камня, — сухо произнесла Совьон, вынимая из её кос узкие ленты, — но не могу.

Рацлава, сидевшая на маленьком сундучке, даже не вздохнула.

— Я знаю. — Куда ей бежать, одинокой и слепой? — И поэтому завтра меня отдадут Сармату.

— Отдадут. — В её волосах шелестел резной гребень, пахнущий черногородским лесом. Ой, Черногород, северные фьорды и студёная вода, старая мельница, на которую её привозил Ингар, и отары тонкорунных овец...

Совьон неспешно перебирала пряди Рацлавы, будто струны на домре. Снаружи текла ночь и шёлково шептали травы. С тех пор, как убили Хавтору, некому стало помогать драконьей невесте с одеждой — Рацлава, расправляя лоскутки на ладонях, спросила:

— Ты соберёшь меня утром?

— Соберу, — коротко отозвалась Совьон, не выпуская её волос. И хотя воительница ничем не выдавала себя, Рацлава понимала, что её грызла тоска.

— Зря ты привязалась ко мне.

Совьон выдохнула, отнимая пальцы от её головы. Затем растянула свой пояс и села рядом с сундучком, скрестив разутые ноги. Взглянула на драконью невесту: до чего же та была белая, податливая и спокойная, будто ничто её не трогало. Рацлава боялась, но этот страх затаился где-то в её мягком теле, свернулся за молочными глазами — лучше бы ты пыталась бежать, лучше бы дерзила, рыдала и царапалась.

— Зря, — согласилась Совьон. — Странно защищать тебя, а потом отдавать дракону.

Рацлава тихонечко закачалась на сундуке — вправо-влево, влево-вправо, будто связка бус. Она словно впадала в дурманный сон.

— В Матерь-горе нет ни гроз, ни запахов земли и ягод. Мне будет не из чего ткать. Пожалуйста, расскажи мне что-нибудь, и я спряду песню хотя бы из воспоминаний.

Совьон откинулась назад и оперлась о локти, принявшись рассматривать узоры на ткани шатра.

— И о чём ты хочешь услышать?

— О тебе, — отозвалась Рацлава, прикрыв глаза. — О том, кто ты и откуда — прошу, Совьон, завтра не станет никого, перед кем я бы смогла развенчать твои тайны.

Совьон, тряхнув головой, задумчиво обвела пальцами контур рта — тот был разбит и зажил лишь недавно. Ну что же, спрашивай, драконья невеста.

— Сколько тебе лет?

Воительница ответила, что тридцать четыре, и Рацлава, перестав раскачиваться, пусто глянула в её сторону.

— Это немного, — заметила она. — И мне говорили, что ты красива, хотя и чересчур крепка. Почему ты не выйдешь замуж? Неужели не нашлось человека, который бы любил тебя настолько, что разрешил бы носить боевой щит?

Та хмыкнула и невесело улыбнулась, сев прямо — Рацлава почувствовала усмешку в её грудном голосе.

— Может, и нашлось бы. Раз ты хочешь историю, так слушай, драконья невеста: жила на севере вёльха, и звали её Кейриик Хайре. Она была старшей из двенадцати ведьм одного древнего клана — Княжьи горы не знали никого сильнее неё. Наша судьба не хуже дорог — когда-то ты стоишь на перепутье, но, выбрав тропу, должен пройти её до конца. Кейриик Хайре предсказала мне, что если я выйду замуж, то не пройдёт и года, как стану вдовой. И что родится у меня сын, и будет он чёрен, будто ворон, и тонок, словно хлыст. Он станет великим чародеем — самым могущественным из всех, и ему не исполнится и двадцати, когда он превзойдёт Кейриик Хайре. Он принесёт миру столько горя, сколько не сумел принести Сармат-дракон и его каменный брат. Матери выплечут глаза по своим детям, погибшим в бесчисленных битвах, а крепости лопнут и зарастут мхом. Зимы в Княжьих горах станут долгими и лютыми, и в наши деревни придут опустошение и голод.

Совьон поднялась на ноги с различным шорохом, и её распущенные волосы мазнули Рацлаву по коленям. Зябко пошевелив босыми пальцами, она подошла к выходу из шатра — отёрнула полог и глотнула тёплый ночной воздух. Рацлава перебросила через плечо часть волос и начала рассеянно плести косу.

— А та ведьма хотела, чтобы ты вышла замуж?

— Нет, — просто сказала Совьон и обернулась. — Она хотела, чтобы я осталась с ней.

— Тогда она могла солгать.

— Могла, — воительница равнодушно качнула плечом, словно думала об этом уже много лет. — Но с судьбой не стоит играть, драконья невеста. Особенно если замешано так

много чужих жизней.

Рацлаве показалось, что под ступнями Совьон, возвращающейся к её сундучку, хрустели мёрзлые травы; что в шатре пахло колдовскими снадобьями, металлом и горячей степью. Совьон вновь села рядом и продолжила рассказ.

Она говорила и говорила — о девушке, выросшей из младенца, которого вѣльха нашла в заснеженном лесу, о северных скалах и чащах. Говорила об оберегах и заклётой крови, о русалках и оборотнях. И о том, как та девушка, длинноволосая, с широкими плечами, ушла из родной хижины, чтобы взять в руки меч и щит, и больше не вернулась. Голос ранил и убаюкивал — Рацлава сползла с сундучка, едва не зацепившись за него тонким ночным платьем, и спустя время беспокойно заснула на плече Совьон. Воительница долго смотрела на неё, белую и полную, совершенно беззащитную во сне; глядела, как лежала костяная свирель на её мерно вздымающейся груди — ты ведь тоже когда-то предала того, кто учил тебя, самозванная певунья камня?..

Совьон долго сидела так — почти не двигаясь, чтобы не потревожить заснувшую драконью невесту. Тело затекло, но воительница не обратила на него внимания. Она сидела и сидела, вслушиваясь в стрёкот цикад, шелест трав и посапывание Рацлавы, и не засыпала до самого турмалиново-розового рассвета.

===== Песня перевала XI =====

Недалеко от лазоревых, собирающихся под Матерь-горой рек стояла крохотная деревушка — там Орkki Лис купил две лодки. Остроносые, в подтёках малахитовой и сапфировой глазури, выменянные за горсть Сарматовых монет. Жители деревни довольно повидали тех, кто привозил дань дракону, и все как один подтвердили, что откуп следует оставлять здесь — у самой горы, в бездонном широком озере, которое поили сливающиеся реки. Гъял и Совьон помогли спустить лодки на воду, привязали их и принялись нагружать черногородскими сокровищами. Вместе с Орkki перенесли окованные сундуки, полные украшений и драгоценных камней; положили на дно шёлковый шатёр — его свернули, как только нарядили драконью невесту.

Рацлава сидела на валуне у кромки озера. Вода лизала мелкие прибрежные камни, но не доставала до её ступней в сафьяновых башмачках. На плечах гор лежал рассвет — бледно-золотой, растянувшийся от самого горизонта; между полосами света лежали холодные небеса. Вились кудри облаков, белые-белые, будто пена. До чего сейчас была хороша полная, бледная драконья невеста: платье её отливало молочно-голубым, от груди до подола шёл ряд пуговиц — между дорожками искусного витиеватого шитья. Стелились её рукава, мягкие и невесомые, словно крылья; и такие длинные, что касались земли тончайшим кружевом. Её волосы Совьон собрала, а голову обернула шёлковым платком, который завязала за шей. Лоб перехватила обручем из мелких северных самоцветов и под него поддела марево кипенной, закрывшей лицо фаты. Если Рацлава поворачивалась, то постукивали гроздьё её височных украшений. И на пальцах мерцало серебро, свернутое кольцами вокруг аметистов и лунных камней. У живота заканчивались бусы, все сплошь голубые, и лиловые, и молочно-белые — в них терялась свирель.

Рацлава была равнодушна к свадебному наряду. И сидела она у озера — потерянная, но вместе с тем мертвенно-спокойная, будто большая рыба, отдавшаяся течению. Её тёмно-русые брови едва хмурились за пеленой фаты. Лутый видел её, когда, взлохмаченный и усталый, выходил к соратникам — этой ночью он спал отдельно от отряда. Чтобы никто не задавал лишних вопросов. Не любопытствовал раньше времени, отчего же его горло пережал

рабский ошейник.

Первой его заметила Совьон. Поставив сундук в лодку, разогнулась над дымчатой водой, в которой стояла по середине икр. Оглядела Лутого с головы до пят — как он шёл к озеру, потирая нос, как зевал, как пытался почесать зудящую кожу под ошейником. С непривычки ему было страшно неудобно.

— Я могла бы догадаться, — медленно произнесла Совьон и больше не сказала ни слова, принявшись переносить свертки с тканью. Орkki Лис стоял к Лутому спиной и не повернулся. Лишь стиснул лодочный борт так, что дерево затрещало.

— Лутый! — Гъял утирал рукавом взмокший лоб. Распрямялся, потирая поясницу. — Как это понимать?

— А как хочешь, так и понимай, — он оказался на берегу в один упругий прыжок. — Помочь, батенька?

Орkki Лис зло пихнул ближайшую к нему лодку — та тяжело закачалась на воде.

— Не нужно.

— Лутый, какая муха тебя укусила? — Гъял нахмурил кроваво-рыжие брови. — Орkki Лис, что он творит? Зачем он...

— Рабом сделался, — огрызнулся Орkki. — Не видишь разве?

Тут же встревожилась Та Ёхо: она с трудом ковыляла на обеих ногах и занималась тем, что выживала сокровища из повозки.

— Хийо! — толстый сук, найденный для неё, с шорохом переваливался по траве и камешкам. — Ты зачем ошейник надеть? Куда собираться?

Лутый отбросил прядь с веснушчатого лба.

— К Молунцзе твоему пойду, — сказал залихватски и неестественно громко, глядя в сторону. — Хоть узнаю, как он своих слуг чествует. И прослежу, чтобы невесту свою не обижал — зря, что ли, везли её из самого Черногорода?

Совьон глядела на него, когда наклонялась, чтобы взять очередной ларчик, а Орkki по-прежнему не смотрел, разве только украдкой — ему было больно.

— Хийо, — голос Та Ёхо треснул. — Ты есть дурак. Ты зачем добровольно лезть в логово к Молунцзе? Хийо!

— То дело решённое, — отмахнулся Лутый, пиная озёрный камешек. — Эй, Рацлава Вельшевна! Не против, что провожу тебя?

Драконья невеста наполовину сползла с валуна — длинные рукава лежали на нём, как крылья у обездвиженной птицы.

— Провожай, раз тебе свет не мил, — ответила хрипло. — Немногого стоит твоя жизнь, если ты так легко от неё отказываешься.

Лутый вскинул голову — над ним плыли облака, лёгкие и могучие, будто боевые корабли; солнце разбухало над Матерь-горой, словно наливающийся соком плод.

— Может, и так, — согласился он, — да только юркость моя не дешевле твоего приданого.

Жители соседней деревушки объяснили, где следует оставить откуп, но никто не рассказал, что произойдёт потом. Прилетит ли сам Сармат-змея? Выступят ли из-под воды воины его брата? Когда перенесли все сокровища, то связали лодки между собой. Лутый легко впрыгнул в ту, что была не украшена, и перехватил вёсла. Орkki Лис подошёл к нему, находясь по бёдра в дымчатой воде, и запустил пальцы в вихры волос. Натянул, потрепал — не то сердито, не то ласково, а потом поцеловал в макушку. Спрятал лицо в сгибе локтя и

отошёл и не подходил даже тогда, когда прощались остальные и когда Совьон вела драконью невесту. Рацлаву она, стараясь не замочить платья, посадила в другую лодку, затянутую поперх сундуков и ларчиков лиловым и сизым шёлком, с рассыпанными по дну жемчужинами.

— Видать, это всё, — бесцветно заметила Рацлава, качнув головой. Тонко зазвенели височные украшения.

— Видать, — Совьон похлопала ладонью по вырезанному изваянию: скалящемуся крылатому змею, обвиншему лодочный нос. Воительница, также стоя в воде, опиралась на него выпрямленной рукой.

Прежде чем упасть на скамеечку, Рацлава потянулась и неуклюже обняла Совьон. Уткнулась в её плечо закрытым фатой лицом. Вдохнула запах её волос и кожи: полынь, дым и сталь. Звякнули браслеты, застучали бусы — ничего не оставалось, кроме как обнять её в ответ. Из-под качающейся лодки бежала рябь, слабый ветерок скользил над гладью, и в его потоках, распластав крылья, летел ворон... Матьер-гора восставала на той стороне озера, прямо напротив. Исполинская, великая — на неё старались не смотреть.

— Ну полно, — Совьон мягко, но твёрдо отодвинула от себя Рацлаву. — Чем дальше прощаешься, тем горше становятся слёзы, драконья невеста. Садись. — Ладонь Совьон безвольно сползла по её спине, по ткани платья и кружеву рукавов.

Та Ёхо не рисковала заходить в воду так же глубоко, как и остальные, поэтому стояла недалеко от берега, тяжело опираясь о сук.

— Раслейв, — она даже не успела утереть слёзы, пролитые по Лутому, как глаза снова заблестели в щелочках век. — Раслейв, пожалуйста, играть своему мужу так, как никогда раньше. Чтобы эта гора лопнуть от песен и чтобы Молунцзе снова заснуть на тысячу лет.

Лутого она просила быть хитрее всех лис на свете — и Рацлава, печально улыбнувшись сквозь фату, ответила так же, как он.

— Я постараюсь.

А потом воины отряда обрубили верёвки, связывающие лодки с берегом, и подтолкнули их к середине озера. Рябь заструилась яростнее — она перечертила солнце, отражавшееся в матовой глади. Лутый опустил вёсла — Рацлава не умела грести, и между двумя лодками натянулась толстая бечева. Первая медленно увлекла за собой вторую: жители из соседней деревушки рассказывали, что, благо, на водах подле Матьер-горы никогда не поднималось даже мало-мальски сильных волн.

Совьон, сидя на берегу, хмуро надевала сапоги.

— Тяжело, воронья госпожа? — тихо спросил Оркки Лис, расправляя штанину.

— Тяжело, — согласилась Совьон и поднялась.

Лодки неспешно достигли середины озера и застыли. Совьон смотрела, как легко качались змеиные головы над водой; как Лутый неуверенно приподнял вёсла, а Рацлава, сидевшая на застланной шёлком скамеечке, теребила вплетённую в бусы свирель — из-за расстояния Совьон скорее догадалась об этом, чем увидела своими глазами.

— Что теперь? — спросил Гъял, пощипывая щетину на горле.

— Ждать, — обронил Оркки Лис. Он не сводил с лодок настороженного взгляда и всё ходил вдоль берега. Долго ходил — солнце успело разгореться. И, видимо, от горя и напряжения Оркки забыл об осторожности.

За их спинами остался редковатый лес — с соснами, местами обугленными дочерна, и подпаленными липами. Когда Оркки закричал, птицы испуганно взмыли с деревьев и

поднялись над лесом шумным облаком.

— Эй, Сармат! — он раскинул руки. — Где же ты? Отчего же ты не летишь? — Голос ухал набатом. — Где же ты?!

Но ответом ему были лишь птичий гай и лёгкое волнение на озере. Да Лутый приподнялся на лодке — наверное, пытался различить слова, и Рацлава запрокинула голову.

— Не трать зря крик, — посоветовала Та Ёхо, устроившись в ногах Совьон. Её слёзы высохли, отдав место зеркальному блеску звериных глаз. Раскрасневшееся лицо снова стало лицом не печальной женщины, но воина и охотника. — Неужели ты думать, что тебя услышат Молунце?

— Может, не он, — задумчиво протянул Гъял, — так хоть его мамка.

Орки зарылся носом сапога в тонкую траву и мелкие камешки. В горле саднило.

Из воинов на берегу Совьон первая распознала неладное: она пристально наблюдала за Рацлавой. И драконья невеста, мгновение назад сидевшая спокойно, почувствовала то, что заставило её развести руки и испуганно сжать лодочные борта — словно в попытке удержаться.

— Течение.

— Что — течение? — не понял Гъял, оборачиваясь. — Нет здесь его.

— Появилось, — уточнила Совьон, стискивая кулаки. — Вода движется.

Орки откашлялся, а Та Ёхо приподнялась на здоровой ноге. За множество локтей от них Лутый бросил вёсла под скамью — змей на носу его лодки вздыбился над гладью. Прикрыв глаза, Совьон могла представить, что находится рядом с Рацлавой, слышит, как стучат её бусы и браслеты, как катается жемчуг по шёлку; ощущает, как пузырится озеро вокруг.

Лодки сдвинулись с места, подгоняемые течением, возникшим из ниоткуда — ветер не стал сильнее. Казалось, что это Матерь-гора, стоявшая на самой кромке, затягивала в себя воду с плескавшимися в ней богатствами.

— Как бы не перевернулись, — вырвалось у Совьон.

Лодки скользили к Матерь-горе. То отдалялись друг от друга так, что упруго дрожала верёвка между ними, то опасно приближались, грозя зацепиться бортами. С такими потоками было бесполезно соперничать, и оттого Лутый не прикасался к вёслам. Первой сейчас шла лодка Рацлавы, увлекая Лутого за собой — драконья невеста сидела в ней ни жива ни мертва. Она острее прочих чувствовала, как вода под ней толкалась и струилась, набирая скорость.

Орки Лис приподнялся на цыпочках. Судорожно выдохнув, перекатился на пятки.

— А в Матерь-горе — ворота?

...Ворота, но с берега их никак не удавалось разглядеть. Их увидел Лутый, когда достаточно приблизился к подножию горы — с неба нависала чудовищная громада камня. Озеро лакало огромную, вытесанную из породы дверь: исполинская драконья голова с разинутым ртом. Внутри — извивающийся раздвоенный язык. Из ноздрей змея текла вода, тут же обрабатываясь в пар.

— Что за шипение? — Рацлава обернулась, сиюсь перекричать шум озера. Ответа Лутого она не разобрала.

Раздался грохот — с таким звуком разошлась драконья голова, образуя проход. Лутый в последний раз взглянул на солнце, а затем их лодки увлекло вглубь. Ворота захлопнулись за ними, и с потолка и стен поднялись клубы каменной крошки.

Сначала были лишь темнота и журчание внезапно успокоившейся воды. Лодки вело и вело вперёд, втягивало в плавные повороты — скорость стихала. Затем глаз Лутого привык к полумраку и различил самоцветное свечение — голубое и дымчато-зелёное; после выступили очертания стен.

— Где мы? — изо рта Рацлавы выпорхнуло облачко пара. Голос стал непривычно громким и гулким. — Ты видишь берег?

Лутый несколько раз моргнул:

— Я вижу лабиринт.

Вместо пола у лабиринта — вода, по которой, по повелению Матьер-горы, скользили лодки. Верёвка между ними обвисла. На вытесанных из породы стенах — россыпи самоцветов и увековеченные в камне истории. Их Лутый сумел разобрать позже: неведомый мастер изобразил моря и горы, леса и горящие пашни. Сталкивающиеся армии, крылатых змеев и девушек, привязанных к столбам. Картин было много, их вязь текла по бесконечным стенам лабиринта — поворот, дорога прямо, следующий поворот, петля, полукруг... Вода тихо журчала под лодками — Лутый заметил, что она светилась. Будто кто-то собрал в пригоршни не то звёзды, не то самые яркие белые самоцветы и рассыпал их по дну.

Даже Лутый, как он ни старался, не сумел бы запомнить дорогу назад: слишком длинен был лабиринт, чересчур загадочен и запутан... Да и открылись бы перед беглецами тяжёлые ворота? Наступило время, когда глаз Лутого настолько привык к темноте, что с лёгкостью мог рассмотреть все картины, вырезанные на стенах: вот вельха, ткущая судьбу. Вот грозный дракон, спящий в недрах своей тюрьмы — его опутали бесконечные цепи. Вот воин, которого не смогли одолеть мужи нескольких стольных городов. Вот красавица княгиня, вся в шелках и самоцветных подвесках, медленно обрастающая горной породой...

Рацлава зачесала кожу под лоскутками — от холода её руки снова начали зудеть и наливаться краснотой. Лутый, рассматривая стены лабиринта, незаметно для себя оттягивал ошейник большим пальцем — чтобы жал меньше. Лодки плыли и плыли, вода текла и текла, одни истории на стенах сменялись другими. Рацлава откинула фату с лица, и пар из её рта засочился яростнее, толчками.

— Ни конца ни края?

— Да, — ответил Лутый, выдыхая. Он сполз со скамеечки, устроившись между сундуков, и сложил ладони на груди. — Славно нас путают, Рацлава Вельшевна. Чтобы не нашли дороги.

Они прошли ещё несколько поворотов, когда Лутый заметил, что воздух вокруг загустел; верёвка, которая связывала его лодку с шедшей впереди лодкой Рацлавы, задрожала.

— Эй, драконья невеста, — он резко сел прямо. — Ты не бойся.

Подул ветерок — словно чья-то бесплотная, невидимая рука появилась в воздухе. И принялась медленно развязывать узлы.

— Что это? — Рацлава встрепенулась. В бельмах её глаз отражалось мерцание самоцветов, рассыпанных по исполинским стенам. — Что происходит?

— Разделяют нас, — Лутый скрестил ноги и взмахнул пальцами. — Негоже рабу сидеть рядом с будущей Сарматовой женой.

Верёвка ослабла и змеёю нырнула в воду. С негромким плеском медленно пошла на дно.

— Лутый!

До чего же страшно было бы остаться здесь одной — так, как сначала задумывалось.

Рацлава не ощущала ничего, кроме холода. Не слышала ничего, кроме журчания воды и поскрипывания лодочных досок. Коченеющими пальцами она стиснула борта. И вновь звякнули браслеты, беспокойно зашевелились серебряные височные украшения, сейчас ставшие не теплее воздуха.

— Может, ещё встретимся, — предположил Лутый, всплескивая ладонями. — Гора-то у нас с тобой одна, Рацлава Вельшевна. Передавай жениху мой поклон.

— Лутый!

Рацлава извернулась всем телом, будто пыталась разглядеть его напоследок. А на следующем повороте лодку Лутого осторожно увело в сторону — Рацлаву же подтолкнуло прямо.

Драконья невеста не видела самоцветов, не видела историй на камне и донного свечения — до чего была хороша бегущая по нему рябь! Когда ей показалось, что она провела в подгорном лабиринте не меньше часа, Рацлава, немного раздвинув сундуки и ларчики, попыталась лечь. Она принялась перебирать бусы замёрзшими руками. И свирель — она нежно поглаживала свирель, будто любимого зверька, свернувшегося на груди.

Долго ли сказочке не сказываться, да закончится. Долго ли страннице не хаживать, да остановится. Долго ли птичке не летать по краю, да поймают.

Наконец лодка Рацлавы пристала к берегу. Вода выплюнула её глубоко на сушу: волны покачивались лишь под самой кормой. С невероятной осторожностью, стараясь разбудить затёкшее тело, Рацлава поднялась. Медленно, сминая шелка, переступая через ларцы, свёртки и рассыпанные жемчужины, добралась до борта. Подняла юбки, оперлась, чтобы спуститься наземь, — её нога наступила на удивительные камешки. Позвякивающие, круглые, металлически холодные. Рацлава раскинула руки, чтобы удержать равновесие, но через шаг споткнулась о что-то большое и звенящее: оно покатило дальше, издавая эхо. Кубок? Чаша? Рацлава наклонилась и запустила искалеченные пальцы в то, что лежало под её башмачками, — монеты. Нити цепочек. Колечки.

Драконья невеста выпрямилась и отряхнула руку. Она неустойчиво стояла на несметных змеиных сокровищах — они устлали берег, к которому пристала лодка, и даже уходили под воду. Рацлава выдохнула и неспешно покружилась на месте, надеясь нащупать хоть какую-то опору — тщетно. Студёная вода лизала корму её лодки и богатства на берегу. С оставшихся трёх сторон восставали стены уже не лабиринта, а чертога Матерь-горы — шершавые, сложенные из разных пород. Они были глубинно-зелёные и дымчато-синие, тёмные и грубо обтёсанные, ровно такие же, как и потолок, но откуда Рацлава могла знать об этом?

Опустив фату, девушка сделала шаг, и монеты гулко и весело покатались под её ногами.

Отряд довёз дань Сармату и теперь мог не бояться ни воровства, ни косых взглядов. На ночь воины остановились в той самой соседней деревушке — в небольшой уютной корчме, заменявшей странникам постоялый двор. Здесь было тепло, сухо и пусто, а кормили сытно и дешево — Оркки Лис оставил не так много сбережений, чтобы добраться до Бычьей пади. Большого отряда не требовалось, да и какой из них отряд — всего четыре человека, один из которых собирался уезжать.

— Сов Ён, — цепкая смуглая рука Та Ёхо ухватила её за запястье. — Сов Ён, взять меня с собой. Пожалуйста.

Женщины находились в маленькой комнате, снятой на втором этаже: здесь пахло сеном, похлёбкой и какими-то резкими травами. Та Ёхо, поджав кривоватую раненую ногу,

сидела на коечке, застеленной грубым стёганым покрывалом, но и это — невероятная удача: наконец удавалось поспать не на земле. Хотя Та Ёхо, выросшая в высокогорном племени, была неприхотлива в быту даже больше, чем Совьон, сейчас мерившая шагами пыльный дощатый пол.

— Ну куда я тебя возьму, — ответила она миролюбиво, но строго, ловко высвобождая руку из захвата. — И дело не только в ране: не нужно тебе со мной.

— Почему?

— Просто не нужно, — голос стал усталым. — Что за радость тебе быть подле меня, Та Ёхо? Сплошные дороги и преследующая меня ворожба — может, я пытаюсь сбежать, да только она всегда настигает.

— С тобой — хоть куда. — Айха вскинула лицо, некрасивое по здешним меркам, но такое яркое: тонкогубый рот, неровные мелкие зубы, часто мелькающие в улыбке, жидковатые волосы темнее самой чёрной ночи. И ноги у неё были плотные и короткие, но попробуй не любоваться, когда Та Ёхо по-звериному переступала по земле.

— Зачем?

— Сов Ён! — воскликнула Та Ёхо укоризненно. — Ты что, бросать меня одну?

— Ты не останешься одна, — Совьон хмыкнула. — У тебя будет мужчина, который тебя любит, и Бычья падь — скоро зима, и там тихо, но, клянусь, по весне в город съедутся воины со всех княжеств.

— Что за дело есть у них в Бычьей пади?

— Вот ты и узнаешь, — Совьон закинула за спину походную суму. — Для меня же это — мутная вода, в которой ничего не разобрать. Лечись, Та Ёхо, а как окрепнешь, сможешь уйти, куда пожелаешь. А пока здесь леса — никто не заметит, что одной лосихой стало больше.

Как и в прошлые дни, сегодня на ночном небе должна была загореться ущербная луна: Та Ёхо передвигалась с трудом и, натягивая на себя шкуру животного, не уходила далеко, предпочитая отлеживаться в густых зарослях. Сейчас ей было нечего бояться: знала ведь, что Оркки Лис хитёр и прозорлив и не допустит, чтобы с ней случилось ещё больше дурного.

— Ты приехать в Бычью падь по весне?

— Не знаю, — призналась Совьон и, улыбнувшись, погладила айху по переброшенной на плечо прядке волос. — Ничего не знаю, но здесь мне искать нечего. Прощай, Та Ёхо.

— Сов Ён, — в ответ она горестно покачала головой и приподнялась на коечке. — Есть ли сила, которая сумеет тебя остановить? Прощай.

...Оркки Лис с Гъялом ужинали в зале на первом этаже, когда женщинам еду слуги подняли наверх. В корчме было безлюдно, и даже хозяин скрылся в кухне. Здесь стояли круглые крепкие столы, даром что немного треснувшие, пахло хлебом, сидром и неказистыми пряностями. А ещё неуловимо веяло домашним уютom, который Совьон был почти неведом. Оркки увидел её, собранную в путь, шагающую вдоль горящих лучин, лавок с расписанными горшочками и стен с засушенными цветами.

— Далеко ли собралась?

Гъял, услышав его, обернулся.

— Далеко, — ответила Совьон.

Оркки пригубил из большой деревянной кружки, которую спустя мгновение тяжело поставил на стол.

— Присядь.

— Нет, — покачала головой. — Уезжаю, Лис.

— А как же Черногород?

— Я не вернусь туда.

— Ты клялась служить нашему князю.

— Да, но не всю жизнь, — Совьон пожала плечами. — Я служила ему и выполнила то, что он на меня возложил — привезла Сармату его невесту, живую и невредимую. На этом моё дело закончено. Вы благополучно доберётесь до Бычьей пади — рукой подать после всех вёрст, которые мы покрыли, а я поеду своей дорогой.

— Так, значит, — Орkki повёл подбородком и оперся рукой о столешницу. — Так... Ну, не мне удерживать тебя.

— Не тебе, — согласилась Совьон и, сделав шаг назад, скользнула взглядом по внутреннему убранству корчмы, по пылающему очагу, по Гъялу, ссутулившемуся на скамье. — Выйдешь провожать?

Совьон уезжала вечером, а ночь обещала быть такой глухой и тёмной, какой отряд ещё не видел на Змеином взгорье. Проступал масляный ущербный месяц — точь-в-точь такой, как на её скуле. У горизонта утробно рокотала приближающаяся гроза, а с леса несло дождём, ветром и сырым звериным мехом.

— Ничего-то ты не боишься, — беззлобно проворчал Орkki Лис, вытирая рот от кусочков пищи. — Не удивлюсь, если ты и с грозой беседуешь, как с родной сестрицей, а твой ворон выносит молнии из её нечёсанных косм.

Совьон улыбнулась, поглаживая шею коня, но обронила:

— Не беседую.

А потом её взгляд стал серьёзен.

— Послушай, Лис, — она понизила голос, чтобы не слышал Гъял. — Береги Та Ёхо, а если обидишь, я найду тебя и убью.

Но за пеленой серьёзности в её глазах плескалось тепло: не обидит, конечно, не обидит, и оттого у зрачков млела ровная синева.

— Без тебя разберёмся, матушка. — После всего, что произошло, Орkki было трудно смеяться так, как прежде, но он старался. — Ладно, Совьон. Мы с тобой не очень ладили... и, может, я всё же не стал бы тебе слишком доверять...

— Ой, Лис, — Совьон скривилась и оправила сбрую Жениха. Промозглый ветер задул сильнее, и на чёрную землю сорвались первые дождевые капли. — Избавь меня от своего брюзжания. А тебе ещё терпеть его, Гъял.

Тот что-то ответил, но никто не разобрал этого в звонком громовом раскате.

— И до утра не переждёшь? — Гъял повысил голос.

— Не пережду, — ответила Совьон, взлетая в седло. Жених, гарцуя, выпустил из ноздрей клокочущий рокот — ничуть не хуже грозового. Орkki Лис отошёл и отвёл за собой Гъяла, чтобы лютый конь ненароком не лягнул их в грудь.

— Свидимся ещё, Совьон?

— Если так любопытно, спрашивай у своих богов, не у меня, — её голос взвился перед вторым раскатом. Ворон обогнул корчму, в оконцах которой горел тёплый жёлтый свет, и опустился на хозяйское плечо. — Мне это неведомо.

— Ну что ж... — Орkki приподнял руку в знак прощания. По круглой крыше корчмы застучал дождь. — Славных тебе дорог, Совьон.

Воительница попрощалась в ответ и, ударив пятками в вороные бока, сорвалась в лес.

Вечер загустел в ожидании грозы. В бархатном небе вились ниточки молний — они мерцали над деревьями и вокруг Матерь-горы, отсюда казавшейся хоть и не такой огромной, но по-прежнему грозной. Орkki Лис стоял под дождём, даже когда ушёл Гъял, и смотрел Совьон вслед — ждал, пока она не скрылась из виду, пока не затихли цокот копыт и карканье ворона, пока не исчезло всё, что напоминало бы о её присутствии. А потом воротился на крыльцо.

===== Зов крови IX =====

Она пряла не шерсть, не лён, не шёлк — человеческую судьбу. Её работу освещало танцующее свечное пламя; по стенам скользили языки теней. Хиллсиэ Ино, вскинув матовый нож, обрезала нити, завершая одно полотно и тут же начиная следующее. Сколько у Хозяина горы было невест, сколько жён, но никто из них не вызывал в вельхе-прядильнице такого отвращения. Если бы она могла, то выткала бы бельмяноглазой девице худшую судьбу, но Хиллсиэ Ино не имела таких прав: всё решала её богиня, суровая Сирпа. И по её наставлению в Хиллсиэ Ино не должно было быть ни жалости, ни злобы.

Сейчас прялка не крутилась: Хиллсиэ Ино даже не смотрела на неё, принявшись за шитьё. Первым на новое полотно, белое-белое, будто снег на перевалах, выполз паук, сотканный из серых нитей. Все его восемь глаз были молочны и слепы. Как же ты, бездарная самозванка, посмела совершить то, что совершила? Как решилась посчитать себя пряхой, ткущей если не судьбу, то музыку? Украсть инструмент у певца камня — всё равно что похитить прялку у Хиллсиэ Ино. И назваться вельхой, не нося в себе ни отголоска силы. Глупая, наглая, бесталанная девица — чем больше ведьма читала её прошлое, тем яростнее клекотал гнев в её груди. Хиллсиэ Ино скалилась сгнившими зубами и качала головой так, что трепыхались мочки ушей, растянутые лунными камнями. За такие преступления нужно хлестать плетью и разрывать на кусочки — вельха порадует, когда соткёт смерть девицы. Как и всех, её убьёт каменный воин, брат Хозяина горы.

Вместе с пауком на полотне расцвела кайма узора. И все следующие недели Хиллсиэ Ино вышивала, как самозванка обживалась в чертогах жениха. Она была совершенно слепа и беспомощна, и марлы вышли к ней сразу, хотя другим девицам показывались лишь перед свадьбой. Появление слуг напугало самозванку — она едва не лишилась рассудка, даже не видя их переломанных, залатанных породой грустных лиц. Но, оправившись, сумела понять, что марлы не желали ей зла. Наоборот, оберегали, когда Матерь-гора гнала её по своим коридорам — незрячего крысёнка, тыкающегося по углам. Умывали её, одевали в новые платья, подводили к столам с едой — как же девушка была податлива, как отрешена и скована. Её страшил каждый новый зал, каждый поворот в сплетении бесконечных коридоров.

Вытягивая иглу, Хиллсиэ Ино прикрыла глаза и подумала, что, наверное, это и вправду ужасно. Блуждать по бескрайним чертогам, боясь удариться и поскользнуться; слышать лишь биение собственного сердца да скрипящие шаги неведомых, преследующих её существ. Ничего не знать и не понимать, чувствовать, как Матерь-гора, рассерженная тем, что девица слишком долго топчется на одном месте, сыплет с потолка каменную крошку. Ощущать под пальцами лишь холод камня, постепенно забывая тепло солнца и запах травы.

Но ничего. Страдания самозванке к лицу.

Хиллсиэ Ино вышивала, как время от времени, пытаясь успокоиться, девица играла на свирели. Славно играла, нежно, но вельхе не нравилось — каждый звук казался грубее тележного скрипа. Поди, тот, кого ты обокрала, пел во сто крат слаще, а, воровка?.. Шли

дни, и снаружи началась зима: Хиллсиэ Ино привиделось, что на горные склоны ложился первый снег, лёгкий, будто перья. Она запечатлела это на самозванкином полотне. Сама вельха-прядильщица выходила из недр только один раз в году, и он приближался.

День сменялся днём, чертог — чертогом. Девушка привыкала к дрожащим стенам и немым марлам, которые унизывали жемчугом её пухлые изрезанные руки — кровь ползла бледно-алой нитью. Так утекла неделя, затем — вторая, и из ущербной луны родилась новая. Хиллсиэ Ино выткала и её: густо-золотая луна, юная, точно государева невеста.

Под сухими пальцами порхали птицы, все — бельмяноглазые: лети горлица за княжьей вольницей, за княжьей конницей... Они были вышиты так искусно, что казались живыми. Такой же казалась и самозванка, разряженная в бледно-голубые, отливающие лиловым платьях. На лбу — широкая перевязка с узорами из жемчуга и перламутра. Краснота, проявляющаяся на щеках и шее, расчёсы, выползающие из-под лоскутков на пальцах — знали мир пряжу искуснее, чем Хиллсиэ Ино?

Марлы украшали самозванку, но не спешили готовить её к жениху: луна только начинала расти. Они ходили за ней по пятам, услужливые и горестные, равнодушные к её песням — ах, думала вельха, что же ты за певунья камня, раз не можешь их увлечь? Для чего тебе твоя свирель — коротать время? Уж не надеешься ли ты, девушка, бросить любовь в сердце Хозяина горы?

Хиллсиэ Ино засмеялась, склонившись над шитьём. Если у Хозяина горы и осталось сердце, то оно любило лишь его самого. Верно говорили старые предания: третий княжий сын был чудовищем ещё до того, как стал драконом.

К полнолунию разошлась первая снежная буря. Яростно клубились снежинки — ещё редкие, тонкие, словно кусочки кружева. Танцуя, они опускались на ржавое золото листы. С севера дули промозглые ветры, несущие на своих спинах предостережения о грядущей зиме. Хиллсиэ Ино приходилось сызнова зажигать свечи — их гасили сквозняки, поднимавшиеся в горных проходах. Наконец у вельхи закончились заготовленные нити, и она раскрутила верную прялку. Та утробно запела о приближающейся змеиной свадьбе.

Марлы достали из сундуков платье, снятое с невесты ещё в первый день — богатое, нежное, с длинными узорными рукавами. Они вернули самозванке её фату, ставшую под их пальцами ещё мягче и тоньше. Шею и запястья девушки обвили не только её украшениями, но и сокровищами Хозяина горы: льдистый кварц и лиловый аметист, небесно-голубой ястребиный глаз. На её волосы марлы надели обруч — широкий, с морозной дымкой на дне самоцветов, а по лицу разбросали обрядовые символы. Когда каменные девы пели, самозванка даже не дрожала: она, забывшись, размякла в их руках.

А потом её, отрешённую и бледную, вели к Хозяину горы — в небольшие палаты, выложенные дымчатым рыбьим глазом и сапфиром: цвет в каждом камне тянулся от белого до насыщенно-голубого. Принимай свою дань, змеиный государь, принимай, — надрывалось колесо прялки, и на руки Хиллсиэ Ино текли новые нити судьбы.

Горел очаг. Рацлава слышала треск щепок, смешанный с постукиванием её качающихся бус. Марлы оставили невесту на пороге чертога — дальше предстояло идти самой, и Рацлава положила ладонь на холодную самоцветную стену. Она боялась не столько Сармата, сколько пути к нему, но ей пришлось сделать всего несколько шагов, прежде чем услышать приветствие — жаркое, клокочущее.

— Ну здравствуй, девушка. Звать-то как?

Её ответ соскользнул с неповоротливого языка.

Сармат развалился на широком, застеленном белой шкурой ложе. Он теребил связку тёмно-алого граната и скрещивал ноги в сапогах, но всем, что Рацлава знала о нём, был голос — мурлыкающий и шипящий, льющийся, словно густой мёд.

— Откуда ты?

— Из Черногородского княжества, — но Рацлава по-прежнему говорила бесстрастно. Не дрожала и не храбрилась: а толку? Её это не спасёт.

Она услышала, как Сармат сдвинулся с места — кажется, юрко поднялся на ноги.

— Это север, — миролюбиво заметил он. — Я не бывал в Черногороде. Там красиво?

Фата, поняла Рацлава, стоя у входа в свой свадебный чертог. Из-за фаты он не видел её глаз — но как она шла, Сармат-змей, как опиралась о стену: это походка не напуганной девушки, а незрячей.

— Не знаю, — равнодушно качнула головой. — Говорят, красиво.

Сармат оправил кушак и, смахнув косы с плеч, сощурился в мерцающем полумраке. Стояла его невеста — полная, белая и отрешённая, окутанная облаком фаты и нитями украшений. Донельзя боязливая: девушка будто бы боялась сойти с места. Кружево её рукавов едва не лизало пол, словно пена — прибрежные камни.

— А разве ты сама не отличишь красивое от безобразного?

Что Рацлаве его мурлыкающий голос, тёплая насмешка и желание начать длинный разговор?

— Не отличу, — сказала ровно. — И не пойму, сам ты красив или безобразен.

Он оказался рядом в несколько широких шагов. Резко стянул фату с лица — ткань, сминаясь, жалобно зашуршала в его пальцах. А потом Сармат, совсем как Шык-бет, заставил Рацлаву вскинуть подбородок, и отблеск пламени, отлетев от самоцветных стен, утонул в её бельмах. У невесты Сармата-змея под складками век — кусочки переливающегося рыбьего глаза.

— Слепая, — Сармат изменился в голосе. — Слепая...

Он разочарованно выпустил её подбородок.

— Скажи на милость, — теперь в его горле теплилась не нежность — злость, — на что мне тебя прислали?

Из его горла вырвался звук, похожий на рычание обиженного зверя:

— Разжалобить? — Рацлава не знала, что его глаза недобро загорелись. Вместо прожилок — веточки пылающих медовых молний.

— А разве я тебе в ноги бросаюсь, Сармат-змей? — Ступни Рацлавы начали затекать, и она перекатилась с пятки на носок. — Пожалеть меня прошу? Стоит ли просить, раз и черногородцы не пожалели, когда отдавали.

Сармат отошёл от неё и, заведя руки за пояс, заходил из угла в угол. Беспокойно заходил, быстро, на каждом шаге упруго отталкиваясь от пола. Постепенно мужчина вернул себе прежний голос, жаркий и ласковый — тот, каким обычно разговаривал с жёнами.

— Думаешь, я чудовище?

— Это не моего ума дело, господин. Пусть думают те, кто тебя знает.

— Отчего же? — он остановился и по-змеиному склонил голову вбок, но ответа не дождался. — Так почему прислали тебя, а не другую девушку?

Ложь колола Рацлаве щёки, резала язык и выливалась изо рта, огибая оставленные свирелью язвочки.

— Нет на севере песен слаще, чем мои.

— Вот как, — Сармат вскинул подпаленную рыжую бровь. — О чём же ты поёшь?

— Я не пою, — мягко поправила Рацлава, выпутывая свирель из бус — покалеченные пальцы дрожали, и это было единственное, что выдавало её волнение. — Вели играть, Сармат-змей.

Сармат как-то разочарованно отмахнулся, подходя к столику рядом с ложем: он подцепил чарку, которую сувары заботливо наполнили вином.

— Играй. — И сделал глоток.

Зачем ему такая жена? Дело не в красоте — Сармат восхищался многообразием человеческих черт и смог бы увидеть прелесть даже в кипенном полном теле, в рыхловатом лице и стеклянных бельмах. Хуже всего — рыба отрёшённость. Морозное равнодушие: ни любопытства, ни трепета, ни нелюбви — ничего, что питало бы Сармата, увлекало, заставляло бы хитрить и покорять.

Лучше бы тебя не довели, черногородская девка. Лучше бы ты сейчас лежала на дне болота, чем стояла здесь, скованная и пустая.

Отставив чарку, Сармат рухнул на ложе и закинул на столик ноги в сапогах. А тем временем Рацлава вытянула первый звук.

...Сколько гадала, как крепки окажутся нити, из которых сплетён Сармат-змей. Сколько маялась, сколько думала — получай же, самозванная певунья камня. Рацлава задыхнулась когда свирель раскрыла ей указательный палец, но не от боли — от страха.

Не было у Сармата нитей. Лишь слившиеся в одно жидкое золото — раскалённое, пышущее жаром. Казалось, оно текло в нём вместо крови, кипело вместо слюны и слёз. Рацлаве не то что не соткать полотно — даже не приблизиться к Сармату. Будь у неё не год, а полных сотня лет, всё равно бы не сумела совладать.

Что-то влажное стекло по её щеке да убежало под ворот.

— Почему ты плачешь? — удивился Сармат. — Разве я обидел тебя?

А потом из горла Рацлавы выхлестнулся смех — горячечный, отчаянный.

Это была лучшая песня, сотканная за всю её жизнь. И самая бесполезная из всех — в ней звучала такая печальная весёлость, такой мучительный надрыв. Нити сплетались с нитями: вкрадчивые пророчества, сорванная фата и травы под чужим окном, пахнущие сладко и горестно. Ах, не выходит ничего хорошего от любви, ничего хорошего...

Нежность моя нежность, молодость моя молодость — что же станет через год, милая?..

Песня текла из свирели — острая и скорбно-ласковая.

Говорила ведьма, что обманет меня девка белокожая. Говорила-говорила да не солгала: ах, милая, слышишь — поёт соловей в твоём саду. Только не разберу, о чём, и лишь в груди болит, словно ножом ударили, — для Рацлавы мешались запахи и звуки: птичья трель, железо, душная ночь... Под чужим окном качались уснувшие цветы, и земля была холодная и сырая. Песня взлетала и срывалась с самой вершины — будто бы задыхалась, чтобы через мгновение раскрыться с новой мощью.

А затем всё пошло на спад. И, дробясь о самоцветы, остывали звуки, похожие на звон колоколов — не то свадьба, не то панихида. Рацлава отпустила свирель — колыхнулись рукава в багряных мазках.

— Красиво, — заметил Сармат. Он полулежал и наблюдал за невестой, которая, сгорбившись, зябко вела полными плечами. — У тебя кровь. Почему?

— Я забылась, господин, — проговорила Рацлава. — И слишком крепко сжала свирель.

— Похоже, тонкая у тебя кожа, — улыбаясь, согласился Сармат и поднялся — пусть лжёт, если ей угодно.

— Похоже.

— А свирель — острая.

— Острее ножей, господин.

Сармат приблизился к ней настолько, что Рацлава ощутила его дыхание на своём лице — горячее, отдающее вином. Но не шелохнулась, когда он прикоснулся носом к её виску. Когда снимал с её волос самоцветный обруч, когда тянул пуговицы — не для этого ли её везли?

А Сармат, покалывая щетиной мягкую невестину шею, думал, что из девицы выйдет нелюбимая жена — на одну длинную колдовскую ночь. Но пусть она будет ему певчей птицей и пусть играет на свирели, развеивая его тоску до летнего солнцеворота.

У правого бока Кригги танцевало веретено, у левого стоял стул с привязанной к нему куделью — тянулось скрученное волокно, которое Кригга нежно перебирала пальцами. Может, драконьей жене только и полагалось, что любоваться нарядами и драгоценными камнями, но Кригга была деревенской девушкой из большой семьи. Она так истосковалась по труду, что выпросила у марл веретено и кудельку — слышали ли прислужницы более странную просьбу? Лицо у Кригги было сосредоточенное и светлое: Малика усмехнулась.

— Неужели ты так любишь прясть?

Княжна сидела рядом, на кованом сундуке. Она сама нашла Криггу: для неё, соскучившейся по человеческому голосу, это не оказалось трудным. Коридоры Матерь-горы переставали казаться лабиринтом — если бы Малика захотела, она бы вышла и к другой пряхе, живущей в этих недрах.

— Я не люблю безделье, — призналась Кригга, вскидывая голову и смущённо улыбаясь. — Меня так воспитали, Малика Горбовна.

Та прищёлкнула языком и закатила глаза, но беззлобно: сейчас женщины казались друг другу почти родными. Много изменилось с тех пор, как они виделись в последний раз — свадьбы и полнолуния, груды богатств и чужие палаты... Времени оставалось всё меньше: Сармат рассказал Малике, что наступил ноябрь. Но думать об этом не хотелось — так ровно горели лампы, освещая ту часть малахитового чертога, где сидели драконьи жёны. За их спинами мягко колыхалась тьма, похожая на ночную. Веретено всё крутилось и крутилось: Малика едва ли не засыпала, глядя на огрубевшие пальцы Кригги. Недавно они снова заплели ей косу, толстую и медовую, обрывающуюся у лопаток.

Кригга тоже поглядывала на княжну, но теперь гораздо смелее: какая же она была размякшая, какая красивая. С чернявыми, будто подсурьмленными бровями, с обласканным, статным, пышным телом — высокая грудь, покатые плечи и широкие запястья и бёдра. Кригга думала, что на свете нашёлся бы не один мужчина, который простил бы Малике её гордыню и грубость. Тем более, княжна умела быть участливой и терпеливой, как сейчас.

Малика обняла колени и сонно склонила голову вбок.

— За свою жизнь я видела только одну пряху, которая была увлечена работой так же, как ты.

— И кто она?

— Жуткая женщина, — бросила княжна. — Один её глаз жёлтый, а второй — чёрный,

без зрачка. В мочки её ушей вставлены лунные камни. У неё сгнившие зубы и двойное имя — Хиллсиэ Ино. Она живёт в этой горе.

Кригга будто бы поперхнулась, останавливая веретено.

— Вэльха-прядильщица? — медленно протянула она. — О боги, ты видела здесь вэльху-прядильщицу?

— Да, — просто отозвалась княжна. — А в чём дело? Ты, видно, много знаешь о ведьмах.

— Только то, что рассказывают деревенские бабки, — Кригга нахмурилась и снова раскрутила веретено. — Нет ведьм сильнее, чем вэльхи-прядильщицы. Они похожи на смертных ещё меньше, чем обычные вэльхи, и у них иная нужда в воде и пище. Сутками напролёт они сидят за прялками и ткацкими станками и покидают своё жилище только раз в году, в зимний солнцеворот. Ты говоришь, скоро декабрь?

— Наверное, уже наступил, — с глаз Малики спала сонная поволока, и угольные радужки стали жадными и блестящими. — Вэльхи покидают своё жилище? Зачем?

— Мне рассказывали, тогда им является богиня Сирпа, — серьёзно продолжила Кригга. — Она сыплет им в глаза истолченные звёзды, а пальцы оборачивает седыми волосами, вырванными из собственных лохматых кос. В самую длинную ночь вэльхи-прядильщицы заглядывают за грань мира живых, а после ткут свои самые глубокие и страшные пророчества.

Малика отвернулась — на малахитовой стене плясала тень от веретена. В свете лампад мягкие руки княжны казались бронзовыми, будто у статуи. В обручальном кольце кроваво пульсировал камень: глубокий гранат, положенный в пасть золотого дракона, обвившего указательный палец.

— Вот как, — прошелестела княжна, поправляя кольцо. — Любопытно.

— Я верю в такие сказки, — осторожно добавила Кригга, вытягивая из кудели шерсть. — Но это не значит, что нужно верить и тебе, Малика Горбовна.

Княжна поднялась с сундука — у лодыжек колыхнулись киноварно-алые юбки.

— Отчего же? — она повела плечом. — Спасибо, что рассказала. Тебя... приятно слушать.

Кригга свела белёдые брови, а Малика, проходя вглубь чертога, рассеянно потрепала её по светло-русой голове. Юрко пронёсся сквозняк — в последнее время по Матьерь-горе гуляли потоки холодного воздуха. Лампады дрогнули, свет зарыбил, и качнулась тень веретена на малахитовой стене.

— Слышишь, Малика Горбовна? Опять.

До них донеслась едва уловимая песня: в недрах снова кто-то играл, кажется, на свирели.

— Я думаю, это марлы.

— Ты видела их пальцы? — хмыкнула Малика, не смотря на Криггу: княжна шла дальше, туда, где чертог почти не освещался — навстречу далёкой музыке. Голос раскатывался эхом. — Они каменные и жёсткие. Их дело — наряжать змеиных жён, а не плести песни.

Песни, — отдавалось гулом, — песни, песни...

— Тогда...

— Ты не знаешь, сколько у Сармата пленных.

— Верно, — кивнула Кригга, перехватывая шерсть. Она мельком взглянула на княжну

— та плавно ступала по каменному полу, — и тут же вернулась к прядению.

В глубине Мать-горы лилась музыка, живая, будто вода, и невесомая, словно туман. Только не удавалось понять, кто пел и о чём. Малика вздохнула и неспешно обернулась, чтобы воротиться назад, к Кригге. Она не заметила, что её собственная тень на стене была огромной и чёрной, похожей на тень сгорбленный старухи, хотя княжна держала спину прямо.

===== Топор со стола VII =====

Хортим устало запрокинул голову — над ним стягивались облака. Сизые вихры на светлом утреннем небе. Из рта вспорхнуло облачко пара: кажется, в Девятиозёрном городе было холодно, очень холодно, только сейчас грудь Хортима горела, а наполовину растёгнутая рубаха липла к спине. Князь скинул все верхние одежды.

— Эй, Горбович! — весело крикнул Чуеслав. — Живой?

Славно бьёшь, сын кожемяки. Хортим убрал с лица взмокшие чёрные пряди и разогнулся: не всё его дружине пировать. Чуеслав Вышатич позвал их размяться на собственном ратном дворе — липовом мостке размером с добротный дом. Тот, как и все улочки в Девятиозёрном городе, едва покачивался на дымящейся студёной воде. Хортиму и так было непросто, а тут ещё земля норовила уйти из-под ног.

— Живой, — криво усмехнулся он. — Что со мной станется.

Звон оружия — к беде, так решил Чуеслав Вышатич, и оттого все воины бились на кулаках. В дружеском поединке князь вышел против князя, и Хортим оказался не в лучшем положении. У сына кожемяки кулаки были пудовые, да и сам он — коренастый и крепкий, пышущий здоровьем. Расставив ноги, Чуеслав твёрдо стоял на покачивающемся мостке, миролюбиво улыбался и откидывал за спину толстую тёмную косу. А ещё бил так, что у Хортима в ушах звенело, хотя чувствовалось, что озёрный князь берёт гостя и сражался не в полную силу. Чуеслав был обнажён по пояс — Хортим, до сей поры остерегавшийся морозного воздуха, понял, насколько это мудрое решение. Поэтому рывком содрал собственную потную рубаху, смял и кинул куда-то под ноги соратникам. А потом глубоко выдохнул:

— Ну давай.

Рядом с Чуеславом он казался тщедушным мальчишкой. У Хортима — узкое жилистое тело, наполовину изуродованное драконьим огнём: кожа бугрилась и морщилась. Страшные рубцы шли от лица до живота и бока, испещряли руку, делая её похожей на старческую. Да и искусным воином Хортим не слыл, но ему не хотелось позориться перед ратниками, которые сидели кто на краю мостка, кто на крыльце дружинного дома.

Он нырнул под кулак и нанёс Чуеславу удар под дых. Хотя что у Хортима были за пальцы — тонкокостные, длинные, ещё хранившие отпечаток былой холёности. Сколько ни стирай об вёсла — не исправишь. Такими руками бы не соперника молотить, а сжимать золотой княжеский жезл, но эти мысли были пустыми и ненужными: Чуеслав едва не поймал Хортима в захват. Тот выскользнул чудом и покачнулся, будто подрубленное дерево.

Неправильно делаешь, одёрнул себя Хортим. Переступил босыми ногами, вскинул покрасневшее лицо и выдохнул в морозное небо. Смоляные пряди мазнули по блестящей спине. Скоростью он не возьмёт — Чуеслав ловчее. На следующий раз поймает, развернёт его одним резким ударом в плечо и перехватит у горла так, что Хортим уткнётся в сгиб его локтя породистым горбатым носом. Про силу и говорить нечего — оставалась только сообразительность, но что тут придумаешь?

Чуеслав немного согнул ноги в коленях, приготавливаясь к удару; Хортим сделал то же самое, но перед этим оглянулся — он успел увидеть нескольких воинов из Соколей дюжины, расположившихся на левом краю мостка. Рассмотрел Фасольда, сидевшего на крыльце напротив, а за ним, у самого входа в дружинный дом, — круглолицую рыжую девушку, одетую в лисий полушубок. Рынка, сестра князя Чуеслава, прижимала к груди тяжёлый кувшин и пыталась сдуть прядь, выскочившую из сложенных на темени кос. Рынка глядела на Хортима во все глаза: нашла кем любоваться, девица, мысленно хмыкнул тот. Вокруг него — десятки молодых воинов, статных и умелых, не изуродованных ожогами.

А потом Хортим посмотрел на тучи, пятнавшие холодное голубое небо — солнце спряталось. Нельзя было вывернуться так, чтобы Чуеслава ослепили яркие лучи. Значит, нужно по-другому...

Удар выбил из Хортима воздух, а крепкие руки потянули его за бока, норовя перевернуть и швырнуть наземь. Вот тебе твои знания и рассудительность, Хортим Горбович: если не выстоял в дружеском бою, как выстоишь в настоящем, если рядом не окажется Соколей дюжины?.. Единственное, что он успел — предугадать, как именно Чуеслав захочет его схватить. И подался навстречу: сам перехватил Чуеслава за шею, пригнул к земле тяжестью собственного тела.

Оба кубарем полетели на липовый мосток, и первым на лопатки рухнул Чуеслав — Хортим, едва не свернув шею, распластался рядом. Из горла Чуеслава сначала вырвался свист, потом — ухающий смех. Хортим был бы рад засмеяться в ответ, но от натуги во рту стало солоно: не хуже, чем у Вигге, кашляющего кровью.

— Добро, Горбович, — Чуеслав, не прекращая смеяться, поднялся, оперевшись рукой о мосток. И подал ладонь Хортиму — вставая, тот неуверенно улыбнулся. — Достаточно.

Хортима усадили на крыльцо рядом с Фасольдом — кто-то, кажется, Арха, накинул ему шубу на голые, липкие от пота плечи. Рынка, протиснувшись меж воинов, подала ему кувшин с водой, и Хортим пил так жадно, будто неделю шёл по сухой степи. Поперхнулся, закашлялся и, отняв губы от горлышка, судорожно утёр подбородок.

— Ну давай-давай, — Фасольд грозно свёл брови, хотя тут же улыбнулся и похлопал Хортима по спине. — Ещё надорвись и сляг.

— Не слягу, — Хортим отдал кувшин и рассеянно поблагодарил девушку, высматривая краем глаза, как её брат. Чуеслав держался молодцом: набирал полные пригоршни снега и растирал напряжённое тело — Хортим же кутался в шубу. Порой ему сильно не хватало гуратского тепла.

Арха сполз на ступень рядом. Солнце, на мгновение просочившееся сквозь тучи, осветило его лицо — точёное и серовато-прозрачное, с алой дымкой подкожных сосудов.

— Девица, а девица, — весело сказал он Рынке. — Ты гляди осторожнее, а то просмотришь в моём князе дырку — будут новые ожоги.

— Твоему князю хуже уже не станет, — Хортим устало опустил веки, а Рынка зарделась и дёрнулась, будто её саму обожгло.

Фасольд хохотнул, поглаживая седой ус костяшкой пальца. Чуеслав обернулся — от снега его кожа стала ещё краснее.

— Дело говоришь, воин, — он вскинул бровь. — Эй, Рынка, а мне воды не полагается? Я, конечно, не Горбович, но всё же брат тебе. — На озёрную княжну было жалко смотреть: кровь отхлынула от её алого лица, и Рынка побелела. Тогда Чуеслав смягчился. — Ну полно, сестра, мы же шутим.

Хортим приоткрыл правый, начавший заплывать глаз и укоризненно заметил, что порой Чуеслав чересчур строг — так ему стало жаль эту девицу, нелепо и смущённо замершую среди воинов. Рынка втянула голову и ничего не ответила брату. Только поставила кувшин у ног и поспешно скрылась в дружинном доме, словно боялась, что смех ратников ударит ей в спину.

— Ну вот, — вздохнул Чуеслав. Кто-то из его друзей подал ему рубаху и дублёнку: князь одевался, то и дело похрустывая костяшками пальцев. — Можешь сказать, что я жесток, Хортим Горбович. Но она моя сестра — мне за ней и следить.

— Твоё право, — признал Хортим, поудобнее устраиваясь на ступенях. Шуба приятно грела тело. — Я-то, может, со своей сестрой всю жизнь не слишком ладил. И никогда не думал её оберегать — а что я делаю сейчас?

Я пытаюсь её спасти.

— Эй, отшельник, — свистнул Арха. Крикнул ни с того ни с сего: Вигге держался обособленно — сидел на том же крыльце, только низко, у самого мостка. И, казалось, думал о своём, глядя на других воинов, сходящихся в кулачном бою. — Отшельник, поди сюда.

Вигге медленно обернулся и столь же медленно выпрямился во весь рост. Поднялся по ступеням, оказавшись напротив Хортима и присоединившегося к нему Чуеслава. Посмотрел на князей сверху вниз холодными глазами — так спокойно, будто не его только что подзывали, словно пса.

— Послушай, отшельник, — начал Арха с любопытством, — мы тут говорили о сестре Чуеслава Вышатича, за которую он радеет — это ведь его семья. А моя семья — дружина моего князя, когда семья Хортима Горбовича — это мы. И вот что я думаю, отшельник: как же ты прожил так много лет совсем один? Если не считать женщину, которую ты, кажется, совсем не любишь.

— Кого я люблю или не люблю, — хрипло ответил Вигге, — то не твоё дело. Будь ты хоть правая рука своего князя, а будь хоть сам князь.

— Справедливо, — согласился Хортим. — Арха, ты чего лезешь?

— Прости, княже, — тот склонил голову так, будто каялся. — Да только мы этого человека взяли к себе на борт. Делились с ним пищей, везли до Девятиозёрного города — и что мы о нём узнали? Ничего.

— А тебе, я смотрю, больно любопытно, — Вигге не менялся в лице.

— Страх как любопытно, отшельник, — Арха улыбнулся, показывая бесцветные клыки.

Тут вмешался Фасольд — подбоченился, отвёл взгляд от воинов, мерившихся силой на мостке. Слегка согнул затекающие ноги и сказал:

— Арха, может, и лезет куда не нужно, но говорит здраво. Ты ходил с нами на одном корабле, Вигге, а мы до сих пор не знаем, кто ты таков.

— Так спрашивай, — бросил тот, устраиваясь на одной из ступеней. Хортим, предчувствуя неладное, поднял лицо — облака, будто гигантские змеи, оплетали хмурающийся небосвод.

— Что же, — продолжал Фасольд, почёсывая небритые щёки, — у тебя нет семьи? Ни сестёр, ни братьев?

— Братья есть, — сухо ответил Вигге. — Семьи нет.

— Похоже, ты с ними не очень ладишь, — протянул Чуеслав, осушив чарку, которую подали ему соратники. Перед дружинным домом было шумно: кто-то сражался, кто-то смеялся, кто-то шутил... Мелькали рубахи и кулаки, дублёнки и шубы. Кувшины и пузатые

корчаги, плывущие на девичьих руках.

Только Вигге говорил неизменно тихо, даже не пытаясь повысить голос:

— С моими братьями мало кто ладит.

— Неужели? — удивился Фасольд. — Настолько они у тебя суровые?

Казалось, что с каждым словом Вигге становился всё серьезнее.

— Да нет, — проговорил он. — Один мой брат хитрый и жадный, и на его руках столько крови, что он не сумел бы отмыться от неё, даже если бы захотел. Он любит богатства, но больше самых древних сокровищ ценит себя. И он трус, каких поискать.

— Говоришь, что твои братья трусливы? — фыркнул Фасольд. — А сам ты — смелый?

— Другой мой брат не трус, — мрачно произнёс Вигге. — Он воин, и притом великий.

— О, — засмеялся Арха, — прямо-таки великий?

Арху боги сшили на славу. Они вложили в него такое воинское бешенство, что в пору было завидовать — где найдёшь того, кто встал бы с ним вровень?

— К сожалению. — Хортиму стало жутко от того, как холодно и прямо говорил отшельник — глаза у него были неживыми. — Говорят, нет в Княжьих горах того, кто способен его одолеть.

— Говорят, кур доят, — Фасольда это задело. — Так болтают про каждого рослого парня в деревне. Твой брат и вправду настолько силён?

— Силён.

— Что же мы тогда про него не слышали?

— Готов поспорить, воевода, — Вигге сверкнул льдистым инеем из-под век, — что ты слышал.

Фасольд не терпел, когда при нём возвышали незнакомых воинов. Тем более, если утверждали, что такому бойцу и сам Фасольд — не противник.

— А сам-то ты что? — рассердился он, хмуря брови. — Храбр ты или труслив, хорошо ли держишь удар? Как мне понять, чего стоят твои рассказы, если я не знаю, чего стоишь ты? Может, ты слаб настолько, что каждого мнишь великим.

Отшельник откинулся назад, расправляя плечи.

— Я не касался оружия уже много лет, хотя и в молодости не слыл первым мечником. Мои кулаки куда слабее кулаков моего брата, но если ты хочешь, чтобы я вышел против тебя на этом мостке — говори.

И Фасольд сказал.

...Хортим думал, что его воевода переносил холод лучше, чем кто-либо. Колодезников сын, выросший в северных фьордах, он приехал в Пустошь наёмником, но вскоре стал доверенным гуратского князя — если не ему, то кому чувствовать себя уверенно в Девятиозёрном городе? Как и полагалось, Фасольд был бос и обнажён по пояс. Он стоял на покачивающемся мостке так же крепко, как и на палубе драккара, и выглядел внушительно и грозно — Малика, Малика, и не побоялась же ты отказать ему при всём дворе... У Фасольда — широкие плечи и грудь, мощные руки, до сих пор не утратившие силы. Хортим знал, что из всей Соколей дюжины лишь Арха сумел бы одолеть Фасольда, да и то потому, что был младше почти на тридцать лет. Седые волосы лизали воеводе плечи — Фасольд дышал стылым воздухом, выпуская изо рта облачка пара. Казалось, он совсем не испытывал холода, только его кожа, как и у всякого человека, краснела на морозе.

Но кожа Вигге не меняла цвета. Отшельник стоял напротив Фасольда — жилистый и поджарый, чуть ли не обгоняющий воеводу в росте, хотя и уступающий ему в ширине плеч.

Вигге не казался болезненным или хрупким: под его рубахой скрывались рубленые мышцы. А когда соперники обошли мосток кругом, будто волки, желающие вцепиться друг другу в глотку, Хортим увидел, что на спине Вигге тоже были ожоги. Смятая, рубцеватая полоса ползла вдоль позвоночника и напоминала скошенный гребень. Позже князь высмотрел длинные шрамы, обрывающиеся повыше середины предплечий — будто кто-то распорол отшельнику руки.

Кто же тебя так, Вигге?

Фасольд нанёс первый удар. Его кулак мог пробить дерево, но когда врезался Вигге в грудь, то даже не заставил его покачнуться. Будто тот был вытесан из камня или... Хортим, вскинув от удивления брови, пытался подобрать нужное слово. Или вырезан из огромной ледяной глыбы. Кровь булькнула в горле Вигге, просочилась изо рта. Утерев губы, отшельник выдохнул из ноздрей струи белого пара. Переступил босыми ступнями по мостку, криво дёрнул уголком губ. А затем метнулся к Фасольду и обхватил его так, что затрещали кости — но воевода был нестигаем и крепок, словно мачта на драккаре. Вигге не смог его повалить, а когда его руки стиснули чужие бока, Хортима ужалила странная мысль: какие длинные у Вигге пальцы, какие тонкокостные, такими бы не соперника молотить, а...

Фасольд отшвырнул соперника одним рывком. Другой бы уже распластался на мостке, беспомощный и оглушённый, но Вигге только потерял равновесие и осел. Поднявшись, распрямил плечи и сощурил глаза, ясные и внимательные. Фасольд перехватил Вигге поперёк туловища, норовя не то переломить пополам, не то сбросить у ног бесполезной грудой. А тот вырвался, потянув Фасольда к земле — напряг мышцы, ударил по хребту и выскользнул огромной, сильной змеей. Не давая воеводе опомниться, ткнул кулаком в грудину — так, что на виске Фасольда взбухла алая жила. Фасольд тяжело опустил кулаки на плечи Вигге, подминая его под себя, грозя расщепить ему кости, но тот в один прыжок оказался за его спиной — и обвил шею руками.

Воевода вздыбился, освобождаясь — мышцы под кожей Вигге проступили так чётко, словно собирались порваться. Отшельник тут же ослабил хватку и покачнулся, прижимая ладони к лицу, хотя Фасольд больше не нанёс ему ни одного удара. Воевода распрямился и замер — ждал.

Вигге, до этого момента ничем не уступивший Фасольду, рухнул на колени. Его сотряс такой страшный кашель, что мосток заходил ходуном. Кровь хлынула из его горла, залила липовые доски — отшельник царапал по ним укороченными ногтями, и его спина тряслась, будто лист на ветру. Хортим не помнил, как оказался рядом, как вместе с Фасольдом отнял Вигге от земли и как усадил его на крыльцо, накрыв собственной шубой, словно призрачное тепло могло помочь; как Чуеслав Вышатич велел позвать лекаря и как Вигге, едва отойдя от кашля, спокойно и жутко улыбнулся.

— Ни к чему мне твой лекарь, князь. — Зубы у него были багровые. И язык, ворочающийся во рту — багровый. — Не гоняй его зазря.

А потом в его глазах, светлых и холодных, будто древние ледники, мелькнули такие тоска и боль, что стало горестно.

Хортим, накрытый ворохом шкур, полулежал на скамье. Его пальцы грела чаша с дымящимся варевом — пахло иргой и мятой. Та комната дружинного дома, в которой отдыхал князь, была просторной, но почти пустой: дубовый стол и запертые ставни с бронзовой вязью, несколько длинных лавок, застланных бордовым полотном. Высокие своды

и стены, сложенные из крупных брёвен. Сквозь пар, поднимавшийся от варева, Хортим видел, как, сидя на полу, Латы и Инжука играли в кости. Арха, устроившись у скамьи князя, не то дремал, не то следил за ними из-под ресниц-струн. И поглядывал за Фасольдом, пившим горячее вино из собственной чаши.

В тепле Хортим чувствовал себя расслабленно — так и лежать бы здесь, в мехах, щекочущих лицо и руки. Засыпать бы под стук игральных костей и чужое бормотание, но вскоре, через день или два, дружина Хортима покидала Девятиозёрный город, а Вигге оставался здесь, и ещё многое было с ним неясно. Сейчас отшельник сидел под самым окном — настолько бесстрастный, что казался здоровым. Он, словно выжидая, наблюдал за воинами Соколей дюжины и за Фасольдом, который после боя проникся к нему если не уважением, то чем-то похожим.

Когда ещё представится более удобный случай?

— Вигге, — позвал Хортим, приподнимаясь. Шкуры сползли с его одежды, заботливо высушенной над огнём, и князь отбросил их на край скамьи. — Вигге, я хочу тебя спросить.

Не этого ли ты ждал, отшельник?

— Спрашивай, — умиротворённо ответил тот.

Хортим спустил ноги в сапогах на пол, но не спешил вставать. Сцепил пальцы вокруг тёплой чарки и вскинул лицо:

— Чуеслав сказал, что ты можешь быть из Войличей. И что ты едва ли не брат князя Мстивоя — это так?

Вигге холодно усмехнулся, но никто, кроме него, не нашёл ничего смешного. Шумно вздохнув, Фасольд отставил чашу на лавку рядом, а Арха приоткрыл бесцветный глаз, показывая, что не спит. Затих стук игральных костей.

— О нет, — слова передёрнули тонкие губы Вигге. — Я не из Войличей.

— Думаю, ты честный человек. — Хортим чуть не рассмеялся от облегчения: по счастью, судьба не свела его с беглым родичем Мстивоя. Юноша подался вперёд, смущённо и весело улыбаясь: — Просто Чуеслав так убеждал, что ты из княжьего рода...

— Я сказал, что я не из Войличей, — перебил Вигге. — Но я не говорил, что я не из княжьего рода.

Внутри Хортима что-то оборвалось, а в натопленной комнате внезапно потянуло морозцем. Язык присох к нёбу, в голове засвербило — как нельзя кстати пришёлся Фасольд, который, нахмутив брови, хрипло потребовал:

— Объяснись.

Но Вигге ему не ответил.

— Хорошо, — тогда протянул Хортим, — хорошо... Что же ты раньше молчал?

— А ты не спрашивал.

К этому времени гуратский князь уже взял себя в руки и даже отхлебнул ароматного варева из чарки. Покачал головой и произнёс:

— И что у тебя за род?

— Не моложе твоего.

— Быть такого не может, — хохотнул Арха, хотя глаза у него стали настороженными, словно у охотника. Хортим удивился: Арха не смел вмешиваться в разговоры своего князя, если только тот сам не просил. А здесь... Неужели всех так задела история Вигге? — С родом моего государя может сравниться только род Мстивоя Войлича. Других нет.

— Есть, — мягко возразил Вигге, прижимаясь спиной к стене. Казалось, он совсем не

испытывал неловкости или волнения, а разговор шёл так, как ему хотелось.

— И какое же твоё родовое имя? — Голос Хортима сделался тихим, но твёрдым — так бывало всегда, если происходило что-то важное.

— Оно тебе ничего не даст.

— Странно, — юноша недобро сощурил глаза. — Какие у вас владения?

— Такие же, как и у тебя, — ответил Вигге. — Обратившиеся в прах.

— Довольно, — рявкнул Фасольд, поднимаясь. Словно рассеялось всё призрачное уважение, которое воевода испытывал к Вигге — до того он стал гневен и зол. — Что ты всё юлишь, отшельник? Ври, да не завирайся. Может, мне стоит вытряхнуть из тебя слова? Пусть вырвутся вместе с кашлем из твоего горла!

— Не вытряхнешь, — Вигге пожал плечами. — Нет у тебя таких сил.

Зря, зря он это сказал — Фасольд выпустил из ноздрей воздух, будто рассерженный бык. Даже Латы и Инжука поднялись — разнимать, если что случится, — да так и застыли.

— Не знаю, княжеский ты отпрыск или нет, — медленно говорил Фасольд, переступая по скрипящему полу, — но пока ты прятался на севере, словно трус, я участвовал в битвах. Я возвеличивал своё имя, и я поливал свои руки кровью недругов и слезами их вдов.

Вигге рассмеялся. Это был холодный и серьёзный смех.

— Не говори мне о битвах, воевода. Я сражался в войнах, о которых бабка рассказывала тебе перед сном. И не говори мне о своём имени — моё старше, чем вся твоя семья.

— Вигге! — требовательно одёрнул Хортим. — Что за дело привело тебя на юг?

Отшельник отвёл взгляд от закипевшего, готового разразиться бранью Фасольда и с любопытством посмотрел на гуратского князя.

— О, — выдохнул он, кривя губы в новой, ещё более прохладной усмешке. И осмотрел каждый холмик ожогов, оставшихся на лице Хортима. — У меня с твоим Сарматом-змеем старый должок.

— Да брось, — Арха вскочил на ноги, будто хотел телом прикрыть своего князя. — Ты даже не знал, что он проснулся!

— Верно, — прошипел Хортим, твёрдо отодвигая Арху в сторону: голос стал очень, очень тихим. Юноша упёрся локтями в колени — он и Вигге оставались единственными, кто ещё сидел на скамьях. — Ты не знал.

— Я и говорю, княже, — зрачки Вигге вытянулись, пропахав густую голубую радужку. — Это очень старый должок.

Между Хортимом и Вигге — дубовый стол и донельзя взвинченные, сбитые с толку люди. Юноше казалось, что именно в это мгновение ему бросали вызов, пробовали его на излом. Вопрос спорхнул с губ:

— Кто ты?

— Хортим Горбович, — Вигге разочарованно покачал головой. — Ты же умен не по годам. Посуди сам, кто я. Лгун? Отшельник? Князь? Что тебе Чуеслав Вышатич — вот он я. Так слушай, как я говорю, и смотри, как держусь.

Только отчего-то смотреть на него стало тяжело и больно — Хортим на миг прикрыл ладонью глаза и утёр взмокший лоб:

— «Вигге». Так звала тебя мать?

— Нет, — рот искривился в печальной улыбке. — Мать звала меня иначе.

— И как твоё имя?

— У меня много имён, — просто ответил он. — Айхи зовут меня Тхигме. Тукеры —

Кагардаш.

Кожа Инжуки внезапно стала плотной и восковой — воин отшатнулся, споткнулся о собственные ноги так, что Латы пришлось его поддержать, и выругался на своём языке.

— Высоко метишь, отшельник, — укоризненно сказал Латы, не выпуская локтя соратника, а Вигге невозмутимо продолжал:

— Но когда я родился, меня нарекли по-другому.

Он неспешно поднялся и словно заполнил собой всю комнату дружинного дома. И не стало внутри ничего, кроме него — какой Вигге высокий, какой осанистый, до чего же у него звучный голос и до чего нездешний взгляд.

— Я — Хьялма из рода князей Халлегатских. — Каждое слово — волна, бьющая в ледники. — Тот, кого вы называете Сарматом-змеем, мой брат. Тот, кого вы называете Ярхо-предателем, тоже, и предал он меня.

Повисла тишина, ледяная и страшная. И такая густая, что стало трудно дышать — вдох-выдох, и в груди щипало, будто в лёгкие вонзились инициальные иглы. А потом раздался сиплый, надрывный смех Фасольда.

— Я-то думал, — звук клокотал в мощной груди. — Я-то всё думал, Хортим Горбович... Кого же ты взял на корабль? — Воевода резко перестал смеяться и сказал мрачно и зло: — Оказалось, умалишённого.

Вигге скучающе посмотрел сквозь него, а у Хортима сжалось сердце: надо же, как всё вышло. Он думал, что отшельник загадочен и мудр, а тот был совсем, совсем безумен. Надо успокоить его и оставить в Девятиозёрном городе, иначе ввяжется, куда не следует, и...

— Что же, — сухо произнёс Вигге. — Смотри, воевода. Внимательно смотри.

Он пересёк расстояние от скамьи до стола в несколько шагов и с чудовищной силой упёрся в столешницу ладонью. Будто захотел перемахнуть на другую сторону. Раздался тошнотворный хруст — не то лопнуло дерево, не то разверзлась плоть. Хортим дёрнулся, а Арха снова прикрыл его, будто пытался защитить.

Нечто вывернулось наружу из правой руки Вигге. Хортим смог разглядеть, что кожу отшельника пробила часть острого гребня, слепленного из крепкой белёсой чешуи. На тыльной стороне ладони набухли вены, а вгрызшиеся в столешницу ногти приподнялись, и из-под них выглянули зачатки когтей.

Руку Вигге пропахало то, что, если бы расправилось и раздалось, смогло бы стать драконьей лапой. Инжука тяжело ухнул, Латы стиснул кулаки, а Фасольд ошарашенно провёл пальцами перед глазами, будто проверяя, не ослеп ли.

— Я много слушал вас, — ровно проговорил Вигге. Хортим, не дыша, смотрел, как под истончившейся плёнкой кожи на его запястье переливалась чешуя. — И я понял, что мой брат зависим от украденного драконьего тела. Сармат подчиняется ходу луны, но я могу вырастить себе столько драконьих кож, сколько захочу. И когда захочу, но мне нужно время.

Он отнял руку от столешницы — зачатки когтей спрятались под ногтями, гребни слипшихся чешуй частично ушли в плоть.

— Здесь горы, — продолжал Вигге. — Вели своим людям присмотреть для меня ущелье или пещеру, Хортим Горбович. И вели своей дружине задержаться в Девятиозёрном городе. Когда придёт срок, вы увидите меня драконом.

Хортим стискивал переносицу двумя пальцами. И смотрел совершенно растерянным, совершенно стеклянным взглядом.

Пещера была глубокой и высокой. Её стены, вытесанные из серовато-голубой породы, едва переливалась во тьме: острые глаза Хьялмы уловили мерцание, призрачное, будто рябь на озёрной глади. Шаг, шаг, ещё один — каждый отдавался эхом. По пещере катился гул — глухая шаманская дробь, вдающаяся в нутро горы. Шаг-удар-шаг-удар: не то опускалась босая ступня, не то ладонь врезалась в бубен. Пещера расползалась льдистым мраком, щерилась наростами минералов. На уровне щиколоток плескалась студёная вода.

Хьялма остановился там, где грот расширялся, а земля становилась суше. Он сложил одежду у ног и, поведя шеей, выпустил из ноздрей струи белого пара, будто дракон — пламя. Тьма пещеры мягко обволакивала его, лизала спину и плечи, шевелила волосы, поседевшие до срока. Хьялма опустил на неровный, в каменных сгустках пол. Вытянулся, расслабляя мышцы — холод просочился сквозь его кожу, свернулся в груди кольцом. Но Хьялма продолжил дышать ровно. Холод — его союзник, его венец и колыбель. То, что замораживало болезнь в человеческом теле, и то, что давало ему приют.

Над лицом колыхнулся стылый мрак. Хьялма прикрыл глаза — ток крови разносил по его жилам силу, вязкую, будто смола. Её комья лениво пульсировали внутри. Пусть сила разбухает, пусть струится быстрее, расширяя сосуды и заполняя мышцы. И кости Хьялмы вспорют плоть и затянутся новой кожей, прочнее прежней.

Хьялма лежал на земле, прижимаясь спиной к ледяной породе. Пальцы его правой руки выбивали по камню дробь, и под ногтями расползались синие узоры. Потребуется не меньше двух недель: в это время Хьялма не будет ни есть и ни пить, не будет ни человеком и ни змеем — кем-то между. Раньше на то, чтобы вырастить драконье тело, уходили годы, но Хьялма учился. Учился тысячу лет, видел небеса и воды бескрайнего севера, летал над дальними горами, взрастившими настоящих драконов. Те гораздо крупнее и старше Хьялмы, не говоря уже о его брате. Да и что это за горы — исполинские зубья, прорезающие земную твердь. По сравнению с ними Княжий хребет — младенец подле воина-великана.

Халегикаль. Имя поднялось паром из раскрывшихся сухих губ: Ха-ле-ги-каль, которую айхи называли не иначе, как госпожа Кыд-Аян. Божество высокогорников, страж между миром живых и миром мёртвых. Но Хьялма помнил её смертной женщиной, которая первой обрела тело крылатого змея. Она окунулась в вечность, когда Хьялма ещё не родился, а спустя годы стала его наставницей. Ах, Халегикаль, загадочная и древняя. Она сама вышла из племени айхов, а потом стала мифом, который старейшины передают юнцам. Она выглядела на сорок зим, носила шаровары и подбитый мехом полушубок. Волосы, длинные и чёрные, до самого пояса, делила на две части и перебрасывала на грудь, а у кончиков стягивала костяным зажимом — Хьялма помнил её до мелочей. Помнил раскосые глаза, светло-серые, удивительные для айхов, и резкое, шаманское лицо. Коричнево-смуглую кожу и излом усмешки: Халегикаль — одна из немногих, которая могла говорить с ним, мудрым, выдавшим жизнь халлегатским князем, словно с ребёнком. В драконьем теле Халегикаль была меньше, чем истинные драконы, но массивнее, чем Хьялма. Она научила его зачерпывать пастью облака и не зависеть от луны и солнца. Хьялма мог летать годы до тех пор, пока человеческое нутро не напоминало о себе и не начинало тянуть вниз — тогда он задыхался в небе и опускался в ущелья, чтобы сбросить змеиную кожу. Сама Халегикаль могла летать веками. Она научила его вылеплять новые кости, но не сумела искоренить увечья, которые вбились в Хьялму сильнее прочих.

Сколько бы он ни выращивал себе тел, местами его крылья всегда были разорваны — однажды их распорили так, что шрамы остались даже на человеческих предплечьях. И между

пластинами чешуи на драконьих морде и туловище змеились алые нити — дань старой болезни. И зубы у Хьялмы были будто закапанные кровью — острые, с редкими багряными трещинками.

Ах, Халегикаль, мать оборотней. Хьялма любил столетия, проведённые рядом с ней: шаманство севера, древнее колдовство и путешествия к тому, что принято называть краем земли — фьорды и водопады, грохот студёной воды и мороз, оседающий инеем на гребнистой спине. Глаза величайших змеев и заледеневшие города павших империй. Но пришёл срок, и Халегикаль убили. Подло, в человеческом теле — Хьялма не раз возвращался к её гробнице. Та сейчас затеряна во вздувшихся за века ущельях.

И лежит Халегикаль — в каменной обрядовой домовине, почти не истлевшая в морозе. Рядом с ней, на вырубленном алтаре, — останки рабов и лошадей в богатейших сбруях. Над ней — курган и толщи снега, на её груди — костяные бусы, у её ног — заколки и кинжалы. Халегикаль хоронили с почётом, и айхи, передавая её историю из уст в уста, до сих пор верили, что её душа стоит на страже врат подземного царства.

Правда ли это, Хьялме неведомо.

С тех пор утекло много времени. Хьялма не раз терял тех, кто был ему дорог, жил князем и отшельником, вёл людей в битвы, которые позже становились легендой.

— Иногда я думаю, — говорил он Халегикаль, — что живу слишком долго. — Тогда он не знал, что проживёт ещё столько же, прежде чем встретится с гуратским князем и его дружиной. — Зачем мне так много времени?

— О, — смеялась Халегикаль, целуя его в поседевшую бровь. — У тебя ещё не всё закончено.

Она жила ещё дольше. И устала бы от своего существования, если бы не Хьялма — он был мудр и терпелив настолько, что смог стать не только её учеником, но и соратником.

— Твой брат...

— Спит.

— Разве ты не знаешь, Тхигме? — Халегикаль сверкнула серыми глазами, заправляя ему за ухо прядь волос. — Всем, кто спит, однажды суждено проснуться.

Хьялма вспоминал об этом, лёжа в холодном гроте. Белёсая чешуя выползала из-под его лопающейся кожи, а мышцы разбухали, и кости медленно удлинялись. Глаза горели — зрение рассеивалось, радужка выцветала, а зрачок окончательно превращался в узкую вертикальную щель. Каждый миг отдавался гулом: это до чудовищного больно — потрошить себя, чтобы потом сызнова собирать по раздавшимся кускам. Но из горла Хьялмы не шло ни звука. На его лбу плавно проступали наросты, а ушные раковины постепенно втягивались в череп. Сквозь позвоночник норовил прорваться хребтовый гребень — не сейчас, на второй или на третий день. Тогда не выдержит даже Хьялма и будет метаться по гроту, ощущая, как внутри перештопываются органы, как расходятся глазницы и раздувается сердце. Но пока...

Хьялма лежал и слышал, как в глубине ущелья завывали ветры. Что же, ветры, ветры, несите в Девятиозёрный город весть о том, что происходит в этом гроте. Летите на юг, в деревни и сёла, плачьте о приближающейся войне и лютом холоде.

Расскажите его братьям, что он идёт.

===== Песня перевала XII =====

Малике казалось, что круг замкнулся. Она вернулась в один из тех чертогов, с которых когда-то начинала своё блуждание по Матерь-горе. Сводчатые потолки прорезали базальтовую породу, и вдоль стен тянулись ряды арочных углублений. В каждом — по

изваянию. Недвижимые каменные воины, сжимавшие мечи. Чертог был такой длинный, что из здешних ратников удалось бы собрать целую армию — Малика шла, и ей в спину смотрели дюжины незрячих глаз, вырезанных из серого минерала. На какое-то мгновение стало очень, очень страшно: если это и есть воины Ярхо-предателя, те, кто сжигал города и деревни, что мешает им пробудиться? Прямо сейчас, пока Малика скользит по крапчатым апатитовым полам. Будто лебедь, плывёт мимо застывших фигур, стараясь в их лицах узнать одно-единственное. Лицо их предводителя.

Говорили, он был сильнее и искуснее любого из своей рати. Говорили, обычного каменного воина удалось бы одолеть и раскрошить на части, а Ярхо — нет. О, Малика хотела бы его увидеть. Впервые с той ночи, когда над падающим Гурат-градом ревел дракон, а Ярхо убивал её отца. Быстро и безжалостно, вгоняя топор в грудь. Ярхо было всё равно, князь перед ним или раб, умелый боец или безусый мальчишка — Малика помнила его, огромного и каменного, иссечённого бороздами, оставшимися от ударов сотен мечей. И ему она желала отомстить не меньше, чем Сармату, но Сармат состоял из плоти и жил, мог радоваться и чувствовать боль, а Ярхо... Что Малика могла сделать ему, даже если бы встретила? Из камня крови не выжмешь.

Его не было в этом чертоге. Малика шла мимо воинов так долго, что ноги заныли, но зал всё тянулся и тянулся. Лампад, освещавших его, становилось меньше, сгущался полумрак, и из него до уха княжны донеслась незамысловатая трель — простая песенка, тихо сыгранная на свирели.

На полу сидела девушка — там, где почти не оставалось света. Она казалась порусалочьи бледной, будто её кожу вытесали из лунных камней и перламутра. Малика даже засомневалась, кто перед ней. Одна из жён Сармата? Или чья-то неуспокоенная душа, не сумевшая выйти из недр даже после смерти? Малике пришлось подойти вплотную, чтобы разглядеть на губах и пальцах незнакомки свежие порезы — у привидений не бывает крови.

— Вот ты какая, — от напряжения заболели глаза. Полумрак был рассеянный, раздражающий — лампы тускло светили со стен. — Пленница со свирелькой.

Рядом с ней лежали её длинные рукава и бесконечные шелка, укутывающие полный стан; похоже, девушке было холодно, хотя она не поднималась, чтобы размять окоченевшее тело. Лишь выпустила свирель, обвитую кожаными шнурами, и та легонько стукнулась о посверкивающие жемчужные пуговицы. Малика, рассматривая незнакомку, сдула со лба выбившуюся медовую прядь.

— Почему ты сидишь в такой мерзкой темноте?

— Здесь темно? — Девушка удивилась, хотя её лицо, белое и рыхлое, ничего не выразило. — Я не знала.

Малика наклонилась, шурясь сильнее. Последний язычок огня в лампадах затрепетал, грозя погаснуть, — глаза у девицы были заволочены бельмами, будто январским снегом.

— Подумать только, — хмыкнула княжна, выпрямляясь. — Совсем, совсем слепая. Не жаль было отдавать тебя Сармату?

— Не жаль, — ответила та равнодушно.

Ах, бедный Сармат, подумала Малика и скривилась. Недоволен, наверное, такой женой — как же ты будешь пугать её, как заставишь полюбить своё лукавое красивое лицо? Поди объясни ей, что волосы у тебя как огонь, а глаза как молнии. И что увидев мерцание твоих богатств, ослеп бы и зрячий.

— Кто ты? — спросила незнакомка, и Малика назвала своё имя.

— Го-орбовна, — повторила, проводя языком по шелушащимся, кровоточащим губам. — Ты княжеская дочь? — Покатала слова во рту: — И ты жена Сармата?

— О да. — Малика заходила вокруг девушки, стараясь лишний раз не смотреть на каменных воинов у стен — те угрюмо высились в темноте. — А ты чья дочь?

— Пастушья, — просто ответила она. — Меня зовут Рацлава, и я с Мглистого полога.

Малике было всё равно, какое у девицы имя и какая её взрастила земля. Но княжна вскинула бровь, узнав, что её отец — пастух: видела бы ты, Рацлава, как смотришься в этих тканях и перламутре. Не чета деревенской Кригге. Рацлава будто родилась для того, чтобы её обряжали в дорогие платья, чтобы её шею обвивали жемчугом и лунным камнем — Малика охотнее поверила бы, что она дочь чародея.

— Значит, ты певчая птичка Сармата?

— Значит, так, — мутно отозвалась Рацлава, словно впервые об этом задумалась.

— И о чём ты можешь спеть? — Малика вновь остановилась напротив, впиваясь в её лицо чёрными глазами. Но слепой было всё равно — она не смущалась, не переживала и не боялась, всё так же обнимала колени и едва вела полными плечами.

— Обо всём, что захочет госпожа.

Малика приблизилась настолько, что опалила дыханием макушку Рацлавы.

— Тогда слушай, — прошипела. — У меня был город, великий и золотой. Он стоял больше двух тысяч лет — расцветал, вспарывая небо маковками соборов. В нём сидели князья и ханы, его престол поливали миром и кровью. Я любила свой город сильнее, чем покойного отца. Сильнее, чем мать и братьев — но он пал. Если хочешь сыграть мне, пой о нём.

Ноздри Рацлавы расширились — будто у зверя, взявшего след. Потом проснулись руки. Пухлые, белые, в расчёсах и порезах — по коленям забегали пальцы, до того гибкие и подвижные, что напомнили Малике паучьи лапки. Как же она была странна, эта девица, сидевшая в полумраке зала. Были странны её длинные рукава, лежащие на апатитовом полу, и лиловые шелка, и свирель, которую она баюкала в изуродованных ладонях. Её бельма плескались в глазницах — серебро тумана, пролитое на лицо.

...За последние месяцы Рацлава сыграла много песен. В чём-то они были разные, в чём-то — похожие одна на другую. Все — о путешествиях и битвах, о болотах и ведьмах. Но теперь Мать-гора опустошила её: больше Рацлава не чувствовала нитей. Разве что нити княжны — они у неё славные, звонкие и жгучие, но разве она вырвет... Так — лишь заденет, чтобы Малика прониклась.

Оставалось лишь прошлое.

Самозванка, помнишь ли самый первый день пути? Помнишь ли стылый черномородский вечер и колесо повозки, в которое угодил камень? Пока воины чинили телегу, Рацлава стояла под небом, с которого сыпалось снежное кружево, и рядом пела её старуха рабыня. Хав-то-ра, юркая, будто кошка, и хитрая, как ханская наложница — жаль, что её убили разбойники. Тогда Хавтора пела о пяти братьях и... что же она говорила...

— Какая будет ночь!

Воздух потёк через свирель.

— Однажды, под такой же луной, мне приснилось, гар ину, как Сарамат-змей пролетал над Гуратом,

Рацлава даже слышала её голос — урчащий, насмешливый, с зычной хрипотцой. В нём — скрип кожаных сёдел, шум невольничьих торгов и кострища кочевников.

городом наших мёртвых ханов.

Рацлава играла Сармату о тоске и дурных пророчествах, но сейчас плела бесконечную историю, смыкавшуюся на её пальце обручальным кольцом. Был караван, и были дороги. Были легенды, рассказанные в пути — о князьях и змеях, о драконьих невестах. Пусть Рацлава больше не сыграет ни одной песни, пусть Матерь-гора сведёт её с ума, замурует в недрах, но сегодня...

Давным-давно княжьи люди забрали Гурат-град себе, и Сарамат-змей вернулся, чтобы поквитаться с ними.

Поквитаться, — выплюнула свирель в пустоту. И по зале разнеслось эхо: поквитаться, поквитаться.

Солнце стекало по его медному панцирю, а из исполинского горла выходил огонь.

Из свирели текла музыка — журчащая и воинственная. Пламя в едва теплящихся лампадах вспыхнуло так, что Малика слепо отшатнулась, закрывая глаза от яркого света. В бельмах Рацлавы отразились огненные языки: тогда девушка наконец-то сумела почувствовать жар и вытянула из него нити.

Когда по одной из лампад пошла трещина, свирель разодрала Рацлаве ладонь — глубоко, до самого мяса. Кружево рукавов из белого стало пятнисто-багряным, а серебряное шитьё закапало кровью. Музыка пульсировала в свирели, билась, рвалась наружу стоном и драконьим пламенем — было у старого князя пятеро сыновей, и на их век пришлась война, страшнее которой не знал мир. Оттого пал гордый Гурат-град и сотни других городов, оттого матери плакали по своим сыновьям, а жёны надевали вдовьи покрывала. Думай, Малика Горбовна, что это за песня — плясовая? Раскатистый грохот щитов или вопль по всем, кто погиб?

В зале больше не осталось холода — лишь живое тепло, лижущее кожу. Рацлава лихорадочно покраснелась, сидя на прогретом полу — конечно, она умрёт, конечно, её убьют, но перед этим она сыграет так, что каменные воины, которых успели изучить её пальцы, расплывутся от жара. Пусть слушают они, и пусть слушает гуратская княжна — свирель задыхалась, смеялась и плакала. Она — что рабыня, которая танцевала перед повелителем, зная: её задуют, едва посмеет остановиться.

Пройдёт время, и на пепелище Гурат-града вырастет трава. Проклюнутся ковыль и степные маки, сонные и алые. Ветер будет шелестеть в обгоревших остовах соборов, но знаешь, что самое страшное, Малика Горбовна? Это — не конец.

Сармат по-прежнему силён и жаден. Сколько нужно золота, чтобы хватило дракону? Сколько девушек, монет, столиц — однажды, когда Сармат умрёт, это станет легендой. И княжества не вспомнят имя змея, требовавшего с них непомерную дань. Однажды, но не сейчас — рыдай, свирель, кричи, чтобы тебя услышал каждый камень в Матерь-горе. Пой о любви и пой свою ненависть — играй, играй, играй... До тех пор, пока не сорвёшь голос.

Песня оборвалась. Малика Горбовна пьяно покачнулась: растрёпанная, оглушённая — она словно стояла у открытого огня. Княжна бросилась на колени, оказавшись с Рацлавой лицом к лицу, и разрыдалась, прижимая к губам чужие изуродованные руки. Кровь Рацлавы мешалась с её горячими слезами.

Медовые пряди застлали её чернявое лицо. Малика целовала пальцы пастушьей дочери — что за боги могли вылепить их, раз они играют так, что сердце лопается от боли?

— Полно, княжна, — Рацлава утёрла плечом разорванные губы. Она отняла руки, чтобы подняться — затёкшие ступни не слушались, и девушка с трудом выпрямилась во весь рост.

Малика осталась сидеть у её ног и, едва Рацлава встала, властно перехватила её запястья, притягивая к себе снова.

— Спасибо, — выдохнула княжна.

— Не за что меня благодарить.

— Нет, — возразила Малика, постепенно успокаиваясь. Глаза становились гордыми и сухими. — Есть за что. Мне стало легче.

С мгновение подумав, она легко взвилась с пола, колыхнув юбками. Рацлава не знала, что сейчас на лице княжны отражались чудовищные решительность и сила.

— Обещай мне кое-что, пастушья дочь.

— Всё, что захочет госпожа, — та равнодушно качнула плечом. — Говори.

— Сыграй обо мне однажды. — В горле Малики клокотал жар. — Под самый конец.

Рацлава не знала, что она имела в виду — летний солнцеворот? Но не успела спросить — Малика, отпустив её запястья и стиснув локти, произнесла:

— Прощай.

И тогда Рацлава растерялась. Неужели всё начинается сначала? Ей снова придётся остаться наедине с Матерью-горой? Хорошая благодарность за песню — Малика убегает так, словно за ней гонятся.

— Подожди! — вскрикнула Рацлава, когда княжна разжала пальцы. — Зачем тебе уходить? Остайся здесь.

— Нет, — Малика расправила плечи. — Нет, пастушья дочь, — у меня есть дело.

Она ушла так быстро, будто кто-то пустил по её следу гончих псов. Миг — и затихли шаги, развеялся едва уловимый, до смешного тонкий запах волос и кожи. Рацлава стиснула кулаки — кровь заляпала пол. Вот она, княжеская признательность. Стены начали остывать, а огни лампад зашуршали тише. Рацлава попыталась сдвинуться с места и только тогда поняла, насколько ей дурно.

Голова закружилась. Сознание дрогнуло, будто стекло от удара: жадная свирель забирала всё больше сил, а Матерью-гора ослабляла, дразнила призраками нитей, которые девушка не могла ухватить. Рацлава поскользнулась на натёкшей кровавой лужице и осела на пол — довольно, всего ей довольно. В ушах зашумело — надо уходить из этого чертога, а иначе... Рацлава не знала, что будет, но волна тошноты подкатывала к её горлу, а ноги подкашивались. Она сейчас упадёт замертво, и никто ей не поможет.

Рацлава осторожно шагнула вперёд. Она не знала, что, поднявшись снова, направилась не в ту сторону. Девушка углублялась в дальнюю часть чертога: её лампы освещали ещё хуже. Каждый новый воин, застывший в арочном углублении, был выше и грознее, чем предыдущий. Если бы Рацлава подошла к стенам, то поняла бы — по кольчугам ратников тянулись десятки щербин, хотя изваяния в начале залы были гладкими, не тронутыми оружием.

Она шла и шла, а чертог расширялся. В глубине колыхался липкий мрак, который начинали прорезать огоньки новых, куда более простых лампад. Апатит под ступнями перетекал в гранит — увидев это, Малика Горбовна бы сразу поняла, что к чему. Но княжна убежала, и никто не мог рассказать Рацлаве, до чего эти палаты не походили на владения Сармата. Ни мерцания самоцветов, ни сокровищ, ни тепла — ничего, только голый камень и ряды воинов вдоль стен.

Рацлава почувствовала, что задыхается. Последняя песня далась ей слишком тяжело. Девушка потеряла чересчур много крови и сил, и ей неоткуда было черпать новые. Сначала

Матерь-гора забрала у неё запахи, теперь — звуки. Из-за шума в ушах Рацлава не различала даже собственных шагов. Марлы, которые направляли её ранее, — в их единственную ночь Сармат сам назвал это слово, марлы, — теперь не спешили на помощь. Девушка не знала и того, что они не смели показываться в этих палатах. Боялись.

— Воздуха, — протянула Рацлава жалобно, распахивая рот. — Воздуха...

Никто её не услышал. Пальцы в лоскутках обхватили мягкое горло — дышать становилось всё труднее. Рацлаве казалось, что камень обступает её со всех сторон. Матерь-гора стискивала её, душила, замуровывала в ритуальном склепе.

Она рухнула недалеко от одного из арочных углублений — прямо под ноги каменному воину. Потянула шнурок, на котором висела свирель: может, успеет удавиться перед тем, как окончательно сойдёт с ума? Кровь пошла носом — на граните каплями распустились цветы, до того яркие и алые, что их было бы не стыдно вплести в косы невестам. Звон в ушах стал невыносимым: Рацлава сдавила виски, утыкаясь головой в колени.

— Воздуха... Пожалуйста, пожалуйста...

Ах, какая глупая смерть.

Матерь-гора выжимала из Рацлавы последние вдохи — девушка металась по полу, сплёвывая багряную слюну. Её рассечённые руки с трудом касались шеи, оставляя на платье влажные подтёки. Неужели весь путь был ради этого? Недремлющий перевал и северные леса, пахнущие дождём и туманом, русалочки реки и разбойничьи ставки... Всё это — ради такого конца?

— Воздуха...

Будь ты проклят, Сармат-змей. Ты, и твоя сокровищница, и твои мятежи.

Рацлава каталась у ног десятков каменных воинов — то закрывая уши, то хватаясь за колыхающееся горло. Кровь расплывалась по голубовато-лиловым шелкам и узорным рукавам, со свирели стекала на жемчужные бусы. А потом Рацлава начала затихать — только всхлипывала горестно и рвано, путаясь в тканях, словно паук в ошмётках паутины.

— Пожалуйста... — Голос исчез — остался лишь хрип. — Пожа...

Её подняли на ноги одним рывком. Грубо оттянули за ворот, трянули, наматывая косы на кулак — Рацлава вскинула синеющее лицо и от испуга сделала вдох. Она даже не стояла — лежала на чьей-то руке, которую сейчас не отличила бы от камня. Или рука и была каменной?

Марлы! Сознание ускользало от Рацлавы, и девушка не сумела подумать как следовало. Только обвила чьё-то тело, будто утопающий — обломок ладьи, и почувствовала, что её поволокли прочь от места, где она едва не отдала богам душу. Рацлава ещё задыхалась и сипела, но теперь внутри затеплилась надежда: сейчас всё станет хорошо, сейчас всё наладится.

И только потом, где-то на границе рассудка, Рацлава осознала: она лежала на слишком сильной, слишком широкой руке. И почувствовала кожей — порода, к которой она прижималась, шла щербинами и сколами. Когда же Рацлава впервые коснулась марл, то запомнила, что их лица и тела — сплошь плавные бугры и пологие каменные волны.

Сармат рассказывал ей и про других слуг, суваров. Рацлава даже слышала их однажды: низкорослые и суетливые, с шаркающими шажками, напоминавшими детские. Сувары накрывали столы и двигали сундуки с нарядами — кто сумел бы оторвать её, полнотелую, от пола так, словно Рацлава ничего не весила?

Если бы её рассудок был свеж, она бы поняла — её поднял каменный воин, и... Кто бы

из них, умеющих лишь исполнять приказы, вздумал подойти к ней — вместо того, чтобы не заметить и оставить тихо умирать? Кто бы из них посмел намотать её волосы на кулак и вздёрнуть так, словно она — не жена Сармата-змея, а простая девка, живущая на воле?

Да и, право, какая разница. Страшнее ей всё равно уже не будет.

Жена его брата завывала на все голоса. Булькала кровью, хрипела и синела, словно в петле. Не то чтобы Ярхо мешали её крики — он слышал достаточно женских визгов и плачей. И не то чтобы он хотел видеть девицу в этих залах — умрёт здесь, да так и останется. Драконьи слуги слишком трусливы, чтобы прийти во владения Ярхо даже для того, чтобы вынести окоченевший труп.

У его брата было много жён. Одной больше, одной меньше — велика ли разница? Если девица слепая, то это её беда: она не будет первой, если не доживёт и до летнего солнцеворота. Сармату привезут других невест, которые станут развлекать его танцами и музыкой — ничего с его братом не случится, перетерпит.

В Ярхо давно не осталось ни злобы, ни доброты. Ему было незачем обречь девицу на гибель — и было незачем её жалеть. Её песни, с некоторых пор звучавшие во всех коридорах Матерь-горы, забавляли Сармата, но не Ярхо.

— Во-оздуха, — сипела жена его брата, упиравшись невидящим взглядом ему в колени — даже не услышала, как он подошёл. — Пожалуйста...

Ярхо не собирался идти в чертоги, где воины ждали своего часа, но Матерь-гора вывела его сама — не позже и не раньше, сейчас. Обычно она не смела изменять пути, которыми ходил Ярхо, но сегодня перекроила все коридоры, спутала двери, и...

Матерь-гора радела за любимого сына. Сармат не успел наиграться со слепой и с её песнями: огорчился бы, если б потерял раньше срока. Ярхо мог бы прийти в ярость от такой заботы, но единственное, что сумел вспомнить сейчас — женщина, которая стала горой, когда-то была и его матерью тоже.

Матерь-гора, как умела, просила его спасти очередную забаву Сармата. Ярхо понимал это, и, какая бы тяжесть ни лежала на каменном сердце, у него не было причин отказать. Поэтому он подхватил жену брата за ворот, не чувствуя к ней ни отвращения, ни сочувствия. Девица колыхнулась плотным белым облаком, вцепилась в его гранитную кольчугу изуродованными пальцами — но перестала голосить.

Там, где она касалась его тела, оставалась кровь. Стоило Ярхо пересечь арочную залу, как жена его брата обмякла — бельма закатились, а рукава безвольно захлопали по его бёдрам. Только на полной шее, белой в рдяных разводах, билась жилка, да у рта подрагивал воздух.

Ярхо проволоч её по ленте лестниц и вынес на выступ — нарост прочной, чёрной породы. Это была небольшая площадка, нависшая над Перламутровым морем. Позади — Матерь-гора и узенькая щель, выводящая сюда; чтобы протиснуться, Ярхо пришлось пройти боком. Впереди — вид на тёмные солёные волны, перекатывающиеся в ночи, и зубцы Княжьего хребта. Высота была такая, что никому бы не удалось сбежать — только разбиться, бросившись на скалы, щерившиеся далеко внизу. Но жена его брата не могла этого знать. Зато она догадалась, что её вывели наружу, к чистому воздуху — задрожали ноздри, распахнулись губы. В бельмах отразились одинокие звёзды, проклюнувшиеся на безлунном небесном полотне.

...Рацлава дышала так, будто умирала от жажды, а ей наконец-то дали воды. Она пила

воздух — живой, настоящий, солёный. Её вывели наружу, её вывели из недр — кожей она чувствовала ветер, носом — ночь и море. Каменные руки почти отпустили её, лишь легонько придерживая за ворот — и Рацлава, пьяная от счастья, сделала крохотный шаг вперёд.

Под ступнями покатались мелкие осколки породы, и каменные руки тут же дёрнули её назад. Стиснули под грудью, подхватили за волосы — Рацлава не понимала, что оказалась на выросте Матерь-горы. Площадка была такой короткой, что драконья жена грозила сорваться вниз.

Но она не слишком расстроилась. Ветер лизнул её кожу, раздул тонкие прядки у лица — Рацлава стояла, расслабленная и радостная, в кольце каменных рук, хотя знала, что они могли бы раздавить её, как орех. Сколько здесь было нитей для её песен: запахи и звуки — кричащие птицы и волны, с рокотом разбивавшиеся об изножья гор. От изобилия кружилась голова.

— Там море? — спросила она хрипло и нежно, изворачиваясь, чтобы утереть губы платьем. «Море» — славное слово, ласковое. Рацлава не нуждалась в ответе, но уж очень ей хотелось это сказать — она выросла во фьордах, и Ингар часто катал её на студёной воде заливов.

Воин, державший её, промолчал. Теперь-то Рацлава поняла, что это был воин — спиной она чувствовала каждое каменное звено на кольчуге, каждый скол, оставшийся после удара.

— Я люблю море, — поделилась Рацлава, будто воздух и в самом деле её опьянил — она никогда не была чересчур щедра на разговоры. — И горы люблю, хотя мне сложно понять, как они выглядят на самом деле. В них такая история, что становится хорошо и страшно. И я понимаю, что горы и море были задолго до меня. И будут, когда не останется ни меня, ни моей семьи, ни моих дете... — Она нахмурилась, точно что-то вспомнила. И исправилась спокойно: — Нет. У меня ведь не будет детей.

Она шевельнулась в хватке чужих рук, высвобождая разлохматившиеся косы. Теперь они лежали на её плечах и не тянули книзу.

— Спасибо, — Рацлава вскинула голову, приближаясь лицом к тому, что могло бы быть лицом воина — носом она почти чувствовала его подбородок. — Незачем отвечать, но... Я очень тебе благодарна.

Наверное, он был грозен — Рацлава могла только догадываться, насколько, щуря слепые глаза. А потом её лоб расправился, и девушка задышала спокойно и легко — каменный воин, каков бы ни был, не сможет её напугать.

— Ты — Ярхо?

Никто, кроме него, не решился бы вывести сюда жену Сармата-змея.

— Это не столь важно, — добавила Рацлава, пытаясь сделать ещё более глубокий вдох — слишком давили чужие руки. — Но я думаю, что это так.

Слова закончились, и Рацлава блаженно затихла. Впитывала запахи ночи и ветра, слушала, как под ней ревели море. Так бы и стояла здесь — даже если бы её держал Ярхо-предатель, норовя либо по неосторожности, либо с умыслом раскрошить ей кости. Главное, чтобы не тронул свирель — за этим Рацлава следила так, как могла. Но Ярхо больше не двигался, и свирель спокойно лежала на её груди.

А потом, когда Рацлава наполнилась воздухом, будто кувшин — вином, Ярхо перехватил её и, по-прежнему не говоря ни слова, повёл назад. Если бы Рацлава вздумала вырваться, то ей бы выбили плечи — не спасло бы даже то, что она принадлежала Сармату. Но Рацлава была послушна. И она вернулась в Матерь-гору безропотно — даже сердце не

сжалось. Поздно было тосковать.

Ярхо вновь провёл её по лестницам и оставил в лабиринте Матерь-горы — в чертоге, где Рацлава слышала отдалённые шаги марл. А потом ушёл, и Рацлава не попыталась ни догнать его, ни воротиться к наросту над морем — знала ведь, что всё равно не найдёт дороги. И следующие дни потекли спокойно и ровно: Рацлава не тратила силы понапрасну и не позволяла свирели забирать у неё слишком много крови. Она не отдалялась от марл, не стремилась найти новые запахи и звуки, а вместо этого любовно хранила старые, отпечатавшиеся в памяти. Сидела в холодных самоцветных палатах — переливчато-голубых, под стать ей самой, — и усердно ткала полотна своих историй.

...Иногда Ярхо слышал, как жена Сармата играла в недрах. Чище и свежее, чем прежде, без печали и надрыва. Только веяло пустотой, какая обычно появлялась в конце долгой сказки. В песнях жены Сармата ему мерещилось нечто, отдающее историей про его братьев; Ярхо слышал снег, опускающийся на горные вершины, слышал громовые раскаты и сходящие лавины, и это напоминало ему то, что он хотел бы забыть.

Только зря ты стараешься, думал Ярхо, проходя вдоль арочных углублений. В каждом — по дремлющему воину, готовому пробудиться, стоило лишь приказать. Сармат не любил истории о мятежном прошлом, а Ярхо... Как бы ты ни играла, драконья жена, как бы ни лезла из кожи вон, каменное сердце не дрогнет.

Его не сумеет тронуть ни одна из твоих колдовских песен.

Тукеры верили, что в зимний солнцеворот на вершине колеса года оказывался Кагардаш — старший брат и вечный противник Сарамата-змея. В самую длинную ночь Кагардаш, запертый в загробном царстве, вырывался на поверхность, принимая обличье дракона — бледного, точно смерть. Он летел, и под его крыльями Пустошь схватывали заморозки. Сколько бы тукеры ни оставляли костров, потухали все до единого. В самую длинную ночь старики запрещали молодняку даже выглядывать из своих шатров — Кагардаш был гневлив, и он умертвил бы любого, кто встал бы ему на пути. Он искал своего брата, чтобы наутро утянуть его за собой.

А Сарамат прятался в Гудуш-горе, в самоцветных жилах которой, словно расплавленная руда, текло тепло. Если в зимний солнцеворот задувал холодный ветер, тукеры верили: это Кагардаш бился о Гудуш-гору, желая добраться до Сарамата, и за ним поднималась буря.

Малика знала эти легенды. А теперь Кригга рассказала ей ещё одну: зимний солнцеворот — время, когда вэльхи-прядильщицы покидали свою обитель, чтобы напрогнозировать страшное и великое.

Княжна научилась понимать Матерь-гору так хорошо, что без труда вернулась в знакомые палаты — в третий раз. Она нашла узкую, круто закрученную лестничную спираль; если бы поднялась по гранитным ступеням, то увидела бы и неприметную дверцу, украшенную витражным кругом. На нём мерцал дракон, алый, с отколотым у хребта кусочком цветного стёклышка. За этой дверью сидела Хиллсиэ Ино, но Малика не желала показываться вэльхе. Княжна не знала, когда должен был наступить зимний солнцеворот, и поэтому притаилась в соседнем чертоге — в нём она спала, ела и купалась в нагретой марлами воде, выжидая нужного часа. И непрестанно следила: не идёт ли Хиллсиэ Ино? Не дни текли, а вэльха по-прежнему не выходила из своей комнатки.

За неделю Малика извелась настолько, что искусала все губы и обломала ногти: неужели она пропустила нужный день? Неужели прошло больше времени, чем ей показалось

сначала? Но боги смилостивились: однажды княжна услышала тяжёлые ухающие шаги — будто кто-то спускался по ступеням. Она тут же прильнула к малахитовым дверям чертога — сквозь щель просачивался лампадный свет, бросая на лицо Малики таинственное, дымчато-зелёное кружево узоров — отблеск самоцветов. Виднелся кусочек лестницы, по которой шла Хиллсиэ Ино, так неспешно, будто ей на плечи легла тяжесть всех прожитых лет.

Но когда вельха проходила мимо малахитовых дверей, Малика увидела, насколько она была пугающе величественна. Облачённая в белую, похожую на саван рубаху до самых пят, без верной кички — по согбенной спине катились две взлохмаченные косы. Длинные и седые, каждая — толщиной в кулак взрослого мужчины. Как ведьма прятала их под головным убором? Проходя мимо, вельха коснулась малахитовых дверей широким рукавом рубахи — у Малики спёрло дыхание. Она ведь прячется здесь, здесь, совсем близко... Вельха наверняка её заметит. Ноги словно приросли к полу — не было сил ни пошевелиться, ни унять свистящее дыхание. Но Хиллсиэ Ино либо не увидела её, либо предпочла не увидеть. Голова вельхи была гордо приподнята, в мочках сверкали лунные камни. Пальцы перебирали пустоту, будто невидимые нити — в ходах Матерь-горы снова задуло. Видать, снаружи бушевала буря.

Малика смотрела на ведьму ни жива ни мертва, но взгляд Хиллсиэ Ино, внимательный и торжествующий, был устремлён строго вперёд. Морщинистые босые ступни переступали по каменному полу, и по ним скользил белый, понизу расшитый подол. Вельха исчезла из виду, а Малика, всё ещё прижимаясь лбом к дверной щели, вслушивалась в её удаляющиеся шаги; и лишь когда затих последний отзвук, умолкло последнее эхо, она решилась пошевелиться.

Княжна думала, на каменном полу должны были остаться следы Хиллсиэ Ино — светящиеся, колдовские. Цокот собственных башмачков теперь казался громче грома — тише, тише, не то вельха воротится... Малика криво улыбнулась: может, ей следовало мечтать о побеге и красться за ведьмой, надеясь покинуть Матерь-гору тем же путём, что и она. Но нет, Малика не верила в это. У неё не было колдовских сил — обычному смертному не повторить ту дорогу, которой идёт ведьма. А Малика не сомневалась, что у Хиллсиэ Ино дорога особенная. Нет, нет, такое не по ней: княжна не станет скрестись в каждую расщелину, желая вырваться наружу.

Да и бежать ей некуда. В деревни камнерезов? Поймает Ярхо-предатель. В Пустошь? Гурат-град сожжён, а тукеры и голод убьют Малику быстрее Сармата. Если Хортим жив, пусть он возвращается и поднимает их город из пепла. Пусть он правит мудро, её брат, трусливый, слабый, но до чего же смышлённый младший брат! Малика помнила его ещё пятнадцатилетним мальчишкой и думала, что он наверняка возмужал за годы изгнания.

Малика скучала по Хортиму. Больше в их роду никого не осталось, они — последние. Так пусть Хортим заново строит терема и соборы, пусть носит княжеский венец и сидит на троне их отца. Он всегда был терпелив, умел возвращать в людях храбрость и собачью преданность. Если они оба — огонь, то Хортим — медово-золотое, пылающее свечное пламя, способное разрастись до великого пожара, но неизменно держащее себя в узде; а Малика — шквал жгучих всполохов.

Пусть её брат создаёт и строит, когда ей самой остаётся лишь разрушать и мстить.

Её ступни скользили по гранитным ступеням. Малика взлетела по лестнице, не чуя ног, и оказалась у дверцы, ведущей в комнату Хиллсиэ Ино. Княжна боялась, что та окажется заперта, но наоборот — дверца была гостеприимно приоткрыта. Малика толкала её

ладонью, заглушая голос разума: слишком легко, слишком подозрительно. Будто в ловушку заманивали. Вельха-прядильщица не могла не знать, что она придёт.

Голова горела. В ушах стоял звон, в горле — стук сердца. Поздно, поздно думать — давно уже всё решила. Малика выпрямила спину и смахнула с плеч волну расплетённых, медовых волос. Вдох-выдох, шаг, ещё один...

Сиротливо стояла прялка, оставшаяся без хозяйки — колесо едва покручивалось, будто от ветра, хотя в комнате было донельзя душно. На белом полотне, которым вельха застилала сундук, явственно чернел обрядовый кинжал — не захочешь, а всё равно увидишь. Этим кинжалом Хиллсиэ Ино обрезала нити, когда княжна встретила с ней во второй раз.

Ноги то подкашивались, то совсем не гнулись. Кровь стучала в висках, норовя выплеснуться из жил. Малика шла, и трепетали её юбки, киноварные в рыжину — цвет Гурата. Пылали свечи, расставленные вдоль стен — пламя взлетало и опускалось, будто грудь при сбившемся дыхании. Комната кружилась, белело полотно, и чернело острое лезвие: Малика сжала рукоять холёными пальцами.

А потом спрятала кинжал за пояс и резво вышла вон.

Комментарий к Песня перевала XII

Следующая глава — финальная.

===== Зов крови X =====

Спать на дне, среди чудовищ морских,

Почему им, безумным, дороже,

Чем в могучих объятьях моих

На торжественном княжеском ложе?

Николай Гумилёв.

Зимний солнцеворот — особое время. Сармат сказал, что обернётся человеком на четыре дня. Долгий срок, и оттого Малика не сомневалась: Сармат придёт к ней. Ему нужно было юлить и очаровывать, чтобы из семян злобы в её душе выросла если не любовь, то привязанность. Княжна жалела всех женщин Сармата, которых он взял из разрушенных поселений — глупые, потерянные девушки. Как же их изуродовали надежда и страх, раз они млели под поцелуями твари, разрушившей их дом.

Нет, Сармат. Всё, что ты принимал за показную княжескую гордость, за пустую злобу — это не попытка понравиться тебе. Это чистая, тихая, жаркая ненависть, и она текла в жилах Малики вместе с кровью, обволакивала ей сердце. Как бы ты ни был красив, лукав и весел, сколько бы ни дарил самоцветов и ласк, не откупишься. Бедные, бедные твои женщины, Сармат. Нежные слова разъедали их хуже яда, даруя веру, что каждая из них — особенная. Ради этого можно было простить тебе всё что угодно.

С тех пор как рухнул Гурат-град, Малике оставалось лишь ждать. И это оказалось непросто: снимать с Сармата сапоги, расплетать ему рыжие косы, вести пальцами по шее, по груди, по... Как же так, Сармат-змея? Нынешняя ночь — самая длинная в году. Слышишь? То не ветер воет, а твой брат рыщет по миру, чтобы отыскать тебя и убить. Отчего же ты не выходишь к нему, лишь обнимаешь гуратскую княжну и прячешься здесь, в одной из своих спален, в густом свете лампад? Дышишь прерывисто и горячо, сцеловываешь с её волос медовое золото, хотя давно уже должен стоять у подножия горы, обдуваемый бурей. Слышишь, слышишь, Сармат-змея? Это не сквозняк в самоцветных горах, это — зов. На битву, на кровь, на гибель.

Зимой в княжеских чертогах Халлегата было холодно. Княгиня Ингерда шла, одетая

лишь в нательную рубаху, расшитую аметистовыми нитями; на её тонких плечах лежали ничуть не греющие шелка. Княгиня несла свечу, и пламя дрожало на сквозняке, отражаясь в рыжих волосах, спешно собранных в узел — как она была красива, Ингерда. Её не состарили ни скорбь, ни потери, ни годы затяжной войны. Княгине минуло сорок, а она всё равно оставалась изящной статуей, с узкими лодыжками и запястьями, обвитыми самоцветами.

Чертоги Халлегата казались вымершими: ни слуг, ни стражников — никого. Людей давно не хватало. Ингерда шла, будто по древнему лабиринту. Боязливо переступала по каменным полам, закрывая свечу от ветра — слегка колыхались шелка, полы рубахи и прядки волос. В приоткрытые ставни одного из окон мерцала луна, не то серебряная, не то золотая. Яркая луна самой длинной ночи.

Княгиня не верила в то, что собиралась сделать. Страх клокотал в горле, а нож охлаждал её кожу сквозь тонкую рубаху. Ходили слухи: скоро эта война закончится. Известно, как — Сармат силён и буен, но ему не одолеть Хьялму даже в теле дракона. Халлегатский князь умнее, хитрее и грознее своих младших братьев, даром что один из них — чудовище, а другой — великий воин. И за победу в этой войне Хьялма уже заплатил страшную цену, но если понадобится, заплатит ещё. Его земли опустели, напитавшись кровью, но владениям Сармата приходилось хуже.

Ингерда была слабой женщиной, привыкшей к неге и богатству. Она не разбиралась в ратном деле и даже не могла представить, какую казнь Хьялма уготовит её любимому сыну. В воздухе пахло поражением Сармата и Ярхо — отныне их не спасали ни драконье пламя, ни верные мечи. Хьялма будто озверел, раз за разом загоняя братьев в ловушки, преграждая им путь не стенами, но горами трупов. Ещё чуть-чуть — и всё закончится, навсегда закончится, и княжества устроят по своим павшим великую тризну.

Потери сделали Хьялму таким бессердечным, жестоким и решительным, каким он отродясь не был. Его сухопарая рука, сжимавшая то меч, то княжеский жезл, стала тяжелее крыла Сармата. Одно его слово, летевшее с губ, исполнялось быстрее, чем раскатистый приказ Ярхо. Княжества, не так давно помогавшие его братьям, трепетали и шли на поклон: понимали, что Хьялма — не Сармат. От него нельзя было откупиться ни золотом, ни пленными. Тех, кто восставал против него, халлегатский князь вырезал под корень.

Страшные времена требовали страшных мер. Ингерда знала, что скоро увидит чудовищную расправу — год назад Сармат сделал то, что вырвало у Хьялмы сердце. Он сжёг многолюдный Божий терем, стоявший в Халлегате на Хормовом холме. Там была жена Хьялмы, и там был его сын, едва научившийся ходить. Ингерда видела их после — и тел-то толком не осталось, одна труха. Хоронить нечего.

Когда Хьялме принесли весть об этом, он был в походе — сдерживал рати Ярхо у Невестиной реки. И приказал вздёрнуть тех, кого уличили в связи с Сарматом. Несколько конюших из Халлегата рассказали его братьям, что на зимний солнцеворот в тереме соберётся тьма народа; что княгиня Ингерда, скорбя по павшим, в тот день останется в своих комнатах. А потом эти же конюшие подперли двери терема, и сотни горожан сгорели заживо, не сумев выбраться.

Следующий год стал для Сармата роковым. Он потерял почти все армии и всех союзников. Ярхо тяжело ранили у Кислого брода — говорили, тогда Сармат был в человеческом теле и, испугавшись Хьялмы, не пришёл на помощь. У Ярхо оставалась лишь горстка людей, которым пришлось выйти против мощных ратей. Говорили, его изрубили настолько, что Сармат пошёл к ведьмам, и те начали обращать Ярхо в камень — лишь бы

сохранить в нём жизнь. Затем — Грозовая падь. В битве под ней лучники пропахали драконье брюхо рядом жалообразных стрел, и Сармат залёг на дно, принявшись зализывать раны.

Поэтому сегодня, самой длинной ночью, Хьялма был в Халлегате. Люди шептались: он готовит то, что окончательно добьёт его братьев. Скоро, скоро война закончится и наступит мир. Придёт весна, сползут толщи снега, и токи талой воды смоят всю кровь, пролитую за эти годы. На деревьях набухнут почки, в истоках ручьев проклюнутся первые цветы — начнётся новая жизнь, свежая и безбедная. Семьи вдоволь оплачут своих погибших и пойдут поднимать из оврагов деревянные столпы, на которых вырезаны лица божеств. А потом украсят столпы лентами и травами, распашут чёрную землю и засеют её хлебом. Будут гулять свадьбы, чествовать дни жатвы и праздновать рождение детей — так, как несколько лет назад сама Ингерда праздновала рождение внука. На городских башнях весело зазвенят колокола, а в деревнях устроят пляски у дымных кострищ. Люди отправятся на шумные ярмарки и пересекут студёные реки, исходят леса, окутанные старыми легендами; кто станет лечить, кто — выращивать и строить, кто — баять о приключениях, а сыновья Ингерды, все пятеро, будут лежать в земле.

Княгиня не верила в сказки о ведьмах, ковавших каменный панцирь. Ярхо много раз бывал ранен, порой — так страшно, что для него начинали насыпать курган. Но неизменно оказывался крепок: на один день, стиснув зубы, вставал с постели, на второй — садился в седло и брал меч. Раз пошли такие слухи, значит, Ярхо действительно плох и скоро в Халлегат прилетит весть о его кончине.

Её старшего сына сгубит кашель. Хьялма держит себя в кулаке и обязательно доведёт войну до конца, но потом... Люди проводят его так, как не провожали никого раньше. Для Хьялмы выстроят великую усыпальницу, и к ней ещё долго будут приносить корзины с фруктами, зерном и охапками цветов — как дань памяти. Над гробом воздвигнут скульптуру: вот он, князь, лежащий над своей домовиной. На его лбу — халлегатский венец, в руках — меч, на теле — одежды, и на них камнерезы вытеснят каждый узор. Лицо статуи будет умиротворёно и строго, устало опустятся гранитные веки, на которых удастся разглядеть каждую морщинку, появившуюся раньше времени...

А Сармат падёт бесславно. Хьялма сделает так, что его похоронят тихо, без должных обрядов. Неоплаканного, засыпят влажной чёрной землёй, и по весне через его рыжие косы прорастёт шелковая трава. Из рта вырастут алые маки, из глазниц — девичий виноград. И только ветры, шепчущиеся над безымянной могилой, вспомнят, как он был хорош, как статен и весел.

Смогла бы Ингерда убить одного сына, чтобы спасти другого? Не для этого ли она шла по княжьим чертогам, дрожа на сквозняке, будто свечное пламя? В груди теплилась решительность: если не станет Хьялмы, Сармат будет жив. И тут же из горла рвался крик — милостивые боги, что же она задумала. Зачем эта ночь, эта луна и нож, спрятанный в тонких шелках? Хьялма — её дитя не меньше, чем Сармат. Да, она родила первенца страшно юной — от грозного нежеланного мужа, который был втрое её старше и которого она тогда боялась особенно сильно. Да, Хьялму тут же отняли от Ингерды, не позволив сопливой дуре нежить будущего князя, но... Ингерда солгала бы, если б сказала, что его не любила. Хьялма потерял жену и ребёнка, и это было и горе Ингерды тоже. Хьялма правил мудро и твёрдо, его боготворил народ — это были её гордость и счастье.

А Сармат? Слезы брызнули из глаз: боги, лучше убейте её саму. Третий сын ей дороже

остальных, и нутро Ингерды норовило разойтись по швам от такой бесконечной боли. Отчего же ты затеял это, Сармат, куда ты ввязался, тебе же не будет пощады... И прощения не будет, сколько бы ни каялся.

Разомлевший, Сармат дремал на подушках. Малика по-змеиному нависла над ним: его не разбудило ни её kloкочущее дыхание, ни волосы, щекотавшие грудь. Ни скрип кровати — Малика неспешно поднялась, поддев ногой ворох сброшенных одежд. Княжна оправила рукава нательной рубахи, скатившиеся с округлых плеч; из-под платья, скинутого на пол, достала обернутый поясом кинжал — пришлось раздеваться осторожно, чтобы Сармат не заметил. Благо, свет в его чертоге был вязкий и чуть приглушённый, медово-золотой. В цвет янтарных стен с прожилками рдяного граната.

Малика приблизилась к Сармату во второй раз. Во сне у него было мягкое, почти юношеское лицо. И такое остро-красивое, что становилось больно: обожжённые ресницы и подпаленные брови, рыжие усы и короткая борода, больше напоминавшая хорошо отросшую щетину; кольцо в крыле носа, заметный выступ кадыка — ничего-то тебя не тревожит, Сармат-змей. Иначе бы не спал так спокойно. Знаешь ведь, что Матерь-гора запутает твоих жён, а драконьи слуги спрячут от них всё оружие — чтобы была мирной и эта ночь, и следующая, и множество ночей после.

Спи, Сармат-змей. На рассвете тебя не поднимут ни девичьи плачи, ни завывания ветра, ни тяжёлые шаги каменных воинов.

Во сне Хьялма казался молодым и беззащитным. Ингерда с трудом вспомнила, что он и не был стар — ему не исполнилось и тридцати, хотя волосы, закруглявшиеся у середины шеи, уже полностью поседели. На лбу, испещрённом морщинами, хмурились дымчато-серые брови — а ведь Хьялма родился темнокудрым, под стать отцу. Ингерда, не дыша, глядела на каждую отметину, которую её сыну оставило горе — складочки у век и губ, глубокие бороздки на щеках, проглядывающих сквозь недлинную треугольную бородку.

Княгиня оглянулась. В приоткрытое окно врывался ветер и шевелил ткани, свисающие с навеса над княжеской постелью — летели они, светло-голубые и сизые, в крошечной темноте, которую прорезал лишь свет больной луны. Свои шелка Ингерда осторожно сбросила с плеч — чтобы не мешали. И, неслышно переступая узкими ступнями, склонилась над сыном.

Боги, он же ещё так молод. Хотя казалось, что родился стариком — когда-то Ингерда думала, не подкинули ли ей подмышка? Не могло человеческое дитя смотреть так мудро и строго, как смотрел Хьялма. И это дитя только раз плакало ей в колени — в семь или восемь лет, когда начались первые приступы кровавого кашля. Больше — никогда. Позже, в юношестве, Хьялма возвращался из походов и первым делом спешил с коня, чтобы поцеловать матери руки. Он привозил ей подарки и славу, но всегда смотрел так вежливо и холодно, будто не доверял женщине, которая ради любви к одному сыну могла предать остальных.

Неужели она действительно могла? Тонкие пальцы Ингерды взлетели к губам, сдерживая всхлип, а другая ладонь ещё сильнее стиснула рукоять кинжала. Нет, нет, нет...

Хьялма всё равно умрёт. Скоро — через год или два, не позже. А Сармат сумеет прожить долгую жизнь. Ингерда сойдёт с ума от мысли: когда-то, в самую длинную ночь в году, она могла его спасти, но не спасла. И княгиня вспомнит об этом, когда разглядит Сармата, болтающегося на виселице у халлегатских ворот. Или увидит его отрубленную голову, брошенную к её белым ногам — в рыжих косах запечётся кровь, а глаза, улыбочивые и

лукавые, застынут под заплывшими веками...

Ритуальный кинжал сверкнул в руках Малики золотом — расплавленным, тягучим, колдовским, отразившим в себе всё пламя лампад.

Лезвие поймало серебряный лунный отблеск. Луч обвил хрупкое запястье Ингерды и осветил нож, занесённый над спящим князем.

Хьялма встрепенулся так резко, будто бодрствовал всё время. Рывком сел на постели и, перехватив руку матери, вывернул оружие из пальцев. Ингерда отшатнулась — бледная, онемевшая от ужаса, и так и замерла перед ним, не в силах пошевелиться. А потом медленно опустилась на колени, глотая слезы. Хьялма молчал и не поднимался — только поставил босые ступни на пол и убрал нож за спину. Он сидел в одних портах и неподпоясанной рубахе, взъерошенный со сна, но глаза смотрели цепко и страшно.

— Ну, — хрипнул. — Говори.

Язык Ингерды заплетался. Ледяной страх оплёл тело, высушил горло, сделал пальцы непослушными и дрожащими.

— Хьялма, — лишь выдохнула она — щёки влажно блестели в лунном свете. — Хьялма, не губи. Я не хотела, — всхлипнула надрывно. — Это морок, слышишь? Наваждение. Безумие. Ты мой сын, и я люблю тебя, я...

— Верно, — сухо заметил Хьялма. — Но в отличие от Сармата, я не только твой сын. Я ещё и твой государь.

Ветер застонал за окнами, а князь устало потер лоб и спросил:

— Знаешь, как это называется, мать?

Ингерда бы заревела навзрыд, но сил не было. Хьялма покачал головой и тихо произнёс:

— Измена.

Он выглядел утомлённым, спокойным и твёрдым, но никак не удивлённым. Это ударило Ингерду сильнее всего — будто Хьялма ждал от неё предательства так давно, что оно его даже не тронуло. Княгиня закусил губы, вытирая глаза рукавом нательной рубахи — колени начали болеть.

— На дыбу вздёрнешь? — она вскинула залитый слезами подбородок. — Или бросишь на плаху?

Ответ был хлестким и равнодушным:

— Нет.

Хьялма встал с постели. Перехватил нож и отошёл к окну, так и не приказав Ингерде подняться — луна бросила на его лицо сеть дрожащих узоров.

— Заколи меня сейчас, — попросила княгиня. — Или тебе нужно, чтобы мою смерть увидел весь Халлегат? — Пальцы сжали полы рубахи. — Если хочешь провести меня по мощёным улицам, чтобы каждый прохожий бросил в меня камни, — веди.

Но Хьялма её не слушал — думал о своём, прижимаясь лбом к приоткрытой ставне. Ингерда и не попыталась бежать: куда? Большого позора она не вынесет.

— Отдай меня своим палачам, Хьялма. Пусть иссекут кнутами, затопчут лошадьми — только не молчи, умоляю!

Хьялма рассеянно дёрнул плечом.

— Ты напишешь Сармату.

От его тихого, но зычного голоса внутренности Ингерды скрутило в жгут. Осознание пришло быстро.

— Нет, — она помертвела. — Пожалуйста, не надо.

— Ты расскажешь ему, что я вымещаю на тебе злость, — продолжил сухо. — Что на твоём теле нет живого места — одни синяки. — Ложь. Хьялма Ингерду и пальцем не трогал, и она жила под его крылом, холёная и неприкосновенная. — Ты расскажешь ему, что я грозился замучить тебя до смерти, но верные служанки вывезли тебя из Халлегата, пока я гостил у соратников.

— Хьялма!

— И ты попросишь Сармата о встрече, — произнёс жёстко. — Весной. На северо-восточном берегу Перламутрового моря, у Рудного излома, принадлежавшего твоему отцу.

— Нет, умоляю, — ногти Ингерды впились в кожу предплечья. — Всё, что угодно, не это. Хочешь — режь меня, рви, наизнанку выворачивай, но я не заманю Сармата в ловушку.

— Заманишь. — Хьялма потерял друзей, братьев, любимую женщину и ребёнка — что могло его тронуть? — Мне нужно, чтобы это письмо написала твоя рука. Дрожащая, слабая. Ты не знаешь пыток, и если понадобится, я прикажу тебя пытаться. Не как свою мать, а как изменницу. Пусть письмо, которое получит Сармат, будет запятнано твоей кровью.

— Нет! — Жемчугом блеснули зубы. Лицо перекошилось в судороге. — Я не стану его гибелью.

— Конечно, — медленно ответил Хьялма, захлопывая ставни. — Ты станешь его тюрьмой.

Между ними — всего один удар. Удар ухающего сердца, удар ритуального кинжала: кровь стучала в висках, и огонь пульсировал в лампадах, скользя по простыням на ложе, по подушкам, по волосам Малики, вьющимся у щек. Княжна занесла кинжал — лезвие войдёт в плоть одним рывком. Каким бы ты сейчас ни казался красивым, Сармат-змей, каким бы незащищённым, рука Малики не дрогнет. Любить так любить, ненавидеть так ненавидеть: сколько их, женщин, оставшихся в народных легендах? Тех, что резали завоевателей на их же постелях.

Остриё рванулось к шее, но успело лишь оцарапать, оставив багряную, княжьего цвета дугу, сочащуюся мелкими каплями крови. Сармат выгнулся и ухватил Малику за локоть, потом отшвырнул и грубо запустил пальцы в крупные кудри. Прежде чем он развернул её к себе спиной, Малика увидела его глаза — пылающие, злые и совсем не сонные. Рукоять кинжала выскользнула из пальцев.

Мерцали янтарно-гранатовые стены. В ходах Матерь-горы завывал ветер, и ему вторило гневное, рысье шипение Малики. Что же ты, Сармат-змей. Много бед наворотил и горя много принёс — слышишь? Пришло время платить — княжна пыталась вырваться и выплюнуть хоть слово, но чужое предплечье сдавило ей шею под самым подбородком.

А Сармат перехватил кинжал — и раскрыл ей горло одним отточенным, привычным движением. Потом отпустил. Малика сжала рану, и между пальцев хлынула пузырящаяся, вязкая кровь. Запятнала грудь, подушки и простыни — судорога выломала ей руки, выпростала ноги. Прошлась по сухожилиям калёным железом: больно, больно, боль... И ничего не стало, кроме боли. Из мира вытекла вся краска, оставив после себя лишь тьму. Исчезло ощущение тепла, притупились отчаяние, страх и гнев — была княжна, гордая и статная, но вельха, живущая в недрах колдовской горы, соткала ей смерть.

В горле Малики булькнул последний вдох. Грудь взметнулась и застыла, а чёрные, будто угли, глаза затянуло стеклянной плёнкой. В зрачках отразились огненные сгустки, танцующие в лампадах — они напоминали змей.

Сармат, сидя у края постели, почесал уголок рта рукоятью кинжала. А потом поднялся и

зло сплюнул под ноги. Обхватил оцарапанную шею, оглянулся: лежала Малика Горбовна, прямая, со вскинутым подбородком. Её руки раскинуло на простынях. Волосы рассыпались медовыми волнами, и Сармат коснулся их кончиками пальцев. Эх, сволочь, какая была красивая. Горло перерезал, а всё равно — красивая, будто на алтаре. В смерти — торжественная, только чуть нахмуренная, с напряжённо вытянутыми стопами. Сармат нежно стёр с её щеки кровавую кляксу.

Он даже не сильно её изуродовал: красный серп, растёкшийся по коже. Не рваная рана от уха до уха. Кажется, княжна была одета так же, как в ту ночь, когда марлы собирали её к жениху — Сармат помнил эту рубаху, длинную, с бронзовым шитьём по вороту и рукавам. Ткань отдавала медовой желтизной. Всё, как в первую ночь, только вместо алого шнура, некогда обвивавшего его жене запястье, — пятна крови.

Медовый и алый. Цвета Гурат-града.

Круг замкнулся. Колесо года продолжило свой ход.

Сармат невесело усмехнулся. Знал ведь, что так выйдет, знал, а всё равно поступил по-своему. Будто надеялся, что ухватит свою смерть за холку и поглядит, чьи у неё глаза. Ему следовало убить княжну гораздо раньше, как убивают диких зверей, чьи логова были разорены — надо же, мстить надумала. Дура. Не хотел её гибели раньше срока, так нет же, напросилась.

Нет, Малика Горбовна, — губы сломались в ехидной усмешке. Смерть Сармата ещё юная и беспечная, она гуляет в полях далеко отсюда. Если ему нужно каяться, то не перед тобой. И не к твоим коленям склонится его буйная голова — спи, Малика Горбовна, долго спи.

Сармат наклонился и ласково поцеловал её в лоб.

— Что твоя жена, Хозяин горы?

Хиллсиэ Ино не нуждалась в ответе. Сама ведь напороочила. Она сидела на длинном, застланном полотном сундуке — прямая и важная, в рогатой кичке. Убранная самоцветами и облачённая в свои лучшие одежды: лён и бархат, расшитые цветами мака и левкоя. На пол стекал длинный пояс. Летели узоры: корабли и косматые ветры.

Сармат сощурился, будто ему стало больно смотреть на блестящую, торжественную вельху. Словно невеста на второй день свадьбы.

— Жена моя мёртвая, — пожал плечами. — Как и её город.

Ещё одна история готова. Хиллсиэ Ино прикрыла веки и удовлетворённо заурчала. Но правое веко не закрывалось до конца, и на Сармата стеклянно посмотрел второй, совершенно чёрный глаз. Полоснул из-под редких ресниц.

— Ну да что мы о ней, бабушка, — Сармат пристукнул об пол носком сапога. Он уже был полностью одет — золото, медь, киноварь. Зажимы на косах, дорогая рубаха и узорный кушак, обвивающий стан. — Эта ночь была длинной. Расскажи, что ты видела.

— О, — дряблое лицо дрогнуло — одновременно сочувственно и насмешливо. Ведьма обнажила нехорошие зубы. — Что видела, то тебе не понравится, Хозяин горы.

В голосе — не ехидство и не грусть, нечто между. Пальцы Сармата пробежали по подпаленной рыжей брови — попытался отвлечься, пусто глядя вперёд.

— Говори.

Вельха по-хозяйски разложила руки на сундуке. Она сидела, будто княгиня на престоле, и смотрела на Сармата снизу вверх. В этот день Хиллсиэ Ино знала больше, чем кто-либо.

больше, чем она сама в любой другой день в году. Хозяин горы казался ей неразумным, бедным дитём — скоро ты оставишь свои богатства. И забудешь про своих женщин — такое придёт время.

Хиллсиэ Ино по-кошачьи склонила голову вбок.

— Твой брат жив, Хозяин горы.

— Ещё бы, — фыркнул Сармат, не выдержав. Отпустил бровь и расправил плечи. —

Мой брат — огромная глыба камня. Что ему сделается?

Вэльха мягко улыбнулась. Глупое, взбалмошное дитя. То жестокое, то ласковое — разве

Ярхо-предателя можно считать живым?

— Я говорю о другом брате.

О том, кто хотел взять с Хозяина горы виру — не самоцветами, не жёнами, а его буйной головой.

Сармат понял. Всё понял, и оттого покачнулся, оттянув пальцами ворот рубахи. К лицу прилил жар.

— Врёшь, ведьма, — процедил сквозь зубы. Его язык скользнул в ямку, оставшуюся на месте выбитого клыка. Недоверие в глазах Сармата сменилось злобой — а потом его зрачки затуманил ужас.

Хиллсиэ Ино рассмеялась. Конечно, она не лгала, и Хозяин горы это знал.

— Твой брат идёт с севера, — продолжала невозмутимо. Её пальцы заскользили по полотну на сундуке. — И он несёт на своих плечах войну.

Сармат почувствовал, что ему не хватает воздуха. Зрение рассеялось. Свечи разгорелись, и их пламя взметнулось, образуя огненное кольцо; оно сжималось вокруг Сармата, будто удавка. Стало чудовищно душно — воздух загустел и больше не тёк в горло. Наружу выплеснулся хрип.

Больше не хотелось ни шутить, ни лукавить. Сармат развернулся и, вне себя от злобы, вышиб дверь плечом — та, жалобно треснув, чудом не слетела с петель. Он вышел от вэльхи, не прощаясь, и Хиллсиэ Ино ещё долго смотрела ему вслед. А потом протянула морщинистую руку и запустила прялку на новый круг.

...Сармат не шагал по коридорам Матерь-горы — летел, не чуя под собой ног. Малахитовые ходы сменялись сапфировыми, а турмалин вытеснял лиловые подтёки аметиста.

— Ярхо! — рявкнул Сармат, и его голос разнёсся эхом. По углам заклокотало: Ярхо, Ярхо...

Обожжённые пальцы вцепились в бугристые стены — рубин, алмаз, вкрапления орлеца... Лишь бы удержаться и не упасть. Голова пульсировала и шла кругом. Кожа наливалась лихорадочной краснотой.

— Ярхо! — Его била крупная дрожь. Зуб не попадал на зуб, а сердце сводило болью. Пестрели чертоги — кварцевые, нефритовые и агатовые, но Сармата впервые не трогала их чарующая красота. Было всё равно, встретится ли ему кто-нибудь — сувар, марла или одна из жён. Дороже выйдет: попадут под горячую руку. — Ярхо!

Он нашёл брата в топазовой палате. Её пол усыпали богатства — барханы монет, выливающиеся из разинутых ларчиков. Холмы колец и кубков, грозди драгоценных камней, браслетов и брошей — не обращая внимания, Сармат шёл, и сокровища хрустели под его сапогами. Словно песок на морском берегу.

Если бы Ярхо мог, то удивился бы, когда Сармат оказался рядом с ним — гневный, до

смерти напуганный, красный лицом. Он перемахнул через ряд сундуков и вцепился в его каменные плечи — с такой силой, что обломил несколько ногтей. Сармат смотрел снизу вверх, и в его глазах отражалось отчаяние.

— Ярхо, — сказал он хрипло, облизывая пересохшие губы. И напрягся, как если бы слова оцарапали ему гортань и вышли не звуком, а булатной сталью: — Хьялма жив.

Ж-жив, — прошуршало эхо.

На каменном лице не дёрнулся ни один мускул. Но Сармат почувствовал: что-то изменилось. Где-то глубоко, в сплетении затвердевших сосудов, за гранитными белками глаз. Что-то в Ярхо оборвалось, и это был не страх — Ярхо никогда, даже в теле смертного, не боялся Хьялмы. Он не боялся войны или мести, только... Сармат не мог разобраться, что это. Тоска? Усталость?

— Ведьма рассказала, — слова хлынули изо рта Сармата. — Рассказала, что он идёт. Он идёт с севера. — Пальцы ещё сильнее сжали плечи брата. — Ублюдок. Столько лет, а никак не сдохнет.

Если бы Ярхо мог, то вздохнул бы. А Сармат продолжал говорить — речь шла потоком:

— Наверное, айхи раздобыли ему драконью кожу, — и скривился. — Гнусная, гнусная тварь, где он прятался? Ярхо!

Он приблизился к лицу брата и горячо дыхнул в подбородок.

— Я вырежу его гнилые лёгкие и брошу наземь. Им там самое место. — Дыхание сбилось. — Ярхо, Ярхо, мы же выстоим, верно? — Он оттолкнулся от тела брата. Сплюнул и нетвёрдо покачнулся на узкой тропинке между сокровищ. — Пусть Хьялма приходит. Пусть приходит, пусть: мне тоже есть, за что мстить.

Сармат медленно обернулся, указывая на топазовые стены чертога. Мать. Ярхо не ответил, только прикрыл глаза — медленно, с едва уловимым скрежетом. А Сармат закричал — громко, отчаянно, выпуская боль и ярость. Он поворачивался вокруг своей оси, сгибался напополам — звук летел, летел, раздавался по ходам и палатам. Дробился и множился, вырастая в страшный боевой клич. Ярхо слушал, не выдавая никаких чувств, а Сармат, оборвав голос, зло пнул одну из груд собственных богатств. Отшвырнул сапогом венец, напоминавший княжий; золотой, широкий, с крупным лалом — красный, красный, красный, цвет крови и закатов, поднимавшихся над полем битвы... Помнишь ли, Сармат, как сходились рати и как ломались копья, как умирали твои друзья и жёны, как хоронили твоих братьев — одного за другим?

Что же — княжий венец мелко звенел, подпрыгивая на каменном полу. У Ярхо есть каменная орда, а у Сармата — самая таинственная из гор, и нет на свете оплота надёжнее. История — колесо, ходящее по кругу: значит, их легенда ещё не закончена.

Если Хьялма хочет войны, он её получит.

Марлы перенесли её в холодный грот — он щерился зубцами наростов и, плавно изгибаясь, уходил глубоко в недра. Пол был залит водой, и на дне переливались минералы; на стенах бугрились солевые и кварцевые глыбы. Вокруг — морозно-дымчатое марево. Поволока ускользящей, мёртвой красоты.

Малику Горбовну положили в хрустальную домовину. Обрядили в богатые одежды — мёд и янтарь; длинное подпоясанное платье, расшитое золотом вдоль широкой полосы для пуговиц. Волосы княжны заплели в широкие косы и убрали назад, под тяжёлый головной убор. Вплели в них драгоценные камни, украсили цепями-ряснами. Под обруч подоткнули

длинную, до самых пят вуаль — Малика лежала на ней. Её перерезанное горло закрыли кольцами ожерелий, а босые ступни обули в мягкие башмачки. Пальцы обвили нитями — бронзовые с алыми бусинами. Марлы любовно расправили узорные, разлетающиеся рукава княжны. И закрыли ей глаза — каменными ладонями, под звуки мурлычущей песни.

Лицо Малики будто сошло с фресок на гуратских соборах. Или с чеканных монет: гордое, точёное, застывшее. Лежать бы ей в усыпальнице рода, рядом с предками, а не здесь, среди змеиных жён. Но Малику похоронили тут. В хрустальной домовине, под бессловесные плачи марл. Над ней раскинулся потолок мерцающего грота, и вокруг неё дрожала прозрачно-голубая хмарь. Под конец марлы оставили её, и в пещере воцарилась тишина — только капли срывались с выступающих наростов. Вода точила камни, и в её колдовском шёпоте слышался шорох, с каким нос корабля разрезал волны: зачем, зачем сюда едет твой брат и князь, Малика Горбовна? Поздно тебя спасать.

Отныне сердце Малики Горбовны не тронут ни любовь, ни ненависть. Её не убаюкают дожди, проливающиеся над лесами, не восхитят бег колесниц и богатства ханских шатров. Её не потревожат ни война, ни смута.

И её не разбудит драконий рёв, раскатившийся над Матерь-горой.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Больше книг на сайте — Knigolub.net